КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

1925

КНИГА
ШЕСТАЯ
ИЮЛЬ
АВГУСТ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 6

ИЮЛЬ — АВГУСТ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1925 ЛЕНИНГРАД

Гиз. № 14193. Главлит. № 37886. Напеч. 10000 э/

1-я Образцовая типография Госиздата. Москва, Пятницкая, 71.

Лисьи норы.

Повесть.

Павел Сухотин.

I.

Отправили Ваську Дворового в город жить, — отправили родители со слезами. Хорошо поехать в город на базар, или заглянуть на городской двор с углем или дровишками, расторговаться, а потом, прохладным закатом или в звездный морозный вечер, вернуться трусцой из города к себе в избу. Из дому и город любопытен, а потому особое дело: переселиться в него совсем — больше жутко, чем хорошо. Но делать нечего: обнищал отец, захирел дом, нужна подмога. И стал Васька Дворовый слугою Холину, купцу первой гильдии.

Купец Холин очень хвастался родом своим, потому что богат был, а еще и потому, что у всех предков его либо в имени, либо в отечестве упоминался Иуда, и сам он был: Иуда Константиныч. И то, что его за крючковатый нос Клюевым звали, — тоже было ему лестно. Там, что ни говори, а отец-то у Иуды первый во всем городе галоши купил и берег их с усердием: в грязную погоду снимал, а в сухую на сапоги напяливал, а место им стоять определил в чистой горнице.

Однажды и говорит ему жена, а Иуде мать:

— Дай-ка я твои «халуши», али там, как их, бог с ними, сосновой водой окроплю. Больно уж от них не то псом не то бесом несет.

— Бес тут не при чем, а для окропления могу предоставить.

Гордый был человек.

В таком-то почтенном доме и довелось служить Дворовому.

Васька был худ и узок плечами, а таких купцы тоже любят, потому что придет призывной год, а в солдатчину малого не погонят.

А все́-таки призвал его сам Холин на конюшню, велел раздеться, словом, в одном кресте оставил, а сам бечевочкой ему грудь обмерил, завязал на бичевочке узелок и, глянув еще р з на него, проговорил:

— Жила ты, а не парень!

Все приказчики, как были тут, так со смеху и покатились, а Васька, постоявши нагишом, от холоду затрясся.

И стал он с той поры: Васька Жила.

А Холин с бечевочкой под вечер к воинскому начальнику понаведался. Мотает ей и говорит:

— Не длинен конец, а мужик без остатку помещается.

Разгадал он свою загадку воинскому, а тот тоже чуть со-смеху не помер: закашлялся, зачихал, засморкался, и весь, словно медная кастрюлька сделался.

— Владей Фаддей! — сказал он купцу. — Все равно околеет скоро.

— Не околеет, — уверил Холин, — потому в нем одна жила.

И досталась Ваське эта жила: купец его пилит, старшой приказчик щуняет, и сама купчиха этим не брезгует. Так минул год. Избавился Васька от царской шапки. Прошло еще два года, и сам Васька прошел купецкий огонь и кривые трубы, и всему научился. Стал он по двору мотаться, в подвалы нырять, на чердаки взлетать, перед покупателем в лавке — ужом извиваться, перед хозяином — в ноги падать, перед приказчиком — глазами моргать.

А самому ему скучно: отца-мать вспомянет, — всю ночь, лежа на голом мучном ларе, проворочается без сна. О доме своем задумается, — чего-нибудь не дослушает, и опять ему встряска. Но только и сам он стал увертлив: глядя на других, где соврет, где сиротой прикинется. И стал он понемножку в люди вытягиваться. А тут такая оказия случилась, что и совсем Васька оперился.

А дело было такое: подавилась холинская корова картошкой, а молодцы этого не доглядели. Купчиха завопила, а Иуда Константиныч не стал долго о том разговаривать: околела она, или просто недышимо лежит, — и велел ее прирезать.

— Все равно, — сказал, — ребята со щами слопают.

Освежевали корову, по мясному разрубили, в чан куски покидали и засолили, оттого что пора стояла жаркая. Вот и пришел Холин босиком и в одном исподнем, как в постели был, поглядеть: хорошо ли все сделано, да и занозил себе пятку мелкой коровьей косточкой. Тут же ее приказчик вынул, а пятку водой замыл. И не велика, кажется, беда, а нога все-таки стала пухнуть.

Съездили к знахарке за наговорной травой, — не помогает. Отслужил соборный поп молебен о здравии раба божьего Иуды, — не помогает. Призвали фельдшера, — не помогает. Призвали доктора, — не помогает. И отрезали Холину ногу по самое колено.

Очнулся купец, раздумался и спрашивает:

— А где моя нога?

— Лежит, — отвечают ему, — в оператной комнате.

— Вот вам моя воля, — говорит он. — Ноги не трогать, а послать за архиереем.

Прибыл в больницу архиерей, и задает ему Холин вопрос:

— Что, владыко, скажете вы на такую мою задачу: взяли бы, примерно, меня мои сволочи-молодцы да и растерзали бы. Велели бы собрать мои куски?

— Велел бы, сын мой, — ответил архиерей.

— Положили бы их во гроб?

— Положил бы.

— Предали бы земле?

— Предал бы.

— А нога моя — не часть ли моего праха, и не есть ли она мой прах?

— Так, мой сын, нога есть прах.

— А потому, да будет ваше соизволение предать мою ногу земле с почетом, достойным и по христиански, на соборном кладбище.

Архиерей начал, было, по богословию умничать, а все-таки против холинского православия устоять не мог и дал соизволение.

Отблагодарил Холин архиерея сотенкой селедок «рваная шейка», и ручку ему облобызал, и хоть большой был веры человек, а подумал: «Ишь ты, день постный, а у владыки рука коровьим маслом пахнет!»

Уложили холинскую ногу, заколотили в гробик, поп соборный покадил над ней, молитву прочел, родные горько поплакали, а гробик на кладбище Васька Жила отвез и земле предал. А через неделю он же камень над ней водрузил, и тут же на нем с гробовщиком Пенкиным надпись начертал, — Васька черепок с черной краской держал, а Пенкин писал кисточкой:

„Не прияв жизни сей,
вкусила вечной“.

С той поры Васька Жила и стал шибко возвеличиваться.

Заказала супруга холинская деревянную култышку да костыль с малиновым плюшем и отправила их по выздоровлении мужа в больницу.

Култышка стучала, а костыль поскрипывал. И стал Иуда Холин над собой посмеиваться, — идет, бывало, и говорит:

— Скрипи, скрипи, нога липовая!

А Ваське, что привез ему в больницу инструмент этот, сказал ласково:

— Ты, парень, коли хочешь, ступай нонче домой в деревню, почти родителей. Небось, от прошлого праздника дома не был.

Васька думал, что Иуда, оздоровевши, опять его за всяческое дело пилить начнет, а он вон что! Натужился Васька и поцеловал Иуде руку, словно архиерею, и прошептал:

— Покорниче бладарю...

А Иуда про себя сказал:

«Из парня дело будет, особливо для меня, безногова».

И привезли Иуду Холина домой. Все сродственники и служилые люди собрались. Кто тоже — к ручке, кто — за ручку, кто — в ножки, кто — выть, кто — причитать.

— Топите баню, — прикрикнул Холин, — да пожарче!

С этого опять и началась в доме прежняя жизнь по порядку.

Разомлел в бане купец и велел позвать к себе Ваську.

— Васька в деревню убег, — доложил приказчик.

Холин промолчал.

— Да еще пол-головы сахару, сукин сын, упер из лавки, — посетовал приказчик.

— Молчи, старый волк, — завопил Холин, — не так ли отцы мои начинали, да и ты тоже? Только сам Холин с двадцати пяти лет свои пароходы гонял, а ты дорос до козлиной бороды, а всего полторы тыщи имеешь и сидишь на них, как сыч.

— Какие уж там деньги, — поскромничал приказчик. — Ей-богу, право!

Рявкнул на него Холин на всю баню, но потом успокоился и, на резаную свою ногу глядя, словно про себя сказал:

— Мне казначей обо всех капиталах донесенье делает... Да вели-ка ты соборному попу на моей могилке панихиду пространную отпеть, а за деньгами пускай не присылает, я ему прошлый раз по ошибке цельную десятку отсыпал. Голова не тем была занята.

— Ну, еще бы не того...—посочувствовал приказчик, но примолк, оттого что хозяин глазами на него сверкнул злее банной печки.

И опять Иуда Холин парился.

А Васька Жила идет на деревню, и жалеет он, что взял только полголовы сахару,—другие по цельной и больше таскают. Ну, ладно! Прошедший раз — муки, а нынче — другое. Отцу-матери и это в невидаль.

Идет Васька лесом, и уж очень хорошо птицы поют, друг другу на перегонки, словно их кто-то поддразнивает, — свистят, пищат, улюкают, гомоном рассыпаются. Даже в ушах становится томно.

«Приду домой, — возмечтал парень, — сяду с отцом-матерью с сахаром чай пить».

Пришел Васька на деревню и на избу свою глаза пялит, — стоит его изба на замок висячий заключена, а на замке бумажка, клеймленая сургучной печатью.

Бросился туда, бросился сюда. Ищи, говорят, в поле ветра, а родителев твоих прямо в губернию судить повезли. А за что повезли, — суд узнает.

Да и вся деревня видала за что: вышли, стало быть, всей деревней на покос луг барский делить, а разделивши, косить стали. К Васькиному отцу подходит барин да и говорит:

— Что, старый дурак, не свое косишь?

— Свое, — отвечает, — кошу, моя межа.

Да и размахнулся старик косой, указывая на межу.

А старуха добавила:

— Свое, батюшка!

Да и размахнись тоже граблями.

А барин в амбицию:

— Бунт! Порезать меня хотите! Старосту! Старшину! Урядника!

И пошло.

Задохнулся барин и сел на складной стульчик.

И все тут оказались: и староста, и старшина, и урядник, и понятые. Избу преступников клеймленой бумажкой обезопасили, а стариков прямо в губернию с барским письмом к начальству повезли.

И бежит Васька по большаку за родителями, а ему с телеги кричат:

— Не беги!

А он свое.

Слез урядник, остановил Ваську, отнял у него сахар и прибил его, здоров был, и бить было хорошо, потому что дорожная земля крепкая.

И покатила телега, только и успели родители крикнуть:

— Прощай, сынок!

Брякнулся Васька на пыльную дорогу, сперва трясся, а потом съежился, заскрипел зубами, а изо рта, как из квасной бутылки, пена выхлестывала.

К побоям он привык, а такая напасть в первый раз с ним приключилась. Кое-кто видал его на дороге и хотел его утешить, но он — ни гу-гу, даже весь посинел.

И говорили по деревне:

— На большаке-то цельный день валялся Васька «клейменых».

Так и в городе рассказали.

II.

И еще раз парился Иуда Холин в своей знойной бане, когда Василий Клейменых, а по-прежнему Васька Жила, вернулся на службу.

Выпарился Иуда и позвал к себе в горницу Василия.

— Слыхал, парень. Ну, не тужи, — сказал он ему. — Садись-ка вот лучше.

Василий, словно деревянный, сел на край стульчика. Купец молчит и он молчит, только слышно, как часы маятником постукивают, да из самовара вода покапывает.

Поднялся с места купец, култышкой деревянной загремел, костылем заскрипел и сказал, остановившись у буфетика:

— Скрипи, скрипи, нога липовая! А давай-ка, Вася, по баночке трахнем. Тараканы-то мои все ко всенощной расползлись, а я тебя люблю за то, что ты ногой моей не побрезговал.

Достал купец из буфетика синий графин и зеленую стопку, налил сперва себе, перекрестился и выпил, а потом налил Василию, и тот сделал то же.

И повторили они, и в третий раз выпили.

Спрятал купец водку и потащился к себе на место, приговаривая:

— Скрипи, скрипи, нога липовая!

Сидят и молчат. Купец тяжело двошит, а Василий глаза пучит.

— А ты, парень, раньше вином, кажется, не баловался?

Василий ответил:

— Не баволался...

Ещс что-то хотел сказать, но только икнул. Иуда наморщил крючковатый нос, пригляделся к нему и молвил:

— Если бы не нога моя, доканал бы я тебя, Васька!

И добавил громким хрипом, ударив кулаком по своему костылю:

— Имею аппетит добивать людей, когда им все одно скоро помирать. А тебя, вот, люблю, а ты старайся. Все в моих руках, и всех куплю. Давай еще трахнем.

И выпили они еще, а когда зазвонили ото всенощной, Василий, шатаясь, проходил по сумерочному дому Холина и, приметив на комоде у хозяйки двадцатипятирублевку, взял ее, смял в ладони и положил в карман.

Сошел он с лестницы. В сенцах, уступая хозяйке дорогу, прижался к стене навытяжку, как часовой, а потом ушел на сеновал, и, засыпая еще раз себе, подтвердил:

— Никогда не баволался...

Утром застучала по двору холинская култышка, а перед самим купцом то вырастал, то вновь исчезал, ныряя в подвалы, Василий Клейменых, у которого на поясе уже позвякивали ключи от складов.

А в сенцах шепталась хозяйка со старшим приказчиком Ипатычем. Хоть и лето было, а приказчик в валенки обулся, потому что болел и решил, что ему в ноги моча кинулась. А хозяйка тоже надела ватный салопчик, — уж очень знобило ее от пропажи двадцати пяти рублей.

Приказчик тяжело шептал:

— И ключики у меня, матушка, отобрали и Ваське передали.

А хозяйка стонала:

— Иду я в церкву и говорю еще сестре: оставила я их на комоде, обязательно пропадут. Так вот, видно, бог правду подсказал.

— Это он, он, матушка, — сипел приказчик.

А Иуда Холин нюхом тонок и на ухо чист, — все чует, все слышит.

— Чего еще там? — гаркнул он на весь двор, даже сизарей стаю спугнул с крыши.

Тут и кинулась к нему хозяйка, словно над покойником, причитать:

— Да как же, голубчик, Июда Кистинтиныч, деньги-то мои, кровные-то мои, добро-то наше последнее пропадает.

— А я тебе говорил: не сори по столам деньги?

— Говорил, говорил, как есть говорил! Да как же быть-то теперь? Господи, пропали мы! Васька стащил!

— А стащил, так и быть. Коли плохо лежали, туда им и дорога.

И так заскрипел Иудин костыль, что никого на дворе не стало, а вдогонку крикнул Холин:

— Готовь, старая, полудник! Живо! Сейчас мы с Василием закусывать явимся.

А Василий Клейменых ходит по лавке, по подвалам, по складам, и в носке сапога большим пальцем кредитку прощупывает.

Не велико начало, да крепко.

И сидят — купец с приказчиком — на балкончике, полуднюют и водочку пьют: сам — три, а Василий — одну, — до запора лавки остерегается.

— Ты слушай проповедь мою, — говорит Иуда, — все мы с малого начинали, но аккуратно. А ведь и сами были не лучше тебя. Отец мой в первый раз самовар купил, так не знал никакого с ним обхождения, молодца своего в соседний город к зятю посылал спрашивать; как, мол, да что? А тот был дурак: велели, говорит, сказать: засыпай чаю. Ну, и ввалили в самовар полфунта чаю. От горечи цельную неделю плевались, пока не допили весь самовар, а допимши, в кладовую его заперли, пока тайны не узнали.

— Я очённо слушаю, Июда Кистинтиныч, и в благодарности то-есь нахожусь, — бормочет Василий, и пот со лба под столом фартуком вытирает.

И так каждый день.

И стала на Василия с робостью хозяйка поглядывать, а прочие домашние — со злобой и испугом. Одна протомойка Татьяна Ивановна, по чужим людям понаторевшая, не только не заробела, а даже к себе в домик пригласила чайку попить:

— Заходите ко мне, Василий Фомич, на теплые воды.

— В каком смысле? — спросил Василий.

— Ох, уж эти мне мущинские заспросы, — прошептала Татьяна Ивановна, сложила руки на груди и плечами повертела.

— А почему что я не могу, например, как-нибудь...

И Василий, как петух, один глаз насторожил, — его звали в лавку.

И крикнул он, вытянув шею:

— Щас!

А Татьяне Ивановне сказал:

— Благодарим очённо.

А та ему улыбнулась:

— Не посидемши, не погостемши, за чай-сахар не благодарят.

Василий — в лавку, Татьяна Ивановна — за калитку, а в ворота — гость торговый: Карп Какурин, а из дому на двор — Иуда Холин с приветом:

— Али не забыл, где поворот?

— Забыл-с? — пискнул Какурин. — А можем ли мы это? — и засмеялся мелким бисерком. — А-сь?

Карпов мерин, отвесив губу, побрел к комяге, а Карп — к Иуде, а Иуда — к Карпу, приговаривая:

— Скрипи, скрипи, нога липовая!

— Вы и с одной-с управитесь, — отозвался Карп и опять слова свои пискливым бисерком посыпал. — Мне бы Ипатыча.

— Ипатыч нездоров, теперь Василий справляется.

— Вот как-с!

И проводив глазами слетевшую с крыши ворону, Карп добавил:

— Очень превосходно.

И вот Карп Какурин на складе с молодцами товары отбирает, а у собачьей конуры, за навозной кучей, Иуда Василию говорит:

— Ты слушай проповедь мою: Карп до вина жаден. Ты ему тут и поспихай места три из тухлой партии. В деревне все слопают. Одно слово — селедка.

— Слушаю, оченно слушаю, — согласился Василий и нырнул в склады.

Сидит Карп в лавочной конторке, товарами довольный, и мадеру кашинскую пьет. Карп — три стакана, а Василий — один, чтобы гостя не обидеть. Дошло дело до расплаты, — Карп отнес хозяину деньги, а Василия пятеркой наградил, и опять стал пить мадеру кашинскую.

— Валяй! Сыпь! — пищал он. — Еще триста рубликов остача есть, на винцо хватит.

— Оченно свободно, — согласился Василий.

Давно подводы приехали, давно подводы наложили. Туда же и места из тухлой партии.

— Больно руки навонял, — сказал один возчик.

— У Холина Июды не поддует, — сказал другой возчик.

И все возчики разом заорали, будто пожар приключился, а всего-то они только со двора с возами съезжали.

А Карп до-красна мадерой кашинской налился и все пищал:

— Давай, поцелуемся!

И рукавички по карманам шарил, а вытащив рукавички, триста рублей обронил.

Тут-то его Василий и облобызал крепко.

— Ага, — засвиристел Карп, — лапоть ты поганый! С купцами стал знаться! Ну, ну! Кохай мине в морррду...

Пока это Карп Какурин из конторки вывалился, может быть, целый год прошел, а пять шагов, что ступил Василий, чтобы поднять три сотенных, в десять верст показались.

Залег к Василию в голову и в горло каменный груз и уши заложил, только и слыхал он, как Карпова повозка затарахтела со двора, да загромыхали болты на дверях лавки, что молодцы накидывали на крючья, а замок такой горячий оказался, что, словно огонь, сжигал руку, а махорка у молодца такая ядовитая, что в животе похолодело, и уж еле-еле Василий во двор вступил.

А когда Карп, спохватившись сотенных, примчался назад и дубасить в ворота начал, и вскочил во двор, и Иуду Холина с постели хмельного выкликал, — Василий, ежась и трясясь, на земле ползал, а изо рта пена хлопьями валилась.

— Вон с мово двора! — завопил Иуда на Карпа. — Молодцов моих спаивать!

Карп только пальцы растопырил. Хотел свистнуть — и плюнул, хотел засмеяться — и свистнул. И прочь пошел.

Тем бы и делу конец, если бы не торговки:

— В чем только душа держится, — рассказывала на базаре одна старуха.

— А он ему, — сказала другая,— Какурин-то этот, купец-то, и всыпь зеленого порошку прямо в вино.

— Тут он у Васьки и выкрал тыщу.

— Не тыщу, милая, а три.

И тут уж старухи расцарапались на споре.

И пошла по городу молва, что Василий по хозяйским интересам до падучей болезни мадерой нахлестался. И стали жалеть Василия.

А Василий к утру оправился. Сбегал к портному, новый пиджак взял, по случаю праздника в трактире у Мутовкина чайку попил и сел у ворот подсолнушки лущить.

А лицо его сизыми пятнами замутнелось, и по левой щеке рябь пробегала.

И прохожие говорили:

— Пожалел купец своего молодца, новым спинжаком наградил. И стоит! Потому — слуга верный.

III.

За полудником Василий мутный сидел.

— Дай-ка суды настойку, — приказал Холин хозяйке, — которой раны заливают.

И налил Василию из зеленой бутылочки:

— Пей разом!

Василия всего передернуло.

— Ну, ну, — заворчал Иуда, — не упирайся, пей другую!

— Не стану, Июда Кистинтиныч.

— Пей, говорю!

Василий выпил и лицо руками закрыл.

— Болесть-то завсегда человека кривляет, — робко хозяйка заметила и мигом от мужнина взгляда примолкла.

— Слушай проповедь мою, — говорил Иуда. — Не по той линии гнешь. Купца надо такой лаской брать, чтобы он и пикнуть не посмел. Сколько порченных мест положил?

— Десять.

А когда Василий, продышавшись, от лица руки отнял, Холин мотнул пальцем и хозяйку прочь выслал и спросил Василия:

— А деньги украл?

— Взял, — словно икнул Василий.

Подумал Иуда и решил:

— У меня в конторке три фальшивых сотни лежит. Бери их да отдай. Скажи: нашел. Все-таки почище будет.

Василий, уходя, Иуде ручку поцеловал, а тот ему в догонку крикнул:

— Да помни мое благодеянье!

Весь день Василий проспал на сеновале, лежа недвижимо, как пласт. Хозяйка уж радоваться стала и все кухарку Анисью глядеть на него посылала:

— Уж не околел ли, прости господи! И хорошо бы сделал! Все-таки в аду-то свои бы муки облегчил.

А нарáне опять Василий по двору мотался, в подвалы нырял и ключами у пояса звякал.

После полудника, получив от Иуды три фальшивых бумажки, переложил их Василий настоящими, да еще туда и двадцать пять приложил, и пятерик — какуринскую награду, и еще, что набралось. Сложил, пересчитал, еще раз сложил и пересчитал, засунул в старую варежку, прихватил с собою гостинцу, и добежал до казначейства. Гостинец казначею передал, а пока он им занялся, сказал ему ласково:

— Июда Кистинтиныч велели кланяться, и оченно просят вот ефту сумму ихнюю на мою книжку положить, потому, как они на хутор нынче уезжают, а тут срочные платежи в мое поручение оставляют.

— А славный леденец, — молвил казначей, ловя его зубом.

— Деньги, не изволите беспокоиться, десять раз пересчитаны, — сказал Василий и подал свою сберегательную книжку, по которой жалованье свое скапливал.

— Шестьсот тридцать девять рублей.

— Петров, запиши! — крикнул казначей и брызнул сладкой слюной.

— Шестьсот сорок без рубля, — подтвердил Василий Петрову.

Казначей кинул пачку в железный ящик и опять занялся гостинцем.

— А это еще что?

— Вермелад-с, — сказал Василий и, получив обратно книжку, добавил: — что-нибудь особенное. До свиданьица!

И вышел скорым ходом.

Только что на дворе застучала холинская култышка, а уж Василий тут же очутился.

— Нехорошо у нас, нескладно, — сказал он хозяину.

— Чего нехорошо? — зарычал Холин. — Не тяни!

— Нынче на базаре, — зашептал Василий, — нашим ворованным сеном мужики торговали.

— А ты почем знаешь? — пытал Иуда.

— Хуторянских видал. Откуда у мужика продажное сено? Известно, ворованное.

И через полчаса жеребец с мохнатыми ногами вывозил из ворот Иуду, который дергал вожжи и сильно ворчал:

— Я им, сукиным детям, покажу кузькину мать! Улыбнется им на этот годик аренда! Кому хошь, за гроши отдам, а только не им, поганцам!

— Надо, надо их, сиволапых, поучить, Иуда Константиныч,— провожая, говорил Ипатыч, который был сам из хуторянских. — Надо, надо! Василий верно говорит.

Ипатыч не только по этому случаю Василия одобрял, а давно уж стал ласков с ним и о судьбе его заботу проявлял:

— Тебе бы, Вася, пора домиком обзаводиться, — сказал однажды.

— Ну к, что ж! — согласился Василий.

И стали они приторговывать у соборного псаломщика неплохой домик с садиком, что напротив протомойки Татьяны Ивановны стоит и моргает за деревьями тремя оконцами.

Псаломщик старый в цене уперся, и не владеть бы Василию недвижимым, если бы не вступился в дело Иуда Холин.

— Эта линия у тебя по ватерпасу проведёна. Одобряю, — сказал он Василию и велел позвать к себе соборного попа, а попу такой вопрос предложил: — Ты, отец, как соображаешь: хозяин ты в своей церкви али нет?

— Хозяин, — ответствовал поп.

— Ан, нет! Коли ежели ты своему псаломщику приказать дело не можешь, не хозяин ты после этого, а бабья тряпка.

— Что вы, Иуда Константинович, — испугался поп, — что вы так-то расстраиваетесь! Он хоть и старый человек, а за вашей ножной могилкой хороший уход наблюдает и даже цветики сажает за оградкой.

— Он не стар, а глуп, как бабий пуп! — крикнул Иуда. — А ножкой моей ты мне не тыкай в нос, я и сам, кому хочешь, тыкну.

— И панихидки я служу, — засладил свои речи поп.

Совсем Иуда рассердился:

— А за алилую твою тебе деньги плачу!

Оробел поп, крест наперсный золотой в руку зажал, и бородку оправил, и волосы за ухо заложил, и рукава атласные к локтям сдвинул.

Позвал к себе Иуда Василия и при нем так молвил попу:

— Если бы ты был добрый иерей, то не мог бы терпеть такой неправды, чтобы старый твой дурак с эстого вот бедняка за свою развалюшку триста целковых просил. Не грабеж ли это среди бела дня? А? Да еще где? В церкви божьей! В храме господнем! У источника православия!

С попа словно бремя тяжкое скатилось, и улыбнулся поп:

— Экие пустяки, право! Не горюй, Василий. А вы, Иуда Константинович, умирите душу свою. Я об этом господу помолюсь. и старый дурак мой обязательно сбросит.

А прощаясь, поп весело разболтался:

— Ишь, чего захотел, дурень! Истинное слово ваше: дурень! Дурень, дурень! Праведное слово ваше. Завтра ко мне к ранней обеденке пожалуйте, певчими угощу, и тенорок есть очень знаменитый.

И ушел поп, а Иуда с Василием водочки трахнули. И захмелел Василий и стал горевать:

— Вы уж меня, Июда Кистинтиныч, не обессудьте, потому я за вас душу имею.

— Чего обессудить?

— А чай-то гнилой, что велели выкинуть, я его, значит, деревенским торговцам поспихал.

— А обижаться не станут? — спросил Холин.

— Никак нет. Я им говорю: вы его засырили, а чай первый сорт, вобче.

Недолго поп старого дурня уламывал, — только пригрозил с места уволить. И домик с садиком за Василием закрепился: сто рублей дурню старому на руки, сто — в рассрочку, но их-то он так и не успел получить, оттого что с первыми неладное случилось. И вот что: казначей старому дураку при Василии и при всей публике из железного сундука сотенную выдал и в расход записал, а он ею стал через неделю с мужиком за корову расплачиваться, и пошли они в казначейство бумажку менять, а там говорят, что она фальшивая.

Старый дурень кричит:

— Я ее от вас же получил! Удавлюсь, если не разменяете!

А мужик чуть не плачет:

— Я ежели коровы не продам, то меня завтрашний день в волости до последней щепки распродадут за неплатеж.

А все смеются:

— Виданное ли дело, чтобы в казначействе фальшивые деньги держали.

Так и вышло: мужика в волости распродали, а старый дурень взял да и наложил на себя руки: пришли к нему Василий с Ипатычем, чтобы его по взаимному уговору в наемную квартирку перевезти, а он висит на ламповом крюке, а из худого валенка большой палец, словно телячий рог, торчит.

— Вот она, — молвил Ипатыч, — что значит сумму неправедную взять.

А Василий к начальству побежал.

И похоронили старого дурня без покаяния, а племянница его заикнулась, было, Василию насчет остальной сотни, да он судом ей пригрозил, потому что, говорит, я дом с крепкими полами покупал, а они оказались, как труха, все гнилые.

IV.

Зажил Василий домом своим против протомойки Татьяны Ивановны и стал с нею каждый день по многу раз встречаться, а она к нему каждый день с упреком:

— Брезгуете мною, Василий Фомич, не заходите на теплые воды. Ну, уж я-то старая, не любопытная для вас, а хоть бы Линочку, дочку мою, пожелели, все окна на вас проглядела, — очень ей обидно по молодости лет, что такие мущины неискренние.

Сходил Василий в субботу в баню, обрядился в воскресенье, сапоги дегтем намазал, у ранней обедни отстоял, попу ручку поцеловал и зашел к Татьяне Ивановне на теплые воды.

Сидят, чай пьют. А Татьяна Ивановна то самовары подливает, то в кухню к печке бегает — варево доглядеть, то к Василию с угощением приступает, а сама разливается на все лады своим баском громогласным. А дочка ее Линочка чай разливает, и глаза у нее, словно две черные ягоды, по сторонам раскатываются, а на щеках от большого волнения два белых пятна проступило, словно их мелом напачкали.

— В японскую войну сколько народу перебили, — удивляется Линочка.

— Тыщи; миллионы, — кричит из кухни Татьяна Ивановна.

— Военное положение, — соглашается Василий и, ломая пальцами сахар, крошки в рот засыпает и, вывернув ладонь наружу, усы вытирает.— Тоже и бунты эти. Необходимо им было окорот и острастку изделать.

— Я бы этих бунтарей всех на каторгу, — сердится Линочка и чаек приглатывает.

— Не на каторгу, — боченясь, басит протомойка, — а жалованья им не заплатить месяцев пять, вот бы и узнали, как родителев зовут. Право слово, узнали бы!

И досидел Василий до седьмого поту и, обливаясь им, вышел на крылечко, и Татьяна Ивановна с ним: провожать гостя дорогого.

А из окошка Линочка кричит:

— В садик ваш можно пройтитца?

— У вас у самих очень замечательный, — вежливо отвечает Василий.

— Вот уж и пожелел! вот уж и пожадничал! — смеется протомойка.— Ну, уж ладно, ладно! А вы к нам все-таки на теплые воды, милости прошу.

Василий за соборный тупик заворачивает, а Татьяна Ивановна к дочке приступает:

— Мущина не сказать, чтобы важнецкий, а капитал имеет.

— Уж очень от него мужиком да дегтем разит, — жалуется дочка, — а руки, как грабли.

— Такие-то руки и берут хорошо. Да что говорить! Только бы за мужем числиться, а для разных прелестев любой сыщется, и концы в воду.

Идет, стало быть, Василий из гостей, а ему навстречу кухарка Анисья:

— Сам кличет!

— Сам кличет! — ворчит Василий, — ни в будни, ни в праздники покою нету...

Поворчал-поворчал, а в холинскую калитку завернул.

А в доме к нему хозяйка со слезами приступила:

— Чтой-то сам-то разнеможился, третьи сутки без очуху пьет.

И впрямь Иуда словно со стойла сорвался. Даже култышку свою снял, и костыль в угол забросил, и лежит на кушетке нечесанный, немытый, и все по стопочке зеленой трахает без закуски.

— Ты что же это? — завопил на Василия Иуда. — Дом купил, хозяина забыл?

— Никак нет, по ремонту неуправка.

— Никак нет! — не слушал Иуда. — Ты что мне наделал? Мужиков хуторянских с земли прогнал по твоему слову, как ты мне есть слуга верный, а что я с землей делать стану? А? Молчишь, подлец!

— Землю и сами сработаете, коли ежели человек верный находится,— посоветовал Василий и защурился.

— Ну, ну! Говори, говори!

— Вот так и говорю-с, — спрятался Василий.

— Где верный человек? — загремел на весь дом Иуда.

— Я-с, — молвил Василий и запнулся. Прижал руку к груди, шаг ступил и добавил: — уж если что, умру-с!

И, махнув рукой, кончил печально:

— Э, да что уж говорить!

Тут Иуда и расслабел:

— Поди суды, — сказал он, — давай поцелуемся, как ты мне есть примерный приказчик. Давай трахнем.

Засел Иуда на кушетке, ногу свою резанную с розовым концом наружу выставил, пил, и все по ней хлопал, и все горевал:

— Была бы нога, тебя бы не было, не стало ноги, ты у меня воцарился. Слушай проповедь мою: нужны два пальца — деньги считать, два глаза, чтобы глядеть в оба, язык да живот для пищи, да еще одну ногу — к столу подсигивать, вот тебе и весь человек.

— А голова-с? — робко спросил Василий.

— Голова нужна мужику, рабочему да нищему, чтобы выдумать, как украсть получше, а за купца с капиталом сто умов думает. Давай трахнем.

— Истинно верно, — согласился Василий и трахнул с Иудой по одной.

По одной, да по другой, — и так славно натрахались, что Иуда в пляс пошел на одной ноге. Рухнулся Иуда на пол и тут же захрапел.

— Что же это, отцы мои родные! — всплеснула ладошками хозяйка.

— Серьезность, вот это человек! — сказал Василий и помотал перед хозяйкой кулаком, в котором зажал рупь восемь гривен, взятые с Иудиной конторки.

И зашатался Василий во владение свое, а поровнявшись с домиком протомойки, Линочку встретил, а та в темноте и наткнись на него, — тут уж Василий не стерпел: обнял ее, в затылок чмокнул, но только и успел пробормотать:

— Раскрссавица...

Вывернулась Линочка, засмеялась, а через минуту окошко распахнула и крикнула в темноту:

— Василий Фомииич, пришлите мне лампасе вкууснууую...

Уже светилась зеленью неугасимая летняя заря, когда Василий запрягал на холинском дворе чалого жеребца, непокорного и раздувающего розовыми ноздрями. А когда совсем заполыхало на восточной стороне, Василий уже в версте от города спускался с мостовой дороги на летняк. Жеребец тучный замылился, луга после теплой ночи распотелись, и сам

Василий размяк, — выкинул левую ногу из таратайки, прилег на локоть, помянул раскатистые глаза своей соседки, и песню бы затянул, да не умел,— один скрип у него вместо пенья получался, и в горле от звуков саднило.

Подъезжая к хутору, холинское отборное стадо встретил, а поровнявшись с пастухом, крикнул ему, насупив для страху брови:

— Чего спишь долго! Чего скотину поздно выгоняешь!

Мальчонок-подпасок глянул на него из-под ладони и весело сказал:

— Ишь ты! Какая чапля!

— Паршивец, — прошипел Василий, и заклокотала в груди его настоящая злоба, стегнул он больно жеребца и мигом докатил до усадьбы.

— Где Игнат? Где Захарка, — орал Василий и чувствовал, что от ору своего еще больше раскипается злобой, а когда подвернулся ему под ноги сынишка скотника, взял да хряснул его по голове.

— Зачем 'дерессси, — слезно заныл мальчик.

— Пшел отседа, сволочь! — завопил на него Василий и стал искать глазами, чем бы в него кинуть, но тут подвернулся сам отец-скотник, он на нем и выместил:

— Почему скот не в порядке? Почему навоз не выбран? Зачем овца околела? Где молоко? Где масло?

— Будя, пожили! Будя, поворовали! — кричал он, садясь в таратайку, а кругом рабочие стояли и не знали, чем обелиться перед новым заправителем.

Только что Василий за лозины свернул, как перед ним, словно из земли вырос Харлашка в красной кумачевой рубахе.

— Ты чего? — спросил Василий и малость даже оробел, потому что давно слыхал, что Харлашка в тульской тюрьме в палачах состоял. А то как бы ему иначе после человекоубийства на свободе у всех на глазах в своей деревне проживать, — конечно, правду говорят.

— Василию Фомичу-с, — сладко забасил Харлашка, — с кисточкой-с, с расписочкой, доброго здоровья!

И руку подал, растянувши широкую красную ладонь. И весь Харлашка был красный, а мясистые губы даже пунцовые и блестящие от слюны.

— Ты чего? — повторил Василий и поскорее руку ему пожал, захвативши одни пальцы.

— Ничего, — улыбнулся Харлашка. — А вот, давай друзьями станем.

— В каких видах?

— В таких видах, что ты мне награду должен большую отсыпать за первое донесенье. Мужики-то наши Иудин лес так общипали, что всю зиму на печке станут сидеть.

Озарился Василий, тихонько сказал жеребцу: — не балуй! — и зашептался с Харлашкой.

А в коротком времени летела холинская таратайка не в город, а прямо к земскому начальнику, а под сиденьем два окорока друг об дружку салились — недаром их, вернувшись на хутор, захватил Василий из чулана.

Нашептал ему Харлашка новую заботу.

V.

Под самый вечер, когда Иуда сидел на кушетке, натрахавшись из синего графинчика, принес Василий свое донесение: был, дескать, на хуторе, воров уличил, на мужиков жалобу подал, с урядником да с понятыми лес хозяйский у них обнаружил, акт составил и преступное дело раскрыл.

— Ну, парень, заварил ты добрую кашу! — отслушав Василия, сказал Иуда. — Посидят, голубчики! Кому придет время в поле работать, а кому клопов кормить. А мы с тобой трахнем.

И опять они натрахались. И Василий до того осмелел, что не к себе во владенье, а прямой дорожкой к протомойке направился.

— Я, — сказал он ей, — имею изъяснение в полном вашем семейном присутствии, так что дочку вашу обожаю и мечтаю о браке.

Линочка, конечно, застыдилась и прочь убежала, а Татьяна Ивановна, не долго думая, взяла эти речи всерьез:

— Без любви и козявка не живет, — молвила она, — а вы, Василий Фомич, мущина давольно известный. Но только должна я вам выразить свой отказ, потому что бедность моя не позволяет окепировать свою дочь приданым, которое вам подлежит по вашему положению.

— Не надоть! Ничего не надоть! — расхрабрился Василий. — Я есьм не какой-нибудь нищий.

А на следующий день Василий назвал протомойку «мамашей» и купил ей темного ситцу, а Линочку одарил сукном, да таким, что мать с дочерью в один голос сказали:

— Чистое шерстинó до единой ниточки!

А за полудником Василия горе перед Иудою обуяло:

— Что я, Июда Констинтиныч, за человек, — не больше, как сирота.

— Ты это к чему? — насупился Холин.

— Ничего-с! — вздохнул Василий.

— Ну, ну, договаривай! — приступил Иуда.

И тут уж Василий совсем распечалился:

— Что ж, Июда Констинтиныч, говорить-то попусту? Придешь, говорю, домой: ни тебе самовару, ни тебе женского обхождения.

— Эге! — рявкнул Иуда и залился своим хрипучим смехом. — Бабьего мясца захотелось? От постного скоромным запахло?

И вдруг Иуда примолк, трахнул из зеленой стопочки и строго спросил:

— Жениться хочешь?

— Да-с.

— Нашел?

— Нашел-с.

— Кто?

— Протомойки Татьяны Ивановной дочка.

Иуда помолчал, еще раз трахнул и по стопочке и по столу:

— Одобряю! Девчонка вкусная.

А Василий не переставал печалиться:

— Что ж, Июда Констинтиныч, аппетит есть, а только бедность наша непроходимая.

— А у тебя руки, что ли, отсохли?—стал сердиться Иуда Холин. — Сквозь пальцы у тебя не просыпется.

— Хозяин, — вдруг завопил Василий, — а хутор-с, а мое, можно сказать, усердие?

— Чтооо? — молвил Иуда и даже оторопел.

— А кредитная операция по вашему указанию, — ляпнул Василий и вытянулся во всю свою худобу, словно аршин проглотил.

Но тут уж и Холин очнулся:

— Таак... таак... — почти задумчиво, этак, протянул он, а потом во всю свою глотку заорал: — Поганец ты! Смерд! Вон со двора!

И полетел в Василия скрипучий холинский костыль.

И сидит Иуда, тяжко отдувается и частенько трахает.

Но раздумался Иуда, весь дом на ноги поднял, чтобы костыль ему скорее подавали и приказчика кликали.

А Василия и след простыл. После хозяйского шуму запрег он чалого жеребца в дрожки-бегунки и помчал его на хутор.

— Василий Фомич уехамши на футорь, — доложил Холину молодец.

— Что сказал? — допытывался Иуда.

— Говорили, что, мол, экстра большая.

И добавил молодец, помотавши головой:

— Сердиииитай...

Расчувствовался Иуда, достал из конторки пачку кредиток, отсчитал сумму, вынул из пиджачного нутреного кармана свой кошелек уемный, отсчитал еще рубль мелочью и добавил к пачке для ровного счету, все в бумажку завернул и сам себе сказал:

— Надо наградить. Старатель парень.

А Василий, не доезжая до хутора, свернул в лесок, намотал вокруг осинки вожжи и пошел чащей к оврагу, а там уже давно Харлашка его поджидал.

Сел против него Василий на траву, сорвал былинку и зубом ее закусил.

— Что долго? — спросил Харлашка.

— Неуправка, — буркнул Василий и, помолчав маленько, быстро зашептал: — Жениться хочу, деньги нужны, думай, что делать.

Харлашка на солнце защурился, в бороде большим пальцем порылся, потом лег на живот и сказал:

— Скотника надо в город отозвать, а есть место, куда корову сбыть.

— Большую, свицкую?

— Само собой.

— Нонче?

Харлашка повернулся на спину и, зеваючи, ответил:

— Есть такое дело! А пока давай трешку.

Василий трешку отсыпал и, ни слова не молвив, ушел и вскоре на хуторском дворе появился. По службам походил, велел рабочим пар поднимать, а скотнику приказал в город к «самому» явиться.

— Уж подвезите, Василий Фомич, — попросил скотник, — что-то ноги стали плохо служить.

— Пешо́й дойдешь, не барин, — бросил на ходу Василий и укатил на бегунках, запылив лозины розовой пыльцой.

А в городе прямо к самому представился: так, мол, и так, — все благополучно, рабочие пар поднимают, а скотнику велено сюда явиться.

— Острастку нужно изделать, — посоветовал Василий, — потому скотина страдает, опричь всего свицкая природа для уходу нежная.

— Все знаешь, обо всем мыслишь, — трахнув стопочку, порадовался Иуда. — Ну, вот тебе за это.

И тут он перед Василием сумму в бумажке положил:

— Владей бабой и меня поминай.

— Не могу-с, Июда Констинтиныч, — уперся Василий.

— Чего не могу? — подивился купец.

— Не могу насмелиться принять, потому как отблагодарить не имею возможности.

И опять Василий словно загрустил и головой поник.

— Бери, дурашка, — хлопнул его по плечу Иуда, — я твою службу чувствую. Давай-ка вот трахнем.

И так они натрахались, и так скотнику голову намылили, что совсем расслаб старик и домой не пошел, а лег во дворе под навесом, кулаком подложился и проспал до утра. А по крыше дождик хлестал.

А бражники по ночному времени весь дом перебудили.

— Режьте мне петуха! — приказывал Иуда. — Варите мне потрох! Желаю одну рюмку птичьим пупком закусить. Живо!

У кухарки Анисьи даже руки не слушались петуха ощипать, а сама она под нос шептала:

— Ну, и хорек, расшиби его грозой! Подавай ему ночью потроха! Вот это так хорек!

И в эту ночь на холинском хуторе со двора корову свели, да так ловко, что на взмокшей земле и следов ее не оказалось, — три пары лаптей прошло, а скотина словно в небо улетела.

Погрустил Василий перед Иудой о свицкой большой корове и посоветовал скотника прогнать.

Так и было.

А Харлашка ухмылялся Василию:

— Видал, как корову в лапти обувают? Есть такое дело!

VI.

Заспорились всякие дела у Василия: мамаша Татьяна Ивановна у него на дому зимние запасы ему справляет, любезная невеста Линочка наряды шьет, мужиков хуторянских за порубку леса в самую страдную пору в клоповнике продержали и штрафом обложили, а штраф у Василия в кармане как-то залежался. А Иуда Холин по-прежнему к нему благоволит.

И не только у Василия в тот — тысяча девятьсот двенадцатый год — был праздник великий, — праздновала вся Русь: помещики балы справляли, купцы пировали, и всякие другие люди, которые чином и титулом повыше. Одно и слышно, как золотые позвякивают, и новые кредитки похрустывают. Мужики, правда, хоть и не веселились, ну, да ведь и не ихнее это дело—хорошо жить.

Вот и залетел в город такой весельчак — прасол Петя Мичуркин, по торговому делу прибыл из Калуги. Усы закручены, и кошелек туго накручен, и к сердцу крепко прижат синей поддевочкой, а сапоги с блеском. Ходит по мещанам, ходит по купцам, телячьи да жеребячьи шкурки скупает, кошками и собаками тоже не брезгует, — все, говорит, под одну стать пойдет:

На шубки, на ботинки,
На дамские картинки.

И к Василию Мичуркин заглянул, и в лавке был, и на дому, и приглянулся ему Петя своим нравом: весело торгуется, весело платит.

— Вот тебе купец, — сказал он Холину, — за двадцать шкур полтинником дороже против всех.

А про другую партию в сорок шкур — ни гу-гу, а денежки с Василием пополам.

И случилось так, что как раз Мичуркин к Васильевой помолвке подоспел, и пировали они вместе. Харлашка тоже был, — сидел в красной рубахе, песни пел и прибаутничал. Татьяна Ивановна вином его угощает, а он ей словами отсыпает:

По баночке,
Да в саночки,
К милой на крылечко,
А милая, как овечка, —
Белы рученьки к ногам,
И горлышко пополам.

— Какая загадка любопытная, — дивится Татьяна Ивановна, — кушайте, Харлампий Иванович, милости прошу.

И тут же к зятьку своему Василию приступает с поклоном.

А за невестой Петя Мичуркин наблюденье имеет: распахнул свою поддевочку синюю, усами шевелит, хмелем разыгрывается, а от груди его так и пышит жаром и ситцевым духом, и на него Линочкины глаза раска-

тываются, и Харлашкины глаза поблескивают, и Василия серый взгляд внимание имеет, а Татьяна Ивановна щурится и подмигивает:

— Мущинское сердце изменчитое. В Калугу уедете и об нас не помянете.

— Не в жисть не забуду, — уверяет Петя, а сам под столом у невесты ручку пожимает: ты, мол, тоже не забудь! А сам шепчет: — Через недельку опять свидимся.

Пропировали на помолвке за полночь. Василий на радостях невесте двести рублей подарил, а Петя ей красненькую на подсолнухи, тайком от жениха, и в сенцах так ее крепко и жарко обнял, что у самого дух захватило и в глазах затуманилось.

Укатил Мичуркин в Калугу, Василий в лавке и на хуторе орудует, а Харлашка, нет-нет, да и заглянет в город и постучится на крылечке у протомойки Татьяны Ивановны, а у самого узелочек под мышкой.

И стала будущая теща Василия кое-чем тоже приторговывать: то холстом бабьим, то сапогами мужицкими, а то и дворянским пальтецом кого-нибудь за дешевку наградит. Около нее и будущий зять справил себе знатную одежу.

В недалеком будущем Петя Мичуркин опять прикатил. Побывал, полюбезничал и опять умчался на своем пегом бегуне, одаривши протомойкину дочь всякими ласками.

Дни протекают, а о свадьбе настоящего разговору нет. То в приданом запозданье получается, то сама мать спиною и ногами разнеможется, то постные дни наступили, а тут еще у самого Василия несчастье приключилось: везли возчики со станции места с чаем, да от метели укрыться заехали на хутор, а на утро двух подвод не досчитались, — и с товарами, и с лошадьми словно сквозь землю провалились.

Взвыл Иуда Холин от большого убытку и такое слово сказал Василию, что тот поклялся ему руки на себя наложить. Кинулся к уряднику, а тот совсем некстати больным приключился, — совсем распечалился Василий и о горе своем Татьяне Ивановне поведал:

— Это, мамаша, большой удар для торгового дела.

— А вы бы Харлампия Ивановича на помощь призвали, — посоветовала протомойка.

— Харлампий в эту же ночь в Калугу отлучился, — подосадовал Василий, — кругом обидное положение.

— Скажите, какое совпадение! — погоревала с ним вместе Татьяна Ивановна.

Но Иуда не унимается: вынь да положь ему воров. И все трахает с утра до ночи.

— Мне, — говорит, — чтобы товар на-лицо был!

А то вдруг заорет:

— Не ту линию гнешь! Не по рту ложку выбираешь!

Пойми его, что он думает, а все-таки разговор прискорбный, и душа от него у Василия неспокойна.

Прибыл Харлашка, и опять все неладно: Василий у него помощи при Татьяне Ивановне просит, а он сидит, чай распивает и ни в какую не вникает:

— Я, — говорит, — по своей специальности на работе был, одному студентику веревочкой шейку обмерял и мыльцем смазывал. После этого я должон себе недельный отдых предоставить.

Отозвал Василий невесту свою в сторонку и молвил:

— Как вы есть моя будущая супруга, то прошу вас передать это вашей мамаше на сохранение.

И подал ей бумажный сверточек и кое-что на ушко шепнул. И стал он будто поспокойнее, а за полудником Иуде доложился:

— Есть слушок, что на следу по нашему делу полиция находится.

И так возликовал Иуда, что порешил у себя на святках большое пированье учинить, а пока что не побрезговал приглашением на третий день Рождества к нотариусу Генеропитомцеву на рождение его супруги прибыть со своею супругою.

Нотариус — большого ума человек, и любит этим похвастаться, а потому и угощение гостям приготовил такое знатное, что в пору и в губернии с таким празднованьем выступить. Одним словом, свежие огурцы были к индюшкам поданы, оранжерейные, от предводителя дворянства Редькина, а Редькин преподнес хозяйке абрикосов и за столом ей спич сказал:

Для ваших роскошных кос
Зимой цветет абрикос.

Хитрый был мужчина, знал, чем угодить, — хозяйка свои волосы на две толстых косы заплетала: одну, говорят, из Парижа выписала, а другую в Москве подобрала, а ко дню своего рождения вплела в них по голубой ленточке.

За столом, конечно, разговоры затеялись. Один камергер рассказал о питерских новостях и о том, какая опасная по фабрикам и заводам пропаганда через разных студентов ведется. А Иуда Холин не стерпел и всем на диво оповестил, как его приказчик Василий хуторянских мужиков всей деревней в клоповник посадил. А, взволновавшись от своего рассказа, решил перцовки трахнуть, протянул руку к рюмочке, и все не унимался.

— Это, — кричал он, — все одна...

И вдруг примолк, вместо рюмки схватил тремя пальцами воздух и только еще пролепетал:

— Пропага...

Потом Иуда напыжился, весь кровью залился, захрипел и рухнулся со стула, так, что даже култышка его деревянная отвалилась с ноги и, покатившись под столом, очень больно хозяйкину ножку в бальном башмачке ушибла.

И получилась большая смута: кто за доктором побежал, кто поскорее домой стал одеваться, а кто просто от неожиданности за столом остался. Редькин первую помощь хозяйке подал, увел ее в спальную комнату, снял с нее башмачок и начал чуть-чуть повыше коленки ножку ее растирать,

потому что, говорил, самое опасное, что может случиться, так это — рефлексия в это самое место.

А больная стонала и умоляла:

— Увезите меня отсюда, я могу здесь заплесневать.

Посуетились-посуетились, а доктора не нашли. Пришел земский фельдшер, пощупал Иуду и всем объявил:

— Безнадежная смерть.

И тут уж законным порядком полицию пригласили и акт о теле купца Иуды Константиновича Холина составили:

> «Лежит оное среди комнаты, именуемой залом, на спине вверх лицом, в протянутом положении, глаза и рот закрыты, лицо синее, руки сложены на груди, одет в суконном сюртуке, левая нога вместо одного члена имеет деревянную часть, а костыль покойника увезен супругою его законной на дом, без признаков насильственной смерти, проломов в голове не имеется, кости целы, задняя часть затылка сине-багровая, а сторонние люди о причинах смерти отозвались незнанием».

Вот и вся история.

А в городе стали разное говорить: кто рассказывал, что Иуда, бравши рюмку, сложил персты в крестное знамение, а кто уверял, что он перед смертью всем гостям кукиш с маслом показал, а потому не иначе, как быть какой-нибудь беде.

VII.

О своей великой утрате узнал Василий на дому у протомойки, куда прибежал со двора холинского молодец. Было и у Татьяны Ивановны пированье по случаю приезда Пети Мичуркина. Прибыл он для поздравления с праздником, и уж Василий с глаз его своих не спускал, потому что не очень нравились ему частые его навещания. Но тут такое приключилось, что все можно забыть. И кинулся Василий на хозяйский двор и прямо наверх в дом — к холинской конторке, а там уж сестрица Иудина сидит, слезы платочком вытирает и причитает:

— На кого ж ты нас, красавец, покинул?..

Василий в конторку полез, а она ему объявляет:

— Там одиннадцать рублей шешнадцать копеек считанными деньгами.

Схватил Василий из конторки ключи торговые и как бритвой Иудину родственницу обрезал:

— А сколько в карман себе положила?

Та только ахнула и опять запричитала:

— Без тебя, красавец, всякий нас обидит, несчастныих, горемышныих.

А сама хозяйка совсем рассырелась: то ли заказывать гроб сосновый, то ли дубовый, то ли под уху пироги с визигой, то ли с рисом?

— А с лавкой-то, с торговлей-то как быть? — молила она ответа у кухарки Анисьи.

И вдруг в знак молчанья пухлыми ручками на нее замахала, потому что под окном брякнули ключи Василия.

А Василий по подвалам нырял, по двору мотался, по лавке бегал — все места себе не находил от тоски по хозяине, а мимо лавки не раз Харлашкина красная рубаха мелькала.

И растянулся Иуда у себя в доме под белою простынею, на столе. Забубнила над ним черная монашка, сперла комнаты ладонная и всякая курильная духота, приходили раз по пяти на день попы, дьякона, псаломщики, понамари, причетники, просвирни, — пели и кадили около синебагрового праха Иуды, а чтобы дворовый кобель на священные песнопенья не подвывал, увел его Василий к себе в дом, в сенцы запер, и там уж он от тоски позевывал, а народ городской примечал:

— Не быть добру.

А чего тут особенного, что пес скулит по своему дому, и перестали бы о том говорить, если бы в самую ночь под похороны не случилась новая беда. А беда от того приключилась, что уж очень Василий о хозяине растосковался да и забыл с заднего хода лавочку запереть, а на утро на прилавке красного товару ни аршина не оказалось.

Тут уж и полиция потеряла голову: не то на Иудиных похоронах порядок наблюдать и на поминках чужое горе блинами заедать и вином запивать, не то вора выслеживать...

Так тому и быть: Иуду по-пышному схоронили, вор—словно сгинул, а на следующий день Иудина супруга при родном племяннике своем Василию расчет вынесла:

— Ко мне теперь сродственник жить приехал, племянник мой с делом управится, а вот тебе для памяти по хозяину рупь серебряный, а я очень благодарна.

Зашелся от злобы Василий и, сам не упомня как, стукнул этим рублем об пол и хозяйке крикнул:

— Шкура ты! Сволочь!

Хозяйка, конечно, от испугу в кресло, как мешок, брякнулась, а рупь покатился да и лег у самого каблука племянника, а тот его взял, положил в жилетный кармашек и успокоил тетку:

— Не расстраивайтесь, тетенька, а рупь тоже кармана не оттянет.

Выбежал из холинских ворот бывший холинский приказчик, бывший Иудин собутыльник, постоял, поскрипел зубами и побрел к протомойке Татьяне Ивановне, будущей своей теще, свое второе горе поведать.

А протомойка после похоронных кухонных хлопот на холинском дворе так разнемоглась руками и ногами, что будто даже не восчувствовала слов Василия, а так себе молвила:

— Ишь какие купцы нехорошие.

Не стерпел такого равнодушия Василий и к невесте своей в каморку занавесочку откинул, а там пусто.

— Где же она? — шепнул Василий и подумал, что спит.

— А Линочка в Калугу уехала, — простонала Татьяна Ивановна:— уж очень у нее руки-ноги гудели.

— Как в Калугу? Зачем в Калугу? Почему в Калугу? — приступил к ней Василий.

— Какой вы, Василий Фомич, право! — подивилась она. — Как зачем да почему! Известно, дело молодое, прогуляться захотелось. А Петр Петрович Мичуркин такой деликатный мущина, что всякую малость без отказу. И всего-то с полчаса, как уехали.

Как сидел Василий, так и остался. Молчал-молчал, моргал-моргал глазами, да вдруг прямо:

— Денежки мои пожалуйте назад.

— Какие такие денежки? — спохватилась протомойка.

— Двести рублей.

— Это у невесты-то своей отымать хотите?

— Она мне не невеста.

— Ну-к, что ж, я не противу вашего отказу.

— Все, все, что на сохранность через нее, стерву, были дадены, — орал Василий.

— Уж это я даже и не знаю, какую вы глупость несете, — развела руками протомойка, — ничего не знаю, ничего не ведаю.

И так она раздивилась, что даже к двери выходной попятилась и так это у нее кстати получилось, что когда кинулся на нее с сухожилистыми кулаками ошалевший Василий, то прямым путем на крылечко вылетел, а в двери выходной ключик замкнулся.

Бубенцы брякают, подковы звякают, ледышки звенят, снег мерзлый по сторонам шуркает: веселятся о святках помещики, купцы, чиновники, а Василий в сугробе ежится и зубами скрипит, а изо рта пена, как из квасной бутылки выхлестывает.

Надо бы всем и на следующий день тоже веселиться и новый год встречать, а Василий от такого случая сидит у себя на дому, один-одинешенек, и щеку отмороженную гусиным салом мажет и платком увертывает.

И другой день сидит, и третий сидит, словно из города сгинул, только окошко его с окошком супротивницы его Татьяны Ивановны ламповым светом перемигивается.

Только на ближнее воскресенье показался он на люди. Куда, думает, сходить, где бы такое место избрать, чтобы всех своих врагов повидать? И решил Василий в соборе службу отстоять.

Стоит за обедней Василий, лоб крестит, поклоны кладет, попу и дьякону на разные возглашения кланяется, а глаза по сторонам бегают врагов своих считают, а сам он себя скалой каменной чувствует. И так он от гордости своей вознесся, что вперед всех, с самой чистой публикой ко кресту прикладываться полез, а приложившись — на весь храм попу гаркнул:

— Благоволите панафидку по новопреставленном Июде.

И отстоял Василий с чужими старухами панихиду и попу два целковых дал, так что тот даже два раза их в кармане пересчитал, распеваючи акафист, а после спросил:

— Ну, как, Василий?

— По покойничке очень убиваюсь, — молвил он и в знак тоски своей глаза ладонью потер.

— Это похвально, — одобрил поп и дал ему ручку поцеловать.

И понравилось Василию в отмщение врагам своим тосковать по Иуде, и зачастил он в церковь, — что ни служба, а он уже там, даже сам себя благолепным почувствовал.

А тут еще новая обида: недели две после Иудиных похорон, Харлашка к нему в дом постучался: хоть и пьяный, а не очень веселый.

— Был, — говорит, — товар, да улыбнулся. Пощекотало в ноздре, а в ухо не влетело.

Разгневался Василий и напрямки спросил:

— Сколько принес?

А Харлашка опять за свои прибаутки:

— Была, — говорит, — цена, да ценить не пришлось.

Пожелтел Василий и замолк.

Сидят они, лампа фитилем юзжит, и прусаки по столу бегают. Такая досада взяла Василия, — погубил он двух тараканов: одного ладонью, другого пальцем замял, и чуть-чуть от души отлегло, а после заговорил:

— Лизаветка с Петькой хвост показала, а эта стерва про мои деньги ни в какую. Отказ полный на деньги.

— Хорошо скотинку зовут, а сколько в ней весу? — спросил Харлашка.

Василий наморщил лоб, а разгадавши — тихо поведал:

— Сот восемь.

Харлашка залился басистым смехом, всю комнату винным духом надышал, ворот красной рубахи расстегнул, помотал черной головой патлатой и сплюнул:

— Хороший кусочек слизнул у тебя Петька.

А прощаясь сказал:

— Есть такое дело!

И не успел ему Василий дверь отпереть,— Харлашка словно сквозь землю провалился: ни калиткой не визгнул, ни снежком не скрипнул, — и нет его: пропал.

На что уж Василий и сам был аккуратен, а подивился на него и успокоился.

Успокоившись, Василий самовар поставил, чаю попил, к ранней обедне сходил, а после поздней к попу в гости зашел, будто знал, что о нем нынче в этом доме вспомнили.

Да и вспомнили-то чудно.

VIII.

В самое, видно, то время, когда Василий самовар раздувал, попадья, отстраняясь спросонья от поповых ласк, жарко прошептала:

— Что ты, нынче ведь служба?

— Ну, ну, в первый раз, что ли! — настаивал поп свое.

И так-таки и настоял на своем, а попадья, с трудом отдышавшись, укорила его:

— Какой ты! Мы уж вот дочь вторую выдаем за дьякона, лучше бы подумать, где им домок прикупить.

Но поп на молитву встал, а попадья раздумалась. А когда поп молитву справил, попадья надумалась:

— Поговорил бы ты с Холинским Василием, да поманил бы ты его чем-нибудь. Псаломческое-то место свободно, вот и предложи ему. Ты, мол, нам дом уступи, а мы тебе вот что. Авось и на квартирке наемной поживет. Невеста-то ему улыбнулась.

— Малограмотен и нечист на руку, — возразил поп.

— Вот еще! Какие мелочи! — подивилась на него попадья. — А ты подумай, и все будет ладно.

У попадьи всякое соображенье было министерское, а поэтому поп всю раннюю и всю позднюю обедню продумал над этим делом, даже в службе малость оговорился.

А тут и сам Василий пришел непрошено гостить. Он и повел с ним речь издалека:

— Хвалю тебя, Вася. Богомолен ты, и храм не забываешь.

— Веру имею, батюшка.

— И спасен будешь, — заключил поп и по рюмке настойки с Василием под пирог хлопнул и сейчас же повторил.

— А чтобы тебе совсем к храму божьему прилепиться? — попытал

Размяк от таких слов Василий и говорит:

— Что вы, батюшка! Куды уж мне?

— На свободное псаломческое место, — осмелел поп.

Совсем застыдился Василий:

— Даже не мечтал, батюшка, а не токма что...

И к этим словам попадья с новым самоваром подвернулась и все дело порешила:

— Эх, уж будет вам! Поговорили, и ладно. Все это вы об делах. Сделал ты, отец, предложенье, ну и пускай Василий Фомич сам обдумается. Право! А меня вот очень волнует: почем нынче постом снитки будут?

Поговорили еще о снитках, выпили еще самовар, и пошел Василий к себе домой думу думать. Не столько ему псаломщиком хочется быть, сколько врагов своих этим уязвить.

И стал он еще чаще в церковь ходить, даже ни одной вечерни не пропускал и каждый раз с попом беседу имел, а в конце концов свое согласье дал.

И стали они вместе хлопотать, и перво-наперво сходу деревенскому на Васильевой родине заявку сделали, что, мол, не может Василий нести на себе позорное имя преступных родителей своих, а потому просит дать решение на перемену его фамилии: вместо Клейменых — Бенескриптов.

Запоил Василий мужиков своих водкой, получил решение, и в волости ему никак не воспрепятствовали, потому что уж очень он старшину с писарем обласкал.

И стал Василий Клейменых — Василием Фомичем Бенескриптовым. Так его и владыко на псаломческое место в соборе утвердил и благословил.

Поскрипел Василий на клиросе, и заскребло ему глотку. Обернул шею платком, — стало легче. Так и привык. Платок днем и ночью не снимал, а прихожане к скрипу его так привыкли, что даже умиляться стали:

— Что значит вера в человеке сильна. Без голосу, а как поет чувствительно.

А поп об доме хлопочет, купчую с нотариусом Генеропитомцевым сочиняет, а Харлашка к протомойке Татьяне Ивановне с узелками ходит, а то и просто так: поприбаутничать и чайку попить, а к ночи к Василию частенько заглядывает.

Но случилось так, что на самую пасху пропал Харлашка, и пошли слухи, что он на Дон подался. Потосковала об этом протомойка, вернувшись от дочки своей из Калуги, а Харлашка-то — и вот он!

В самое Фомино воскресенье, когда у соборного попа сговоры по дочери были и Василий с пированья домой опозднился, а Татьяна Ивановна от своей племянницы чуть ли не в ту же минуту к себе в дом вошла, — тут и заявился к ней Харлашка.

Уж очень обрадовалась протомойка:

— Пожалуйте, — говорит, — на теплые воды, Харлампий Иванович.

Засветился у протомойки огонек, задернулись кружевные занавесочки, замкнулся ключик в дверях, и загостил там Харлашка, — видно, чаи гоняет и прибаутничает.

А под утро два молодых купца — братья Сидоркины — едут мимо ее дома, да и говорят:

— Гляди-ка-сь, у Татьяны-то Ивановны еще свет горит. Заедем-ка кстати по пути, попросим ее к нам на праздник покухарить, а то у мамаши обязательно будет неуправка.

Поговорили и постучали в колечко, — нет ответа. Еще раз постучали— тоже нет. Толкнули дверь, а она не заперта. Вошли и кличут, — нет ответа. Еще раз кличут, — тоже нет. Вошли в ее спаленку и ахнули. Выскочили они назад, сели на лошадь, сами ее погоняют, а сами кричат:

— Убийство! Полиция! Убийство! Скорей, полиция!

Так с таким криком и въехали на площадь, а там у трактира Мутовкина свое смятенье: держат люди Харлашку в красной рубахе и тоже кричат:

— Полиция! Лошадь чужую отвязал! Лошадь хотел украсть! Полиция! Грабеж!

В скором времени и полиция очнулась и у Харлашки допрос учинила:

— Откуда да зачем?

— Я, — говорит он, — от Василия Фомича Бенескриптова из гостей.

— Нет такого у нас, — говорят ему.

— Ну, тогда от Васьки, Холинского приказчика.

— Есть, — говорят, — такой. А почему у тебя рукав в крови? Почему Татьяну Ивановну безо всякого дыхания братья Сидоркины на полу лежачей видали?

Харлашка туда-сюда, и все кричит:

— Пустите! Я вам сейчас убийцу предоставлю. Это по моей специальности.

Однако повели Харлашку в полицию, на замок посадили и кинулись: кто — к протомойке, кто — к Василию. Протомойку убитой нашли, а Василия с постели подняли, а на постели еще девку Захлевинскую Шлюпиху нашли, — и тоже акт составили, но Василия в полицию не взяли по той причине, что он от сильного перепугу на пол грохнулся, зубами заскрипел и стал по полу извиваться.

Даже весь народ за него заступился:

— Будет вам, — кричали под окнами, — человека-то мучить! Авось все знаем его. Не человек, а усердный богомольник.

— А зачем Шлюпиха с ним оказалась? — гаркнул на всех околоточный.

Но тут его здорово обрезали:

— А кого же призреть, как не эту несчастную?

И пошел по уезду исправник метаться. Первым делом братьев Сидоркиных аресту подвергнул: почему, де, в такую позднюю пору ко вдове, всеми уважаемой, заехали?

Потом в народе слух оговаривать стал какого-то Куську косого. И согнал исправник со всех волостей, без различия возраста, всех Кусек с глазным изъяном и в клоповник посадил.

Призвал он братьев Сидоркиных и стал выпытывать у них:

— Откуда у вас под сиденьем револвер?

— Да он, — отвечают, — вашество, сломанный.

— Откуда? — кричит, — сейчас же говорите!

— Да это, — отвечают, — не револьверт, а просто занятье детских лет.

Поглядел исправник на их оружие и бросил прочь, — действительно, видать, что для убийства не годится: без курка, а в дуле палка торчит.

— Откуда у вас под сиденьем ножик длинный? — кричит опять исправник.

— Да это, — отвечают Сидоркины, — нам для надобности.

— Откуда? — кричит, — сейчас же говорите.

— Да это, — отвечают, — ножик полезный для свиней, потому как мы по мясному делу от папаши своего унаследовали.

Поглядел исправник на ножик и бросил его прочь, — видит, что ножик, как ножик, и таким же ножиком и те же Сидоркины в мясной ему грудинку жирную для борща отрезают.

И отпустил исправник братьев Сидоркиных на свободу.

А уж Кусек кривоглазых сколь ни пытал и сколь ни гонял по разным вопросам, так-таки ничего не добился.

И их пришлось отпустить на свободу.

И пошли из городу Куськи по своим сторонам, — кто-то и дошел, а кому-то и не привелось своего дому достигнуть: один с горя на постоялом дворе водкой опился, а другой от кружения в голове в речке потонул, а третий сгинул, и обо всех об них и доселе три семейства убиваются. Ну, да ведь и то сказать, не в потеху же себе исправник свое распоряжение творит, — беда для всех одинакова: прав ты или не прав, а попался под руки, терпи.

Обыскали Харлашку в каморе, где он полулежа спать завалился, и ничего не нашли. И перевели его в острожное заключение, а рубаху с кровяными пятнами к следствию приложили и надели на него арестантский халат.

А тут опять неладное дело: пошел полицейский сторож Гуськов после Харлашки камору чистить и увидал в половой щели кусок тряпочки, потянул, — что-то лезет. Вытащил: тряпка в крови.

И представил Гуськов тряпку, как она была в узелки запутана, по своему начальству, а в тряпке восемьсот рублей сотенными оказалось.

Задумался Гуськов. Промолчал пять дней, а на шестой повесился, только и сказал за эти дни два слова:

— Не знал!

И приложили тряпку с деньгами к следствию по делу об убийстве протомойки Татьяны Ивановны Дулихиной.

Погребли Дулихину. Дочка ей камушек на могилу поставила, а гробовщик Пенкин надписал на нем:

«Получила смерть невольную».

А Харлашка сидит себе, не унывает. Василий ему по своему сердолюбию через одного человечка и харчи сладкие посылает, и деньгами не забывает, так что и тюремщики стали его уважать и винцо с ним распивать.

— Как же это ты, — говаривали ему, — Таньку-то не пожалел?

— Не стерпел, — объяснял Харлашка, — дал ей одну, ну, думаю, получай другую.

И смеялся Харлашка, калачом вкусно закусывая, и губы его пунцовые от слюны блестели.

И осудили его, а он все веселый. Идет с конвойными да и говорит:

— Ничего! Подвешу на крючочек с мыльцем двух студентиков, а то и трех, — опять простят.

Говорили, будто неправедно, что одного Харлашку осудили, — но, конечно, зря. Все равно Василий за всех бога замаливает и на могилку к протомойке с самых похорон грустить ходит.

Подождал соборный поп, пока умы и сердца в городе успокоились, и опять к Василию подъехал с купчей на домик, а тот даже удивился:

— Что вы, батюшка, такое! До того ли мне теперь, потерямши такого человека.

А у попадьи ум министерский, она и говорит попу:

— Поезжай к владыке.

Поп копийку с полицейского акта снял и в губернию тронулся, а прибывши туда, келейнику пуд меду и рупь деньгами разодолжил, и после трех губернских дамочек немедленно к самому был допущен.

Поп к владыкиной ручке приложился, а от ручки персидской сиренью так в нос ему и пахну̀ло.

И доложил он владыке, что его псаломщик с Захлевинской девко̀й Шлюпихой в одной постели был застигнут.

Очень разгневался владыко и постановил псаломщика Василия Бенескриптова в монастырь на Жабынь на полгода на раскаянье сослать.

А Василий на это только и сказал:

— Покорствую. Одну только разлуку с мучением приму: с могилками.

Так все и поняли, что говорил он об Иуде Холине и о Татьяне Дулихиной.

IX.

Жабынь — река светлая. Летит кенареечным пером по береговым лугам солнце, а на взгорье, у самой поймы, у жилки голубой ручья дома раскинулись. Блестят оконца с белыми бровями и светелки с веселым узорочьем, а вдоль улицы на веревке-сушилке треплет непутный речной ветер распашистый сарафан молодки, да мамкину скупую одежку, да расходистые портки батьки, да резвые рукавчики дитяти.

Дома деревянные, дерево серое, кое-где с голубинкой, а хозяева в долбленых деревах на речных гребнях рыбачат, — это Жабынь-деревня, а напротив нее стоит монастырь Жабынский.

Подошел Василий с котомочкой на плечах к монастырю в ту пору, как служба в нем отошла: стоят стены белые, и тишина в них словно белая, а людей нет. Вошел во врата: перед ним флигель с терраской, а подле нее, опершись боком о ступеньки, розовая свинья замерла: не то жива, не то нет, — настоящая ходячая ветчина.

«Не иначе, как жить здесь казначею», — подумал Василий.

Не успел он одуматься, как вдруг развеселая гармоника грянула. Глядит: в палисадничке скуфейка торчит. Шагнул к ней Василий, а за скуфейкой широкий клобук показался, и в один миг широкая ладонь скуфейку за шиворот схватила, а гармошка только пискнула нескладно.

— Свинья у тебя некормленая, дрянь-болтушка! — задребезжал клобук по-клиросному.

А увидавши Василия, клобук ласково молвил:

— Вам кого?

— Владыку.

— Нынче не приведет господь. Владыко не в полном здравии.

И вздохнул клобук и так очи запрокинул, что только одни белки остались, а потом исчез, только где-то лесенка скрипнула.

А перед Василием скуфья остановилась: лицо бледное, тишайшее.

— Чего он тебе набрехал? — спросила скуфья и, не дождавшись ответа, рукой махнула на кирпичный корпус:

— Иди! Вон там владыко, коль он тебе нужен.

Скуфья тоже исчезла, а Василий ко владыке пошел. Поднялся по лестнице железной, сунулся в одну дверь, толкнулся в другую — заперто, вошел в третью — тишина, словно нет никого живого.

И вдруг опять:

— Вам кого?

И встала перед ним патлатая голова, словно гнездо грачиное, а голос у нее такой, что в городском соборе по стене до самого купола влезет.

— Владыку, — сказал Василий.

— Ну, счас! Подождешь! Владыко моется, — гаркнула голова, пошла и загремела ведеркой.

Попарил себе владыко ноги, сел в кресло, укутался и призвал к себе Василия.

— Ты — Василий? — спрашивает.

— Василий.

— Фомич?

— Фомич.

— Бенескриптов?

— Бенескриптов.

И, вздохнувши, молвил владыко:

— Ты не дивись. Я все знаю. Бог мыслями моими управляет.

Знал Василий, что соборный поп раз пять сюда с наветом на него приезжал и сказал:

— Дивлюсь, владыко.

— Ну, ну! — одобрил игумен. — А главное пекись о душе, о чистоте тела тоже. Вино пьешь?

— Ни капли, владыко.

— А если пьешь, скажу тебе: жил некий мирянин и был чрезмерен в пьянстве и воззвал к небу, усердно воззвал, а на утро полез в шкапчик, а там на бутылочке-то вместо: «столовое вино» — начертано: «бесово зелие». Вот он — бог-то!

Перекрестился игумен, замолк, а потом спросил:

— Умеешь ли трудиться на поле?

— Не привержен, владыко.

— Иди на огород, — порешил игумен, — бог наставит.

Приблизился Василий и к ручке приложился, а от владыкиной ручки табаком пахнуло.

Стал спускаться Василий по лестнице, а перед ним опять грачиное гнездо келейника предстало:

— Деньги есть?

— Нет, — отрезал Василий, но, спохватившись и оглянувшись, шепнул:

— На половинку?

— И за это алилуууяяааа...

И от баса келейника во всех углах забубнило.

Не привержен оказался Василий к огородному делу. Поливать пойдет: в одно место две лейки, а в другое — ничего. Сажать пойдет: у корней мочки подорвет, и ничего после его садки невсхоже, а полоть послали, — только и осталась после него сорная трава, а о капусте словно и помину не было.

Призвал его огородный иеромонах и сказал:

— Тебе бы так зубы надо повыдергать, как ты мою капусту. Ступай ко владыке.

Промолчал Василий и пошел в игуменские покои, а по дороге заглянул в свинушник, снял сапог, вытащил из него синюю кредитку и положил в карман. Свинья на него пятачек подняла, а он ей в пятачек ногой сунул:

— Пшла, стерва!

Игумен еще с утра разохался от ног, к службе не вышел и Василия в постели принял, а Василий, как вошел, так сейчас же на коленки рухнулся, подполз ко владыкиной ручке и взмолился:

— Примите, владыко, горбом своим скопленную пятерочку на помин души раба божьего Иуды.

Так игумен за капусту и не стал сердиться. Кредитку под подушку сунул и спросил Василия:

— По конюшенному делу понимаешь?

— Не привержен, владыко.

— Ступай на конюшню, — порешил игумен. — Бог наставит.

Не привержен оказался Василий и к конюшенному делу: корм лошадям под ноги валил, овес в сено сыпал, вместо уздечки обротку надевал, а заставили его телегу подмазать, он взял да и вымазал все колеса.

И сказал ему конюшенный иеромонах:

— Тебе бы так всю морду надо измазать. Ступай ко владыке.

И тут игумен не рассердился на него за телегу, потому что Василий уж очень растрогал его десяткой на помин души убиенной Татьяны.

— Ступай, молись, — сказал владыко.

И было чему молиться. Как раз в ту пору грянула весть о войне Германской, и заколыхались души, и начали их за монастырскими стенами молитвами отпевать. Не успевают иеромонахи службы править, а казначей то-и-дело в город на своей рессорной корзиночке громыхает, все справляется: нет ли чего нового в финансах?

Так-то съездил он однажды в город и привез с собой оттуда в монастырь купца Курдюмова. Пожелал купец Курдюмов игумену представиться

и самолично на нужды обители сумму внести по случаю выгодной военной поставки.

Игумен на лестничную площадку вышел, в пояс низко кланялся и привечал:

— Здравствуйте, Игнат Игнатович, здравствуйте, благодетель.

А Василию велено было при госте любезном состоять по той причине, что знает он нрав купеческий и всякое обхождение, да и Курдюмову Василий известен был.

X.

Досталось хлопот трапезному иеромонаху, и возгорелась такая в обители стряпня, что только и видно, как черные фалды по двору разлетываются: на птичьем дворе под уху кур и петухов разделывают, у рыбаков на деревне в счет праздничного побора рыбкой запасаются для ужина, а казначейская рессорная корзинка опять куда-то загромыхала и тихим манером под вечер у игуменских покоев остановилась, и келейник с Василием что-то из нее наверх бережно таскали, а перетаскавши, в угловом чуланчике хересу откупорили.

— С непривычки в голову бросило, — сказал Василий.

— Natura rerum, что значит, природа вещей, — заключил келейник, сморкнулся в угол, откашлялся и, встряхнув патлами, вышел на голос игумена.

— Тоже ученый, а нет, чтобы щиблеты купить, — подумал Василий и к гостю пошел.

— Что Василий Фомич? — спросил его Курдюмов, ковыряя в зубах спичкой, — грехи замаливаешь? Это ладно!

Поохотилось Василию с купцом о религии побеседовать, он и ответил ему надвое:

— По чужим грехам и молитва несравнительно угоднее.

Но купец ничего на это не молвил, а, доставши кошелек, вынул из него четвертак и, хлопнув им по столику, весело засмеялся, а Василий, глядя на его бокастый кошель, глаза выпучил.

— На, вот, тебе, братец! — прикрикнул Курдюмов, — а коли пьян буду ты уж меня упокой, да и на ночь мне эту газетку подай, люблю про сраженья читать. Тоже и награды всякие описаны.

А в дверях уже монах с призывом стоит:

— Игнат Игнатыч, владыко в покои вашу милость кличут.

А на лестнице опять владыко встретил:

— Пожалуйте, благодетель, пожалуйте! Уж не обессудьте за скудость монашескую. Чем богаты, тем и рады. Пожалуйте!

А Василий раздумался, а раздумавшись, отцу казначею в коридоре доложил наскоро:

— Гость любит, чтобы почаще ему подливали, сами-то они, небось, владыку стесняться станут. Я уж их повадку отлично знаю.

— А что любит? — шепнул казначей в самое ухо, и на Василия винцом пахнуло.

— Чего ни на-есть покрепче, — таким же манером сообщил Василий.

— Благо, благо, — повторил громко монах и двинулся к трапезе.

Сидели час за трапезой. О душе и о спасении жизни человеческой беседу вели. О военных жертвах доброе словечко замолвили. А каждую рюмочку, перекрестясь, пили. И в конце этого часа купец Курдюмов игумену самолично и безо всякого счету сумму передал на процветание обители.

Сидели другой час за трапезой. Разгорелись от беседы сердца, и велено было окошки настежь распахнуть, а купец Курдюмов монахам за хорошую службу награду через отца казначея выслал. Сперва только и слышны были на дворе обители одни голоса из покоев игуменских, а через недолгое время кое-где и в братских корпусах окошки распахнулись, и монашеский говорок послышался, а Василий, стоя на дворе обительском насторожился.

Сидели третий час за трапезой. И загудела обитель, словно улей, а на четвертом часе грянула гармоника в казначейском палисаднике, а в игуменских покоях полы и стены задрожали, а мимо Василия со стороны врат чья-то тень промелькнула, и так показалось ему, что будто она и на инока и на бабу смахивает.

И только на пятом часе приспело Василию время услугу свою гостю оказать.

Вывели на лестничную площадку купца Курдюмова келейник с казначеем под руки. У казначея бородка порастрепалась, и ряска полами пораскинулась так, что у монаха портки люстриновые и сапоги с рыжинкой обнаружились, а у келейника все лицо патлами заслонилось, и немудреное дело, что он ступеньки не доглядел и, скатившись с лестницы, тут же у выхода захрапел. Казначей от потехи такой расслаб и сам присел на лесенке, а к купцу Василий в самую пору для подмоги подоспел.

Облапил купец Василия, потом обливается и на всю обитель кричит:

— Васька, сукин ты сын, молись, молись! Я тебе говорю! А ты мне не говори! Бог — это так... Ты говоришь: игумен, а я говорю: он с бабой. Как он ее!..

Вырвался купец у Василия, растопырил ноги, зашатался, рухнулся на земь уткнувшись носом в траву, глухо домолвил:

— Рррраз... два...

И замолк.

— Игнат Игнатыч, не хорошо одемши, — урезонивал его Василий, засветивши свечу в кельи.

И сколь ни противился купец, а снял-таки с него Василий пиджак, да так неловко, что из кармана кошелек на пол грохнулся звонким боком. Поднял его Василий и для порядку спустил его к себе за штаны, а самого купца на постели упокоил и газету ему на грудь положил, а то, мол, неровен час, проснется и о политике вспомнит. Тут же и свечу горящую оставил. Постоял над ним Василий, прислушался к храпу купеческому, вышел и снаружи келью на ключ замкнул.

Только что Василий на двор ступил, а перед ним скуфья торчит и что-то бормочет.

— Ты что еще? — рассердился Василий.

А тот опять свое бормочет:

— Дай половину, дай половину! Я видел, дай половину...

И вдруг скуфья совсем ошалела, бросилась в ноги Василию, целует ему сапоги, а сама вся дрожит.

Шевельнулось сердце Василия, бросил он на землю, что в кармане рука захватила, и скуфью ногой отпихнул и пошел дальше.

А ночью в обители беда стряслась: сгорел в келье купец Курдюмов. Взломавши дверь, нашли его труп, крепко зацепившийся черными руками за монастырскую оконную решетку.

Миряне, тушившие пожар, ахали, а монахи сказали:

— Все в руце божьей.

А тут еще на утро в братском корпусе, как на грех, инок в клобуке иноку в скуфье, что Василию сапоги лобызал, живот ножем попортил, а самого Василия на паперти нашли, — ежился он, зубами скрипел, а изо рта пена на камни выхлестывала.

И пошла для начальства суета. Тянули-тянули, мяли-мяли дело, только тем и замирили, что по приказу святейшего синода игумен Жабынского монастыря отец Трифон, а в миру князь Сергей Верейкин, сослан был в Петропавловский собор над царскими могилами евангелие читать, на полгода сроком, а в обители по достоинству на место его отец казначей заступил.

И все в один голос говорили:

— Достойно и праведно.

А об Василии пошла такая молва, что ему де не даром болезнь приключилась, и не иначе, как от бога некое указание было.

И впрямь, неладное что-то с Василием стало: снял он с себя пиджак, снял сапоги, снял картуз, оделил ими нищих, а сам остался бос, простоволос и в скудной одеженке, а на спине его сумочка холщевая заболталась на пеньковом обрывке, — а в ней подаянья людей добрых, да еще тряпье разное узелочками перевязанное.

И в некую ночь подался Василий из монастыря Жабынского, не молвив никому ни одного слова.

Побывал Василий в своем городе раз, побывал — другой. Соборный поп не погнушался видом его и у себя на дому принял и вместе с ним к нотариусу Генеропитомцеву в контору сходил, а там Василий под какой-то бумажкой подписался, от попа пакетик принял и, разрешив строгое молчание, молвил:

— Богу завещаю.

И после того домиком Василия поп распоряжается, а бывший хозяин ушел, и нет его, пропал.

Только пошел однажды слух о нем по деревне Жабыни, и рассказывала его бабка Марфушечка:

— Пришла я, родные мои, со сватьей чай пить в трахтер базарный, да и говорю половому человеку: дай, батюшка, кипяточку. Дал он это, а я его и спрашиваю: давно ли здесь услужаешь? Чтой-то я тебя не упомню. От самого, говорит, предсказанья. Вот, стало быть, и рассказал он нам со сватьей. Приехал я, говорит, на машине и сижу в трахтере обаполо станции, взял да с горя натурахту выпил, гляжу: Василий блажененький сидит, я его и спроси: как, мол, судьба моя? А он возьми да и постучи по чайнику крышечкой. И все тут. А в недалеком времени я в этот вот самый трахтер в половые нанялся. Стало быть, говорит, по чайнику-то он не зря постучал, а с указаньем. А одет, говорит, худо, как есть блаженный человек.

Подивились слуху бабки Марфушечки старухи и старики и стали в обители поминать Василия, да вдруг подвернулся свой же деревенский человек и другое стал рассказывать: будто видал он его в соседней губернии, в городе уездном, на базаре, на собственной лошадке, в пролеточке, а рядом дамочка с пером.

И думается — это правда.

Но о другой его карьере автор делает разыскания и, в случае успеха, дополнит рассказ о житии Василия Фомича Бенескриптова.

Цемент.

Роман.

(Окончание).

Федор Гладков.

XV.

Плевелы.

1.

Пущай сердце у нас будет каменное.

Чистка заводской ячейки назначена была по распубликованному расписанию через неделю, 16 октября, и Сергей ждал этого дня с прежней думающей улыбкой и не испытывал ни волнения, ни тревоги, ни обычных вопросов, которые мучили его по ночам. Было только одно: удивление перед собою — почему он не забывает ни на миг о дне 16 октября (помнит о нем даже во сне), знает, что это — некий грозный рубеж в его жизни и — все же глух душою к этому идущему через него событию. Вопрос: будет он исключен или оставлен в партии? Проходила через мозг странно легкая волна и исчезала по ту сторону сознания. Обмывала волна клеточки мозга, а они спокойно, привычно, нетронуто исполняли свою обычную деловую работу и звенели по ночам дневными образами и странными вспышками неожиданных воспоминаний. Это были спутанные световые миги — зелень в солнце, дети в солнце, горы и море в солнце, и не то детские переливы криков, не то сверчками гремят колокольчики...

Как обычно, горела солнцем лысина в кудрях, когда шел в партком или на митинг. Как обычно, шагал с туго набитым дырявым портфелем немного сырой, сосредоточенной походкой. Всегда был занят, всегда пунктуально выполнял задания дня. И не было мига, чтобы не помнил о 16 октября.

На докладе президиуму парткома о работе губполитпросвета Жидкий посмотрел на него с ласковой насмешкой (а глаза будто кружились в роговицах) и положил ладонь на его пальцы.

— Боишься, Серега? Верно: зададут тебе перцу — держись...

— Почему же? За что? Я не испытываю ничего, похожего на боязнь. Точно это — где-то вне меня и меня не касается...

— Ничего, не робей — защитим. Не так страшен чорт, как его малюют.

Лухава, по обыкновению скорченный на стуле, с подбородком в коленях, брызнул искры из глаз и волос.

— Врешь, Жидкий: ты сам боишься этой чистки. И я боюсь. Ничего не боюсь, а этого боюсь. Сергей будет исключен. Где у тебя сила помешать этому?

Жидкий ударил кулаком по столу.

— Он не будет исключен. Почему — не ты, не я, а — он? По каким признакам? У нас есть все возможности к протесту, если бы это случилось. Работы комиссии идут безобразно: исключают по ничтожным мотивам сомнительного свойства, или мотивы натаскивают из головы. За эту неделю исключено уже до 40% ответработников и почти такой же процент рядовых членов. Вот, например, Жук... рабочий... А мотив: склочник и деклассированный элемент...

— Жук?.. Он исключен?..

Сергей вытянулся к Жидкому в изумлении, но сделалось это как-то само собою, и слова Жидкого не трогали его, как что-то далекое и малозначущее.

Вперебой ему Лухава необычно спокойно и необычно твердо и четко сказал официально и небрежно:

— Комиссия не обязана сообщать тебе факты, и ты не имеешь права вмешиваться в ее работу и критиковать ее методы. Для исключенных есть только один путь — обжалованье.

— Пусть так... Но я буду действовать и не перед чем не остановлюсь. Я подниму бучу до самого ЦК. Тот, кто чистит, ни черта не понимает в своей работе. Это ведет только к разрушению организации.

Он опять грохнул кулаком по столу и выругался матом.

А Лухава крутнул головой, усмехнулся и спрятал нос в выщелкнутые коленки.

— Осел!.. За это и тебя исключат или переведут в лучшем случае на низовую работу.

— Пусть: все равно — я ничего не боюсь...

И Сергей заметил, что и Жидкий и Лухава смотрели на него и друг на друга лихорадочными глазами панического предчувствия.

А в женотделе Поля, похудевшая, с мукой в глазах, не могла удержать судорожной дрожи в руках и лице. Даша, крепкая костью, сидела поодаль, за столом, и писала малограмотным упором руки какой-то доклад. Она не видела Сергея, не видела товарища Мехову — какое ей дело до того, о чем они будут говорить и волноваться?

Поля взмахом руки позвала Сергея и указала на стул, напротив себя. Посмотрела на него, посмотрела на Дашу, посмотрела в окно и никак не могла остановить нервной дрожи в лице и руках.

— Сергей, не поможешь ли ты мне разобраться во всем том, что происходит сейчас? Я окончательно обалдела. Даша совсем перестает меня понимать: она стала очень груба и не может говорить со мною, как прежде. Я чувствую, что я буду исключена из партии, Сергей...

Даша молчала — не слышала, что сказала Поля.

Сергей тоже молчал: не знал, что сказать на ее слова. Хотелось мягко коснуться ее души, а слов, нужных, сердечных, не находил. И о себе хотелось сказать что-то очень простое и очень значительное, и тоже не было нужных и важных слов.

— Я там буду говорить то, что вижу и чувствую. Ты понимаешь?.. И меня исключат... То, что происходит, что совершается... что распинает меня и революцию... Я не смогу лгать...

Даша взбороздила пером бумагу, с напряженным усилием переместила правую руку на стол и подняла голову. Под упрямым выпуклым лбом, обтянутым красной повязкой, брови вздрагивали высоко над переносьем.

— А что ж такого стало, товарищ Мехова? Я, по дурости, не чую... Работа идет в женской организации лучше, и мы, бабы, насобачились выступать и делать общим фронтом не хужее мужчин. Какая же поруха случилась, товарищ Мехова?

Поля вздрогнула от голоса Даши и быстро вскочила на ноги.

— Как ты смеешь это говорить? Ты не знаешь, что случилось? Да?.. Ты не знаешь, что кровь рабочих и красноармейцев... море крови... слышишь, Даша?.. море крови пролито только для того, чтобы отдать эти площади с невысохшей кровью для базаров и кафе-шантанов?.. чтобы смешать все в одну грязную кучу?.. Ты этого не знаешь? Да?..

Сергей еще не видал Полю в таком потрясении. Лицо ее стало, как у припадочной: оно набухло кровью, и пот липкой росою покрыл лоб и верхнюю губу, а глаза стали сухими и мутными в зрачках.

Даша опять наклонилась над бумагой и усмехнулась понимающей, снисходительной улыбкой.

— А я думала, что... Так неужто ж ты, товарищ Мехова, думаешь, что, кроме тебя, все такие дураки и оболтусы?

— Да, да!.. Дураки!.. Предатели!.. Трусы!..

И потом вдруг утихла, улыбнулась жалкой гримасой Сергею, вскинула ладони к глазам и заплакала.

— Почему я не умерла тогда... в те дни... на улицах Москвы... или в армии?.. Зачем мне было знать эти мучительные, позорные дни, дорогие товарищи?..

Неудержимой улыбкой задрожало лицо у Сергея, и никак не мог он выдохнуть застрявший воздух в легких. Прыгали губы, как чужие, и в глазах расстаяла и Поля, и окно, и стены в тягучее волокнистое месиво. Должно быть, устал. Должно быть, не может переносить чужих слез. Должно быть, Поля взяла у него последние силы в ту ночь, когда она ворвалась к нему, убитая страхом, изломанная животной силой предисполкома.

Даша стояла около Меховой и, с влажным переливом в глазах, сжимала ее плечо.

— Товарищ Мехова, это — стыдно. Ты слезами и припадками хотишь выказать свою силу? Ты ж — не барышня, а коммунистка. Пущай сердце у нас будет каменное, товарищ Мехова... Пущай оно треснет, сердце, булыжником, но не надо нам сердца от слез... не надо сердца от банной мочалки... Коли ты зашилась, товарищ Мехова, иди до дому и заспокойся... Можешь на меня положиться: меня хватит еще на долго...

И отошла на свое место, твердая в мускулах, и опять крепко взяла ручку в пальцы и заскрипела пером в упрямом малограмотном упоре.

Поля растерянно и долго смотрела на Дашу, потом на Сергея и, молча, села на стул. И необычно спокойно и холодно, с суровой складкой у переносья, ответила сквозь зубы:

— Я никуда не пойду. Я пришла работать и буду работать до конца.

— Ну, да... Я ж знаю тебя, товарищ Мехова: мы ж с тобой работаем не первый день...

Даша писала, не поднимая головы, и улыбалась.

2.

Чистка.

Мехова чистилась вместе с Сергеем в заводской ячейке: Сергей, как прикрепленный, а Поля, как пропустившая чистку в своей ячейке по болезни.

Собрание ячейки открыли в зрительном зале: было много народу — навалила беспартийная масса. Коммунисты грудились в двух передних рядах, а беспартийные — сзади. И от того, что стены комнаты проваливались зеркалами, а из этих провалов напирали новые толпы, а за толпами — новые провалы и новые толпы, — казалось, что люди сбились тысячами. А в зале было только человек полтораста.

Глеб сидел третьим в комиссии за столом, перед сценой. Люстра в пятьдесят лампочек пламенела бриллиантами висюлек и ожерелий.

Члены комиссии были чужие. Оба — в солдатских шинелях и картузах, но разные: один — скуластый, смуглый до черноты, и лоб, и нос, и подбородок — сизые шишки. Не поймешь — улыбается он или злится. Другой — костлявый, с пепельным лицом, и борода — веничком. Он постоянно берет ее тремя пальцами и доит книзу. И когда сел, не переставал ежиться, а когда вскидывал глаза, то глаз не было видно — сливались с веками. И все время, когда говорил с вызванным к столу коммунистом, не смотрел на него и будто говорил не с ним, а с кем-то другим. И партбилеты будто не смотрел, а только мял тонкими окоченелыми пальцами.

Сергей услыхал шопот позади:

— Шерстобит, идол... Загрызет, истинный бо... До нетей штаны спустит... А тот-то, тот... видал?.. Лярвой мурлычит, сукинова сына...

И когда костлявый человек назвал Громаду, не понял Сергей: этот ли человек выдавил из себя голос, или тот, другой, рядом. И опять услышал шопот позади:

— Э-эх, мать твою так!.. вот так чревовещатель!.. Шкуру сдерет, бардадым... спец!..

Шопот всхлипнул и захлебнулся смехом.

Громада вынырнул к столу, а у стола подпрыгнул зайчиком и по-птичьи вытянул нос к костлявому человеку.

А позади Сергея опять всхлипнули от смеха, и кто-то не вытерпел — крикнул заботливо:

— Громада, высморкай нос, товарищ... облегчись преждевременно...

Было ли у него мокро в носу, или испугался, что — мокро, — свернул в сторону нос и шмурыгнул со свистом.

Зал охнул от смеха, а позади Сергея дрожал воздух от визгливого хохота.

Глеб ломал салазки от улыбки, а на щеках играла гармошка. Прыгали шишки от смеха и у первого члена комиссии. Глеб дрызнул колокольчиком и поднял руку.

— Товарищи, к порядку! Все повинны отнестись к работе мозговито и внимательно: дело идет всурьез, товарищи.

Костлявый член комиссии был по-прежнему глух и неподвижен, только доил бородку тремя пальцами.

— Товарищ Громада... Ваша автобиография?

— Моя ахтобиография такая, товарищ... Как рабочий пролетарий и с малых лет барбос, но как нас великолепно эксплуатировали капиталисты, дискустировать тут нечего... Сами видите, как у меня чахотка в грудях чирикает походный марш и так и дале...

А сзади — шопот:

— Э-эх, мать твою так... вот чешет!.. Зубами грызет, сукин сын...

— Когда вступил в партию?

— При новом советском режиме, так что, по учету время — год.

— А почему не вступал раньше?

— А какой шкет идет в объявку мастером преждевременно?.. Вы, товарищ, заводским не были шкетом? Пройдет шкет выволочку в три этажа и так и дале... ну, и насобачится жарить молотком на five...

— Я спрашиваю, почему поздно вступил в партию?

— Так я ж и режу: в таковой гражданской молотилке я вверх тормашками крутил, как вертифост... ту ж ипоху все чертили дикачами...

— Правильно, Громада... крой!.. Все были барбосами и барабанщиками...

— В красно-зеленых не был?

— Быть не был, товарищ, ну на горы поденно и так и дале... За горами не был, а в горы братву и белых солдатов уснащал... Мы с Дашей одной шайкой винты нарезали...

— Значит, в красно-зеленых не был? Предпочитал сидеть дома и ждать погоды. Так?

Громада почуял в вопросах этого костлявого опасность. Вопросы щерились ехидством и мышиной ловушкой. Слепым и тусклым допросом обхаживал его этот коченелый человек, а в каждом слове его таилась гадюка и жалила его незаметно и больно. И когда почуял это Громада, осунулся, и в глазах его вспыхнула капелька ненависти. Может быть, заметил это сухопарый, а может быть, надоело ему возиться с Громадой, он поцарапал что-то карандашом на бумажке и отмахнулся от него.

— Можете итти... Кто хочет сделать какое-нибудь заявление насчет товарища Громады?

— Громада?.. Хо, Громада — козырь... Громада даст всем сорок очков вперед...

— Следующий... товарищ Савчук!..

Толпа забуровила, зашептала, срываясь на смех. Савчук в длинной холщовой блузе без пояса, лохматый, в ободранных штанах, шлепал босыми ногами, задевал руками и боками за людей и выворачивал их с мест, а они с изумлением глядели ему вслед и хватали за рубаху.

— Тю, скаженная бочара!.. Держи ровнее!.. Пахарь, будь ты трижды неладный!..

Савчук стал перед столом угрюмо, с кулаками в растопырку, и замотал шерстистой башкой.

— Ты меня, товарищ-чистельщик, о жизни моей биографии не тревожь...

— Почему? Это — необходимо: на этом основана вся сущность проверки.

— Подлую мою жизнь не тревожь. Нет тебе до нее интересу, коли я сам заховал ее к чорту в зубы... Ша и шабаш!.. Я — бондарь, и делаю бочки... А вот сейчас не делаю, коли завод еще на бондарном цехе — идолова свалка... А коли вон тот самый Глеб... вот этот идол... зашуровит во весь мат, и запоют пилы — ну, тогда почин будет для новых бочар...

— Вы вот тут пишете, что кое-кого за это время вы били по башкам и еще будете бить почем зря. Кому это вы били башки и о каких башках вы говорите?

Лицо Савчука надулось, и жилы на лбу и на шее переплетались и крутились веревками. Кулаки все держал на отлете, и глаза наливал смехом и злобой. Все насторожились — ждали: грохнет Савчук какую-нибудь орясину, не рассчитав удара, и будет потеха и буча. Хорошо знали, как Савчук взрывал свою душу до дна и бил словами, как динамитом, — прямо, без лжи, не думая о последствиях. Он хрипнул от смеха, но смех не расцвел на волосатом лице. Только толчки крови дергали голову срывными ударами.

— Я их, идоловых душ, громил и буду громить, сволочей... Всех новых господ и буржуев — губошлепов и лодырей... Вот тут, на скамьях, слесаря сидят — и их бил... Они меня дюже нюхали, зажигальники...

Один стал чорт: что в лоб, что по лбу... И тогда, при старом режиме, в ахтанабилях форсу задавали, и сейчас — форс на ахтанабиль, и тем же махом банки ставят нашему брату...

— Кто ставит банки? Партийные и советские товарищи? Говорите конкретнее.

С задних рядов кто-то курлыкнул в икоте и крикнул, не владея радостью слов:

— Савчук, эй!.. Ставь банки на ять, Савчук!.. Крой их, сморкачей, заливал!.. Знаем их, вольных стрелков, завсегдателей...

И опять грохнул обвалом весь зал и потом сразу же задохнулся тишиной в предчувствии скандала.

И только оттуда же, из задних рядов, быком промычал одинокий голос, разбитый кашлем:

— Да гоните его в шею, шалаву!.. Чо он голову морочит, стерьва?..

Зал вздохнул и дрогнул от ропота.

— Говорите точнее, товарищ Савчук. Башки разные бывают: одни надо действительно бить, а другие беречь пуще своей. Как вы, например, смотрите на наши башки — подходят они под те, которые надо бить?

— А чорт их душу знает? Вы вот сбили народ и наводите тень на плетень. Нужны вы нам на идола... Хозяевов богато, а командирами хоть трамбуй мостовую...

Сухопарый был слеп и глух: он ни разу не взглянул на Савчука и даже будто не слушал его и не замечал.

Глеб поднялся над столом и сдавил челюсти.

— Товарищ Савчук, оставь хулиганить. Не знаешь порядка?

Савчук брюхом напер на стол, зашоркал лопатками под блузой, и жилы на шее готовы были лопнуть от натуги.

— Замолчь, идолово скобло!.. Я — не какой-нибудь обормот, сукин сын. Через почему ты мне крутишь махалкой?..

И своим воем он разбередил голоса из зала.

— Не затыкай глотки, товарищ Чумалов... Правильно режет, сапатка...

Горласто кричала женщина и суетливо трепыхалась квочкой в проходе.

— А того не высказывает Савчук, как лакал самогоном жинку свою, Мотьку, да ломал ей кости кажин час... Это ж такой злыдень для бабы, да я задушила б его своима руками...

— Да все ж они, мужики, барбосы, такая поганая сила: баба и туды и сюды—и с горшком, и с мешком, и на кулак, и на подстилку, и корми, и молчи, и детей годуй, а они — для панства и чванства... Все они, подлые, злыдни...

И бабы закликали, забунтовали и замахали руками.

Савчук, затравленный, повернулся к толпе и, в лохмах волос, глаза его вспыхнули по-волчьи.

— Дуры!.. Звоняли, худодырые мокрохвостки... балаболки!..

Хохот. Дрогнули стены, и люстра — почудилось — замигала и зазвенела висюльками.

Мотя выбежала по проходу, в самую людную гущу. Закричала сварливой бабой, закружилась на месте, злая и раскосая.

— А неправда... неправда и неправда!.. Коли Савчук меня бил, то и я ж его била... (Хохот). Вы все не стоите Савчуковой подметки... Нас всех надо бить, барахолок, всех до единой... Мы все, как поганые квочки, растеряли цыпчат и порушили гнезда... Все стали чекалками и потаскухами... Все не стоите вы Савчуковой подметки...

— А где, Мотя, у Савчука подметки?.. Он же топочет босявкой...

А Мотя злобно кричала и кружилась на месте.

— Вы не смеете Савчука... да, да!.. Он, Савчук, — лучший из всех... Не давайся, Савчук!.. Он никого не боится, Савчук... Он — лучший и сильный, Савчук...

Поля вздрагивала и ежилась в ознобе. Сидела около Сергея и не отрывала глаз от стола. Очарованная, смотрела на костлявого члена комиссии и улыбалась одними губами, а лицо было, как у больной, в темных пятнах.

А Сергей волновался от смутной радости. Не все ли равно — в нем ли колыхалась эта радость, или она насыщала его из недр этой залитой светом толпы. Пела и младенчески смеялась радость в каждой клеточке тела, и все — и эти потеющие в своих испарениях люди, и хохочущие шопоты сзади, и люстра в гроздьях огненного винограда, — все было необыкновенно ново, полно глубокого смысла и значения. Все до примитивности просто, оголено, выпукло до простого рефлекса. И смех, и шопот, и любопытство, и этот странный суд у стола, который похож на игру в ловушку, — все человечески просто, только ряд несложных движений. Схватываются только отдельные звуки и жесты или только одна волна общего вздоха, и все так ясно и забавно. Это — разорванные миги, и они полны животной игры. А почему эта игра в общем сплетении мигов — огромный и сложный процесс? И сложный процесс, это — великая человеческая судьба, и судьба эта — трагедия? Отец говорит иначе. Может быть, отдельный миг поглощает в себя целую историю? Может быть, самое важное — не время, а миг, не человечество, а человек?

Почему уши у Поли кажутся лишними? Они цветут, как лепестки. Когда она дышит — ноздри раздуваются и бледнеют по краям. Всплески крови, и в ее красных каплях, разлитых по жилам, — боль и страдание. И в этих каплях крови — весь смысл и разгадка человеческой жизни, вся ее радость и простота.

— Товарищ Сергей Ивагин!..

Встал. Шаг, два, три... Остановился. Так просто и до нелепости бесцельно...

Говорилось само собою. Слышал свой голос, а видел кривой нос, твердый, как клюв. Не кожа, а глина в каплях воды.

— Это ваш брат — полковник, который недавно расстрелян? Вы с ним часто виделись до его расстрела?

— Два раза: один раз у постели умирающей матери, а другой — когда мы вместе с товарищем Чумаловым схватили его, как сигнальщика.

— Почему же вы не постарались помочь арестовать его после первого вашего свидания?

— Очевидно, не было повода.

— Почему вы не ушли из города в 18 году вместе с Красной армией, а остались у белых? Разве были гарантированы от расстрела?

— Нет, какая же гарантия? Я в этом не видел особого смысла. И здесь можно было работать.

— Так. Вы тогда ведь не были коммунистом? Ну, тогда понятно.

— Что понятно? Какой смысл в этом вашем «понятно»?

— Товарищ, я не обязан отвечать на вопросы. Мы не устраиваем дискуссий. Вы — свободны.

Сергей не сел на свое место, а пошел между рядами рабочих в глубину залы, и с ним вместе, по бокам и навстречу, шли еще несколько Сергеев, которые смотрели на него пристально, лысо, угарными выпученными глазами в красных набухших веках. И будто не по полу шел, а по зыбкой, узкой доске — все вниз, вниз... И никак не мог удержать своих ног. И будто не ноги шли, а ползла под ним эта зыбкая доска, а ноги едва успевали переступать по волнующейся ленте. Сотни, бесконечные вороха лиц, шаршавых голов в дыму и огненном тумане, плывут, громоздятся со всех сторон в удушливой банной толчее.

И потом сразу все исчезло, как виденье. Погасло и вытекло в распах отворенной двери. Там рубцевалась мраморная лестница с массивным резным барьером, и два дубовых обелиска матово горели перламутровыми фонарями. Здесь, в коридоре, было пусто, и вздыхала певучая тишина. И только где-то далеко, через плотно закрытые двери, погремушками играли юношеские голоса. Комсомольцы.

...Комиссия по чистке. Костлявый человек, слепой в лице и движениях, непроницаемый в мыслях, без улыбки и боли (у него, кажется, нет и морщин на лице). Был в его власти Громада и Савчук, будет и Поля, и Глеб, и Даша, будут все... Они смотрели на него с задавленным страхом. У них у всех эта тошнотная тоска, потому что она и сейчас червяком извивается около его сердца...

Разве вопросы вскрывают когда-нибудь нутро человека? И разве ответы бывают когда-нибудь убедительны и верны? Нет верных вопросов и нет верных ответов. Верно то, что не умещается в вопросах и пересекает ответы в иных плоскостях.

Погремушками звенели голоса за дверью. Погремушками звенели клеточки мозга.

И как только он отворил дверь, его ослепили красные пятна знамен и полотен: пылали стены, летали надписи белыми птицами. И всюду — на окнах, в углах — огненными брызгами горные цветы.

И ребята — их было так же много, как цветов — все в трусах, и голые ноги и руки, и парни и девчата. А девчат можно было узнать только по красным повязкам и припухшим грудям.

Ряды, фигуры, ритмические движения...

— Раз-два-три-четыре...

Переплетались в петлях, в узлах, в сложных звеньях...

— Раз-два-три-четыре...

Сергей смотрел от дверей на эту музыку движений, и где-то близко, у самого сердца, волнами билась кровь:

— Раз-два-три-четыре...

Спутались, смяли друг друга и взорвались хохотом и криками.

...Сергей остановился у двери, прислонился к косяку — дальше не мог шагнуть: столик за ворохами голов и плеч, и три головы над ним казались недостижимо далекими, и эти толпы в зеркалах и множество отраженных люстр были невыносимо ярки и жутки.

Поля стояла у стола, маленькая, как девочка, без обычной повязки, в одних золотых кудрях, и голос ее задыхался, рвался, дрожал и кричал от боли.

— ...и этого я не могу пережить, потому что не могу понять, не могу найти оправдания... Мы разрушали, страдали... Море крови и голод... И вдруг — сразу... воскресло и заулюлюкало... И я не знаю, где — кошмар: эти ли годы борьбы, страданий, крови, жертв, или этот праздник жирных витрин и пьяных кафе?.. Зачем тогда нужны были горы трупов? Ведь не для же того, чтобы сделать еще более ужасными рабочие конуры, нищету, вымирание?.. Ведь не для же того, чтобы мерзавцы и гады опять пользовались благами жизни — жрали, грабили и улюлюкали? Этого я не могу принять и не могу с этим жить... Мы боролись, страдали, умирали, чтобы позорно распять себя... Зачем?

— А вы не находите, товарищ, что эта ваша лирика похожа на то левое ребячество, о котором недавно говорил товарищ Ленин?

Голос коченелого человека — спокоен, строг, без интонаций, и от этого вскрики Меховой — как рыдание. А толпа горбатых спин и пыльных затылков кряхтела, лезла вперед, будоражилась.

— Вы — завженотделом, руководите организацией женщин, а говорите перед рабочими и теми же женщинами несообразные вещи. Это не годится, товарищ.

Издали было видно, как дрожали губы у Поли, и глаза проваливались в подбровную тьму и лучились слезами.

И как только она пошла по рядам пьяным шагом без цели и необходимости итти, люди смотрели на нее угрюмо и провожали долго, не отрывая лиц. Некоторые ломались в бок, тянулись к ней и шептали с одышкой:

— ...Вот именно, товарищ... Самое настоящее... Почем зря... Рабочий человек — и то и это... а рабочему человеку — все один шиш... Бить надо, сволочей, по всем швам...

— Кто имеет заявление на счет товарища Меховой?

И вся толпа сразу охнула, загалдела разнобоем, замахала руками и к столу, и друг на друга.

— Какого чорта!.. Почем зря... Верно!..

— Товарищи комиссия, так что таких товарищей надо в шею... Раз надо, значит надо... Это — об новой политике... Только надо, чтобы и рабочим одинако давали... Это надо обязательно записать...

— Тиш-ше!... Конюшня что ли тут, товарищи? тут от комиссии — партийная требованья...

— Товарищи!.. Это — верно... Бабенка хорошо высказывала насчет всякого урезу...

— А я бы подчерканул, товарищ комиссия, как кучерявая есть недоносок... как мы не доросли еще насчет коммунизма... а гнать надо наипаче бабенок... и барышнешки тоже...

А когда отхлынула волна криков и сыро осели спины и затылки, Сергей увидел, как Глеб стоял за столом и смотрел на костлявого члена комиссии мутным взглядом оглушенного животного. Наклонялся над ним, порывался что-то сказать, шевелил губами и челюстями, но член комиссии не поднимал головы и был трупно неподвижен.

Даша стояла впереди, перед столом, и пристально, напряженно провожала Мехову испуганными, страдальческими глазами.

Сергей вышел вслед за Полей в коридор. Она быстро, неустойчивой походкой, пошла к выходной двери, и голова ее, отброшенная назад, развинченно моталась на плечах, как у слепой. Он робко позвал ее, и голос его глухо бумкнул в ночной пустоте коридора. Она не оглянулась и сразбегу всем телом упала на тяжелую дверь.

Он опять стал в дверях залы и впервые услышал громкий, молодой вскрик коченелого человека:

— Вот это я понимаю!.. Вот — член партии!.. Это — настоящий работник и партиец... Наша партия только может гордиться такими товарищами. Идите, товарищ Чумалова... Желаю вам всего хорошего...

И Сергей увидел, как костлявый встал со стула и потряс руку Даши.

3.

Ничтожный элемент всеобщего.

В своей маленькой комнатке, в Доме Советов, Сергей до рассвета сидел под лампочкой и читал «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина. Старательно отчеркивал целые абзацы огрызком карандаша и делал на полях неразборчивые, кривые в строчках, пометки. Вставал, ходил по комнате в диагонали от стола в угол, к умывальнику, по натоптанной пылью дорожке, и в глубокой задумчивости гладил ладонью блистающую лысину. Думал и не мог оформить, о чем думал. Клубилась внутри, в области сердца, мутная тоска, мучительная до стона. А отчетливо и громко говорилось в молчании одно и то же:

— Принцип энергетики вовсе не противоречит диалектическому материализму, ибо материя и энергия, это — различные формы одного и того же процесса космического становления. Все дело — в методе, а не в словах... Впрочем, надо подумать... надо подумать...

Опять садился, брал книгу, опять отчеркивал абзацы и делал неразборчивые пометки на полях.

В соседней комнате, через дверь, у Поли, — тишина. Она была дома: матовое стекло двери, когда он шел по коридору, искрилось инеем от электричества внутри, и на мгновение он видел кудрявую размытую тень на стекле. Хотел войти к ней и уже взялся за ручку двери, но тень закачалась, смылась со стекла и исчезла. Решил: не надо. Если она нуждается в нем, она постучит к нему в дверь, что из комнаты в комнату, или сама зайдет к нему, как заходила обычно.

С книжкой в руках, на цыпочках подходил к двери и слушал комнату Поли. Тишина: ни шагов, ни домашнего шелеста. Должно быть, лежала на кровати с такими же глазами, с какими ушла из ячейки завода, а может быть, спала, утомленная волнениями пережитых дней. Если спит — это хорошо: завтра она может стать на ноги крепко. Она только немного устала (теперь так много уставших людей): ей нужно только отдохнуть. Была на войне — была счастлива: там научилась громко смеяться. Была в женотделе в напряженной работе — тоже смеялась. А вот — новая полоса, отдача — и вдруг осела от ушиба. Ей только отдохнуть и немного понять. Не надо спать: она может позвать его, когда он будет ей нужен, или прийти к нему сама, как бывало обычно.

Чистка... Окоченелое лицо и деревянный голос члена комиссии. Все это было очень давно. Все это так ничтожно: разве крошечный факт может иметь какое-нибудь значение в общем процессе свершений? Не он, а — все, и он — только ничтожный элемент всеобщего.

В открытое окно влетали золотые и серебряные бабочки в мохнатых шубках, трепыхались и бились у лампочки, улетали в глубь комнаты и пели слабо натянутой струной, и от этого комната казалась огромной, и думалось о том, что он — один, а впереди — много неведомых перемен. Подходил к окну и смотрел в тьму. Октябрь, а — тепло, но в этой теплой и темной ночи — уже сладкие странные запахи осеннего тления: и болотом пахнет, и опавшими листьями. И в этой каменной городской тьме (еще не было фонарей по улицам) тоже была нутряная тишина, только далеко, на вокзале, угрюмо вздыхали гудки и стеклом разбивались вагоны. И там, под горами, за заливом, путаными гирляндами лучились в переливах электрические звезды. Это воскресал к жизни завод. Потом огненные редкие капли дрожали в порту, на пристанях и пароходах, и вспыхивали пламенные струи в бухте от этих мерцающих звезд.

Было мгновение, когда Сергей забылся в дремоте, и перед ним засеменил босыми ногами в рваных штанах и смеялся радостным смехом отец. Он топтался около него со стулом в руках и невнятно бормотал, торопясь и захлебываясь, жуткую неразбериху. И оттого, что ничего нельзя было

разобрать в этой смешливой болтовне отца, Сергею было страшно. Он сидел, лишенный движений, хотел подняться и — не мог, хотел ударить отца и — не мог. Отец грозил ему пальцем, теребил бороду и радостно смеялся.

Сон. Глубокими редкими толчками билось сердце вместе с пробуждением. За дверью, в комнате Поли, низким басом рокотал полуголос предисполкома. Громыхала и свистела железом кровать. Голос Поли был птичий, рваный — не то плакала, не то смеялась.

И опять — тишина.

Сердце билось глубокими редкими толчками и обжигалось кровью. Сутулый, с надутыми жилами на лысине и висках, подошел к двери. Послушал. Постоял с поднятым кулаком, готовым к удару. Судорога проползла по лицу, и кулак медленно опустился и мягко разжался. Дрожа от озноба, с сизым лицом, оглушенный в глазах, изнуренным шагом рыхло пошел к постели. Постоял, опять прислушался, лег. Опять встал и прислушался. Начал старательно, медленно раздеваться. Потушил лампочку, закрылся с головою в одеяло и замолк.

4.

Щепки.

Утром, в обычный час, Сергей проснулся мгновенно и так же мгновенно встал на ноги. Сразу подошел к умывальнику и мылся немного, но обильно. С полотенцем в руках стал у окна (оно было открыто всю ночь). В комнате было холодно, и по телу струилась знобная дрожь, и от этого было бодро и упруго на душе.

Небо было глубокое в сини, как летом, и воздух прозрачный и золотой в далях. Горели солнцем дома внизу, и крыши мокро блестели ночной росой и голубели отраженным небом. На хребтах гор, над заводом ослепительно пламенели клубастые сугробы. И очень далеко, в лощине, разрезая каменные отвалы и заросли молодого леса, стекающего с гор, вползал на уклон красной гусеницей товарный поезд; четко чеканились маленькие кубики с черными квадратами дверей, и играли спицами колеса. Огненными охапками вылетал из трубы пар и долго не угасал, жирно перекатываясь розовыми облаками. И запах осени — сладкий, бродильный запах тления — холодный и металлический, ядреными волнами вливался в окно. Было бодро, легко, прозрачно и солнечно.

...Чистка. Зеркала повторного отражения со множеством толп и люстр. Его смущенные, наивные ответы. Ах, это так было давно и так ничтожно! Тело насыщено кровью и здоровьем, и хочется тяжелой физической работы для мускулов. И у окна вскидывал вверх и в стороны руки, просящие движений: раз-два-три-четыре...

...Поля... Тенью прошла мутная боль через сердце.

Она не пришла к нему — не хотела его дружбы. То, что было в ночи, хотела на этот раз сохранить от него только в себе. Его боль — только его боль. А боль ее только делает ее ближе и роднее. Не скажет он ей о

своей боли, и она о ней никогда не узнает. Она — сильна, она умеет смеяться, и встретит она его сегодня и приласкает улыбкой, как друга. Милая, родная Поля...

Взял портфель и вышел в коридор. Комната Поли плотно затворена, и там—тишина. Спит. Пусть спит: ей надо отдохнуть и успокоиться, чтобы улыбка зазвенела смехом.

В Парткоме прошел в комнату Комиссии по чистке.

Хоть и ранний час, а уже накурено, и темная комнатка с одним окном в решотке смердила махоркой и плесенью. Стояло несколько человек у стола, и лица у них — будто после тяжелой болезни. Не видя Сергея, столкнулись с ним двое — служащие из ОНО — и, как слепые, минуя его, молча, с улыбками избитых, сутулые, запутались друг в друге в дверях. А услышал Сергей только горластые крики Жука:

— Бить надо, шлепать расстрелом, товарищи дорогие... Самих по шеям из Рекапе... Генералы, сволочи!.. Что вы понимаете в рабочем человеке?.. Утробу свою, шкуру только холите, а на рабочий класс начхать... Как ты меня чистил, чортова морда, ежели рожа моя для тебя — на щеколде?.. Что ты — кашу со мной кушал, что ли?.. Что ты мне очки втираешь, ежели ты сам прежде меня — рваная щиблета?..

А сухопарый сидел за столом, глухой и замкнутый, и бесстрастно перебирал исписанные бумажки в толстой папке для дел. И как только выкрикнул последние слова Жук, он пристально посмотрел на него тусклыми глазами без мысли. Не глаза, а бельма.

— Товарищ, если вы себя считаете коммунистом, почему не обладаете должной выдержкой? Я вам уже сказал, что...

Жук рванулся к нему с искаженным лицом и ударил кулаком по столу.

— Ежели ты, дохлый чорт, квасишь мне сапатку и тычешь ее в сортир, так я тебе должен сказать — спасибо? А этого не хочешь?.. Видал я здорово вас, карьеристов и хахарей... Я вас всех выведу на чистую воду... Я вам покажу, где раки зимуют...

Человек оставался таким же бесстрастным и коченелым, точно все то, что кричал Жук, его совсем не касалось. Только глухо сказал через стол другому товарищу у стены:

— Товарищ Начкасов, найди дело Жука и отложи для пересмотра на сегодняшнем заседании комиссии.

Потом опять взглянул тусклыми глазами на Жука и в упор захлестал его чужими, тусклыми словами, как его бельма:

— Сейчас вы себе окончательно отрезали всякую возможность к обратному вступлению в партию, товарищ Жук. Вы в достаточной степени доказали, что вы — вредный, разлагающий элемент. Я ставлю вопрос об исключении вас навсегда. А если вы будете продолжать орать, я позову дежурного партийца из чона, и он вас выведет силой. Оставьте эту комнату.

И опять начал бесстрастно разбирать бумаги.

Ослепший, с исковерканным лицом, Жук лязгнул челюстями. Увидел Сергея и, потрясенный, подошел к нему, точно искал защиты.

— Вот какие дела делаются здесь, Сережа, дорогой товарищ... поглядим, поучимся настоящему делу...

Махнул рукою, убитый, и отошел в сторону.

Стоял у стены, против стола, Цхеладзе. Выкатывал огромные белки в кровавых подтеках и, не мигая, вглядывался в одну точку в ворохе бумаг. Не переставая, молол челюстями, и густое молочко пены сбивалось в комочки на углах крепко сжатых губ. Сергей всегда видел его немым, и был он не виден в работе, а когда-то он два года командовал отдельной группой зеленых и первый с боем вступил в город.

Он наткнулся белками на что-то острое, вздрогнул, шагнул к костлявому человеку. Растопырил пальцы и поводил ими по воздуху.

— Таварщь!.. Зашем шютышь?.. Давай сматрым сваим глазам... Зашем слава — давай дэлю...

В глазах сухопарого вспыхнуло изумление.

— Я вам уже сказал, товарищ: вы исключены из партии за склочничество. Мне некогда шутить с вами. Жалуйтесь.

Цхеладзе опять застыл в прежней позе и опять заработал челюстями.

— Хе, вот они как дела делают, Сережа, дорогой товарищ... Гляди — вникай...

Сергей подошел к столу и справился о постановлении комиссии. Еще вчера нутром понял, что он — исключен. Не знал, за что, и если бы поставил вопрос прямо о мотивах исключения, не смог бы ответить, но твердо был уверен, что он исключен. Знал это и ждал, что скажет этот товарищ.

— Да, вы исключены

— Какие мотивы?

— Я не могу сейчас читать вам протокол. Получите своевременно выписку и узнаете. Если недовольны, можете жаловаться.

И ни разу не взглянул на Сергея.

И как только услышал эти слова Сергей, сердце взорвалось около самого горла и тошнотной дурнотой стекло во внутренности. И не он, а кто-то другой в нем сказал хриплой икотой:

— Так ведь это же для меня — политическая смерть. Уясняете ли вы это себе, товарищ?

— Да, уясняю. Это — политическая смерть.

— Но за что же?

— Значит, были серьезные мотивы.

Сергей хотел уйти, но никак не мог сдвинуться с места: не слушались ноги, и ноги были во много раз тяжелее его самого. За окном было не солнце, а красное зарево от пожара. И только подумал, что солнце так светит в знойную гарь, — увидел голубое небо и голубые громады станционных лабазов вблизи. Как отошел от стола — не заметил, и где стоял — не помнил.

Жук мял его руку и смеялся с занозой.

— Вот оно, Сережа, какая отличная работа!.. А предисполкома оставили, а Хапко оставили, а всякую свою пьяную лавочку—оставили...

Пляши, бюрократия!.. А Савчука вот из вашей ячейки выперли, Мехову выперли, тебя выперли... Теперь им вольготно: дело пойдет ходором, в двадцать две горы... Ну, я ж им покажу, как рыбу удят рыбаки... я, брат, сумею потрясти им душу, как грушу...

Цхеладзе опять укололся и, вздрогнув, опять растопырил веером пальцы.

— Таварщь!.. Зашем шютышь?.. Зашем, скажи пажалста, пустой слава гаварышь?.. Давай сматрым сваим глазам, шьто пышишь...

И опять в изумлении вспыхнули глаза у коченелого человека. Он наклонился близоруко над бумагами и сказал устало, сквозь зубы:

— Товарищ Начкасов, покажи Цхеладзе постановление.

Цхеладзе загрохал ботами к другому столу, и толстолицый член комиссии подал ему исписанный лист.

— Вот. Читай. Можешь по-русски?

И ткнул пальцем в середину листа.

— Паш-шел вон, мырзавыц, сукын сын!..

Ошалело, с безумным накалом в глазах, он уперся в сизые шишки товарища Начкасова, и зубы защелкали в неудержимой скрипучей дроби..

Не взглянул на бумагу. Отлетом взмахнул рукою и ударил себя кулаком около уха. Визгливо, пронзительно крикнул от боли и ужаса:

— Ты мэнэ чыстыл... вы мэнэ чыстыл... Я вас тоже чыстыл... Н-на!..

И комната взорвалась грохотом и дымом.

Цхеладзе лежал на полу. Из расколотого черепа выползала кровавая жижа.

Костлявый член комиссии сидел за столом с пылью на лице. Глаза его были слепые, выпуклые, в бельмах.

Сергей не помнил, как он вышел из комнаты. А когда очнулся, увидел около себя Жидкого. Он тыкал ему в зубы стакан с водою, орал и хватал воздух ноздрями.

— Пей, чорт тебя дери!.. Не реви, как баба... Пойми: ведь не здесь же решаются дела. Ведь есть люди и выше. Партком не оставит этого... Пусть меня вычищают из партии, но этого безобразия я не прощу...

Сергей сидел на диване и задыхался от рыданий.

XVI.

Толчок в будущее.

1.

«Будем крыть дальше»...

Пуск завода назначен был в день Октябрьской годовщины. Торжественное заседание Горсовета решено было устроить в клубе «Коминтерн», чтобы связать его с торжеством первой большой победы на трудовом фронте.

Партийная чистка уже закончилась, но коридоры Дворца Труда задыхались от потных, ушибленных людей, от сырого бурого дыма, от угарной растерянности, от странно-настороженного и покорного ожидания. Люди сбивались в кучи с мокрыми косицами на лбу, бубнили придушенными голосами, но были одиноки и похожи на больных.

В Совнархозе и заводоуправлении невидимо и спокойно уже несколько дней производила ревизию РКИ.

Шрамм по-прежнему сидел в своем кабинете с плотно затворенными дверями и принимал с 11 до 2-х. И там, за дверями, было тихо и строго. Аппарат работал так же сложно, многолюдно, мощно и спокойно, как и в прошлые дни. Только опрятные спецы были немного бледны, мутны, с тревожными пристальными глазами. И в сутолочной толпе служащих, склоненных над книгами и бумагами, не видно было ни волнения, ни испуга, будто совсем не было тут РКИ и будто никто не знал, что такое — РКИ и что такое ревизия.

Глеб разрывался между заводом и заводоуправлением. Он носился из корпуса в корпус, из цеха в цех, терялся в пыли, в свалке материалов и грохота работ и никак не мог вытерпеть, чтобы не схватиться за инструменты и громыхнуть в работу. В слесарном цехе напоролся на скандал со слесарем Савельевым. А слесарь Савельев — один из старых рабочих — угрюмый бык, нелюдимый и молчаливый. Он часто отрывался от работы, ревел от кашля, выворачивал внутренности и плевал черной густой харкотиной. В такой час Глеб вырвал у него инструменты и оттолкнул плечом от станка.

— Что ты возишься здесь, к чортовой матери, как глиста в навозе? Чужому дяде работаешь, что ли?

Савельев, ошарашенный, пялил на него набухшие кровью глаза и задыхался от кашля.

— Не плеваться должен, не моргать глазами и не сморкаться, а лопнуть... Нам каждая минута стоит дороже жизни...

Орал, гремел металлом, играл тисками и весь был в лихорадке.

Савельев напер на него плечом, затряс бородою и харкнул в кулак.

— Да ты что же это понимаешь о себе, бритая лахудра? Я сколь годов работаю у станка — и токарь, и слесарь, и чорт-батька, а у тебя еще вошь — бледная немочь. Ты еще не сосал мамкину титьку, а я уж в грудях носил кучи опилок. А туда же — в командири и алё-потё...

— А начхать мне на твою бородатую паклю! Вас богато найдется, чортовых лодырей, чтобы закручивать волынку и тыкать на свой рабочий стаж. Ты только о своей шкуре хорошо понимаешь, а общее рабочее дело и производство для тебя — собачий аркан... Я, брат, здорово чую, чем ты воняешь, к чортовой матери!..

И Савельев орал с кулаком наотмашку и был он похож, волосатый и нечистоплотный, на старого цепного пса.

— Губошлеп ты, мать твою... алё-потё!.. Сволочь!.. Мызгун!..

Рабочие, не отрываясь от работы, скалили зубы и завывали в восторге.

— Дай ему, Чумалову, в зубы, борода... бей!..

— Мажь его по едалам, Чумалов!.. Приводи старичье в православие!..

Глеб опомнился, брякнул инструменты на верстак и захохотал на весь цех.

— Вот туда к чорту, какой я дурак и оболтус! Не серчай, друг... У меня руки чешутся, и я — бешеный, как стервоза...

И убежал в другие отделения.

Ремонт печи и дробилки подходил к концу. Бремсберг уже был на ходу, и каждый день по нескольку раз на электропередаче весело махали спицами колеса в разных наклонениях и пересечениях, и ролы на путях перезванивали по горам, как далекие кузнечные молоты. Только по-прежнему молчала воздушная канатная дорога к пирсу, с застывшими в полете вагонетками, и тускло горела ржой предохранительная сетка. И башенные часы с белым саженным циферблатом, не работавшие три года, опять закрутили свои стрелы, и по ночам, освещенные дуговыми фонарями, четко чеканили время за целую версту.

В бондарном цехе тоже шла подготовка к работам. Ремонтировали станки, очищали мусор и грязь, подвозили клепки на вагонетках из складов. Савчук, весь в поту и пыли, как чорт, горланил и матерился (бондаря — первые певуны и матершинники) и вместе с бондарной шатией барахтался в ворохах мусора и перегнивших стружек, в бунтах клепок и обручей и сверкали топорами около верстаков.

Каждый день Глеб забегал в машинное отделение и здесь сразу делался другим. Спокойный густой небесный свет, блистающая чистота стекол, изразца и черного глянца дизелей с серебром и позолотой. И нежный певучий перезвон рычагов, молоточков и стаканчиков. Эта строгая и молодая музыка металла и ровный успокоенный блеск в теплом запахе масла и нефти мягко и властно ставили душу на место. Будто и в сердце стучали и пели эти нежные перезвоны. И все, что оставалось за этими стенами, было неважно и ничтожно, точно мусор, который надо было только убрать. А самое важное, полное огромного смысла, было только здесь, в этом блистающем небесном перезвоне, во вздохах черных алтарей, крепко поставленных в тесные кварталы. Долго смотрел из-за латунной ограды на гигантские маховики, легкие в полете, на рыжие широкие шкивы, которые крылато струились и трепетали за маховиками, как живые. И здесь, около маховиков, неуловимых в движении, было тревожно от их безмолвия, только влажные горячие волны полыхали в лицо, в руки, в грудь и потрясали Глеба глубинным дыханьем. Очарованный, он терял сознание, растворялся в этом чугунно-пернатом полете, в горячих воздушных волнах и стоял без времени, без дум, без опоры, без расстояний.

И всегда пробуждал его к жизни Брынза. Он брал его под руку и молча отводил к застекленной стене, где бездонно голубел между дымами далеких хребтов морской и воздушный простор.

Уже опять не тот был Брынза, который встретил его по весне. Была та же засаленная кепка лепешкой над носом, тот же нос, похожий на кепку,

те же грязные острые скулы и подбородок и бурые усы мокрыми тряпочками. Но глаза были уже холодные, немигающие, с серебром и позолотой, как дизеля. Уже не кричал и не надрывался больше, а чутко прислушивался к звону и шопоту машин.

И разговор всегда начинался так:

— Ну, командарм?

— Ну, чортов хлопец?

— Ну, а дальше?

— Да чортов же хлопец, будем крыть дальше...

— А шеи не сломаем?

— Хо, подвинти гайки покрепче!.. Ты что? Ошалел, что ли? В партию надо тебя, подлеца: это будет тебе крепкая пробка.

— А ну-ка, командарм, проваливай с своей партией к дьяволу в зубы. Что такое — партия, если для меня существуют только машины? Есть партия, есть и машины. Я не знаю, что такое — партия, но я знаю, как живут машины. Раз есть машины, они должны неизбежно работать. Я не люблю болтунов. Гуляй своей дорогой, командарм.

Он обрывал слова и ровным упругим шагом, немного сутулый, не оглядываясь, нырял в сумеречные переулки между дизелями и больше оттуда не возвращался.

Однажды, при осмотре ремонтных работ внутри корпусов, седых от цементной пыли, под грохот, суету и крики рабочих, Глеб встретился с инженером Клейстом. Необычно пристальный его взгляд уже не раз удивлял Глеба. Эти глаза утомленно горели волнением и тревожным вопросом. Инженер Клейст мягко взял его под руку, и они, молча, вышли на виадук. Плечо в плечо прошли на площадку, к ажурной вышке, где они встретились памятным вечером. Вправо, внизу, чавкали дизеля, и низкими струнами пели, скрытые в недрах, динамо-машины. На крышах корпусов ползали кукольно-маленькие скрюченные фигуры рабочих. Галками кричали железные листы, и молотки били дрябло, как барабаны. И окна зданий не чернели уже провалами вырванных рам и дырами разбитых стекол: они жирно переливались небесной синью, тусклыми огненными шматками и зеркальными оттенями.

Воздух был по-осеннему прозрачный и звонкий и по-летнему горел солнцем и зеленью, и над заливом, в ослепительных искрах, белыми вихрями реяли чайки. И всюду — и в воздухе, и под ногами, в каменных породах — дрожал далеким прибоем невнятный подземный гул. И тут же, очень близко, неизвестно где, пронзительно сверлил железом ржавый блок.

Гигантскими голубыми цилиндрами трубы взлетали ввысь на 80 метров. Не они ли это трубили своими холодными жерлами о преисподнем огне?

Глеб трепанул по плечу инженера Клейста и заиграл глазами и гармошкой на щеках.

— Ну, как, товарищ технорук? Выходит так: коли дурак сказал: я — сила, он уж — не дурак, а только полдурака, а коли он кроет почем

зря, он уж тогда умный дурак. Мы, коммунисты, мечтаем хоть по-дурацки, но дюже неплохо, товарищ технорук... В день годовщины Октября мы с вами здорово грохнем всю эту чертовню с огнем и дымом.

Инженер Клейст натужно улыбнулся сквозь судорогу в лице и, не теряя важности в поставе фигуры, крепко пожал руку Глеба.

— Я прошу вас, Чумалов, забыть мое тяжкое преступление перед вами и другими рабочими. Сознание, что я когда-то отдал на смерть и на муки людей, не дает мне покоя...

Инженер Клейст с ужасом и надеждой смотрел в лицо Глебу и не мог удержать дрожи в руках, а голову твердо поставить на место.

Глеб сразу метнулся глазами на инженера Клейста, и в них дрогнули и рассыпались угольки. Лицо осунулось до мертвенной неподвижности и стало упрямым и страшным, как у трупа. Это было только на одно мгновение и исчезло в оскале зубов и гармошке на щеках.

— Товарищ технорук, что было — то было. Тогда люди держали друг друга за горло. Но вы вспомните другое: коли б вы не спасли мою жинку, от нее не было б сейчас и костей. А теперь вы — наш общий работник, великая голова и золотые руки. Без вас мы ни черта бы не сварганили... Глядите, какую работу проделали мы под вашим руководством...

Глеб пожал его руку и засмеялся.

— Что ж, Герман Германович, будем друзьями...

— Да, будем друзьями, Чумалов...

И он ушел твердой походкой, опираясь на палку.

2.

Пепелище.

Даша не ночевала дома с первых же дней после чистки — перекочевала к Меховой. А поселилась у Меховой потому, что получила от нее такую записку:

«Я чувствую, что очень больна, Даша, хотя хожу, ем, разговариваю — вообще, по внешности со мною ничего не произошло. Но я ничего не вижу, не осязаю. Днем я — затравленный зверь, а ночи — сплошные кошмары. Пройдут еще сутки, и я, кажется, не выдержку. Несомненно, я — больна, Только ты одна можешь поддержать и выправить меня. Как друга, прошу тебя: поживи со мною — помоги мне собрать разорванные куски и стать на ноги. Я сижу сейчас у Сергея (полночь) — каждую ночь сижу. Он очень устал, но по-прежнему — бодрый, мягкий, ласковый и ухаживает за мною, как за ребенком. Он готов не спать ради меня целых ночей. А когда я ухожу, он провожает меня не через коридор, а через дверь в мою комнату. Я боюсь, что он надорвется и свалится. В душе у меня зреет какая-то перемена. Какая — не знаю, а знаю одно, что стоит тебе побыть со мною несколько дней, и все опять будет хорошо — все будет опять на своем месте».

И Даша в тот же вечер, с узлом подмышкой, ушла в город той же бегущей походкой, как ходила обычно по делам женотдела. Домой она пришла только за постелькой и с Глебом не стала пить вечерний чай.

— Ну, ты, Глеб, хозяйствуй и прохлаждайся один, а я забираю монатки и живым манером — айда...

Глеб выпучил изумленно глаза и встал с табуретки.

— Вот туда, к чорту!.. Опять двадцать пять... Да подожди: ты мне ничего не сказала: куда — монатки и где — айда?..

— Коли будет свободный час, забегай к товарищу Меховой. Будем с нею жить в одной каморе. У товарища Меховой разболтались гайки: надо ее починить и смазать.

— А сколько дней ты будешь слесарить товарища Мехову?

— Не знаю. Побежит кобылка в упряжке, значит, опять с ней будем в паре. Надо сделать, чтоб товарищ Мехова не вышибалась из партийных рядов.

— Да, это — верно. С этой чисткой здорово поголовотяпали, к чортовой матери...

— Ну, пошла! Ты меня, Глеб, все же не жди скорым маршем: не знаю, как обернется.

Они попрощались за руку и смущенно замолкли, и в их улыбках дрожали недосказанные слова, а глаза убегали от глаз, отуманенных неукрытым вопросом. Молчали, улыбались, стояли рука в руку, хотели сказать застрявшие в сердце слова и — не могли.

— Ну, пошла...

— Ну, что ж... качай, коли надо...

Он проводил ее до калитки, а за калиткой опять взял ее руку. И все улыбались и молчали. И чувствовал Глеб, что Даша уходит не просто, как уходила обычно на работу или в командировку, в отъезд: Даша уносила с собою навсегда все прошлые годы. Может быть, Даша больше уже не возвратится, может быть, сейчас вот, у этой калитки, в этом последнем ее взгляде — вздох о минувшем и радость перед новой дорогой. Уж не может он сказать ей властного слова:

— Даша, я не позволю тебе итти: ты мне — нужнее, чем товарищу Меховой. Без тебя нет теплого уютного гнезда, и постель без тебя будет холодной и грязной.

Нет у него власти на такие слова, потому что эту власть она, Даша, отняла у него и превратила в пыль. И не просто баба стояла перед ним сейчас, а равный ему по силе человек, который взял на свои плечи все тяготы этих лет. И не просто жена была Даша, а женщина с мужичьей ухваткой, без прежнего домашнего глаза, без былой привязанности к мужу и логовищу. Вот она сейчас уйдет и, может быть, не вернется, и будет ему так же далека, как и другие женщины. Ну, что ж? Жили они до сих пор в одной комнате, спали сначала раздельно, а потом — на одной постели. Но ни на один миг не мог забыть Глеб самого главного — нет прежней

Даши: есть иная, новая, которая завтра может уйти и больше не вернуться никогда.

Порвалась последняя нить их супружеской связи — Нюрка. Умерла дочка, маленькая Нюрка, и были дни, когда общее горе крепко слило их души в одну через слезы и боль, и эти дни были похожи на прежние дни их любви. Была чистка, настали дни больших забот: у него — по заводу, у нее — по женотделу, и когда они встречались ночью в своей каморе — чувствовали, что смерть Нюрки была последней встряской в их жизни. Нужно было по-иному строить судьбу: уже не было часу для мечты о личном счастье. Это казалось ничтожным, стыдным, вредным для дела. После чистки заболела Мехова, и на Дашу возложили временное заведывание женотделом. А в Парткоме, при встречах с нею, все говорили:

— Ну, вот... Даша теперь на своем месте... Даша будто всегда была завженотделом...

И ей и всем было ясно, что она скоро из «врид» превратится в настоящую «зав».

И вот сейчас расставался с ней Глеб и хотел сказать ей какое-то большое слово из души и — не мог: не знал, что сказать, а сказать нужно было обязательно сейчас. Не скажется сейчас — не скажется никогда. И боялся сказать: Даша умела слушать его слова — она была к ним чутка и пристальна, а на слова его она всегда говорила свои слова, и эти слова ее были не такими, какие хотелось слышать — они били слишком больно...

— Ну, качай, Дашок... Но как же потом?.. В нашей домашней жизни я ничего не понимаю... Какая-то у нас чертовня... Хоть начинай с начала...

Даша оторвала свою руку от руки Глеба, взглянула на него в испытке и сморщила лоб.

— А что ж понимать, Глеб? Такой, как допреж я была, мне не бывать. И бабой для постели я не гожуся. Коли хотишь — можешь устроиться, как тебе надо: можешь взять себе бабу по вкусу и силе... Дур еще много на свете...

— Здорово!.. Скажи просто, что больше не любишь и — крышка...

Даша морщила лоб, и глаза ее туманились тревогой.

— Ну, а если я скажу тебе, что это — правда, Глеб: скажу вот — не люблю тебя больше?..

Глеб растерянно усмехнулся и обжег губы сухим языком.

— Тогда и я скажу: крышка, к чортовой матери — дошло до точки. Тут уж ничем не поможешь: ни насильем, ни лаской. Буду страдать в одиночку. А что не любишь ты меня, так это — брехня...

— Не знаю, Глеб, может, я никого не люблю, мужиков... а может, люблю... Тебя люблю, Глеб: это — верно... а может, люблю и других... Не знаю, Глеб... Все порвалось, все спуталось... Надо как-то по-новому строить любовь... Ну, я пошла, Глеб...

Слюна высыхала во рту, и сердце сжимала тоска. Позади — пустая дыра в пауках, а впереди — дорога, по которой пошагает Даша.

— Ну, иди, Дашка, а то устрою скандал...

И не успела отойти Даша несколько шагов, вышла из своей калитки Мотя. Она шла сырой утиной походкой, с огромным животом и туго налитыми грудями. Лицо было в бурых пятнах, и глаза — в синих кругах, покорные, раскрытые внутрь, утомленно суровые. Она издали махнула рукою и оскалила зубы в улыбке.

— Ну, ну... Замахала шагалками, холостая... Муж — хоть куда, а ты и в невесты не скачешь... Ой, и наколошматила бы я тебя по загривку!.. Бабе детей надо рожать, а она гуляет чертякой... Она, видишь, от мужа ухлестывает со своим барахлом... Я бы всех баб твоих прикрутила арканом к мужней кровати и приказала б: роди, сукина дочь!.. Ничего тебе больше не надо — знай одно: спи с мужем и роди... будь богатая мать... Вот оно, мое брюхо: теперь буду носить кажин год, Даша, — так и знай... Я буду баба, а вы — сухопарые галки...

Даша подошла к ней, обняла свободной рукой и засмеялась.

— Уф, и чортова же ты квочка, Мотя!.. Поглядишь на тебя — завидки берут: не баба, а утроба...

И пошлепала ее ладошкой по брюху.

— Ага, то-то!.. Приду к тебе в твой проклятый женотдел, заголюсь, стану по середке и буду кричать: подходи, бабы, кланяйся, целуй прямо в пуп: я — богородица!..

Обе смеялись, и Глеб смеялся.

Даша шла к пролому в стене, по дорожке в бурьяне, с постелькой подмышкой. Ждал Глеб: вот оглянется Даша и махнет ему рукою. Не оглянулась. Красная повязка мелькнула раза два в распахе пролома и потухла за бетоном. Каждый день уходила Даша. Каждый день приходила поздними вечерами. Часто бывала в командировках и пропадала ночами и днями. Было еще неспокойно в казачьих станицах: шайки бандитов бродили по горам и камышовым зарослям в балках, и ее поездки нудно лежали на сердце. Но вот сейчас сразу все оголилось, стало все скучным и чужим: и его камора, и улочка в палисадниках, и эта стена, которая отрезала от него Дашу и обвалилась вокруг него тюремной оградой. Зачем теперь пустая плесенная комната, зачем палисадник и дворик в две квадратных сажени? Даша ушла с постелькой подмышкой, ушла — не оглянулась, и говорила с ним странным, чужим языком. Даша ушла и, может быть, не вернется. Нет Даши, и он — один. Умерла Нюрка. Нет Даши, нет Нюрки: он остался только один. Чортова жизнь! она — как дробилка: хрумкает все — и судьбу, и привычки, и любовь...

Мотя смотрела на него сбоку, по-куриному, и в глазах ее, затруженных материнством, налитых нутряной радостью, искрами дрожали слезы.

— Ой, Глеб!.. Как же мне от вас, милых, прискорбно!.. Какая же несчастная доля!.. Даша для дома пропала... Ее нет, Глеб... Сгибла ваша дочечка Нюрочка И ты — как бугай... без семьи и без теплого места... Теперь ты не жалуйся, Глеб... Коли пошли по огню — понесли сами огонь... И Нюрочка меж вами вспыхнула пылинкой... Ой, как же мне вас жалко, Глеб!..

Он отвернулся от Моти и стал набивать табаком трубку.

— Ничего, Мотя... Огонь — не плохая дорога... Коли знаешь, куда шагают ноги и глядят глаза, разве можно трусить больших и малых ожогов? Мы — в борьбе и строим новую жизнь. Все хорошо, Мотя, не плачь. Так все построим, к чортовой матери, что сами ахнем — будет час — от нашей работы...

— Ой, Глеб! ой, Глеб!.. Наработал в своем гнезде на свою шею...

— Ов-ва, построим новое гнездо, Мотя!.. В чем дело? Значит, старое гнездо было плевое... Ну, как? Скоро родишь?

Она засмеялась одними глазами, и в лице ее кровью затрепетало счастье.

— Ну, да!.. То будет через месяц, Глеб... Ты ж будешь кумом — так и знай...

— Ого! это — верно... А уговор — такой: как увижу попа — посажу его в вагонетку и спущу его по бремсбергу в дровяной склад. Ну, и сварганю же я твой родильный праздник, Мотя, ей-право!.. А твоего нового человека сделаем почетным рабочим...

Мотя счастливо смеялась, а Глеб пошел не домой, а вниз по улочке, к заводским корпусам.

3.

Норд-ост.

Конец октября обрушился событиями.

Ночью, 28-го, был арестован Шрамм и немедленно отправлен в краевой центр. В эту же ночь были произведены аресты среди спецов Совнархоза и заводоуправления. А 30-го партийцы взбудоражились. Жидкий отзывался в распоряжение Краевого Бюро ЦК, Бадьин назначался краевым предсовнархозом. Предчека Чибис перебрасывался куда-то далеко, в Сибирь.

Этих событий ждали давно: об этом говорили в тихих беседах, передавали глухие слухи, волновались, жили предчувствиями назревающих перемен. Знали, что — будет, и каждый новый день был насыщен смутным ожиданием. Но все эти события потрясли внезапностью и тем, что они совершились.

Каждое утро, в обычный час, Сергей шел в Партком, с растрепанным портфелем, с голой лысиной, — шел сосредоточенной сырой походкой, сутулый, с неугасающим вопросом в глазах. Каждый день он точно и пунктуально выполнял партийные задания, работал по агитпропу, по политпросвету, не пропускал ни одного заседания, где присутствие его было необязательно, и никогда ни с кем не говорил о своей судьбе — о чистке, о своем исключении, о хлопотах по восстановлению себя в партии,—точно все это было совсем неважно, а важно и неотложно было только то дело, которое он должен был выполнить по намеченному плану. И с того часа, когда он был в комиссии по чистке, он ни разу больше не заглядывал туда, не ходил ни к кому из ответственных товарищей за помощью, не волновался и не жало-

вался. Только голова его в красной лысине и длинных кудрях стала будто больше и тяжелее, и в глазах, сквозь рыжую влагу, лихорадкой неугасимо горело страдание.

Он получил на руки коротенькую выписку из протокола комиссии и прочел ее так же внимательно, как читал все другие бумаги.

СЛУШАЛИ:	ПОСТАНОВИЛИ:
Ивагин, Сергей Иванович, член РКП(б.) с 1920 г., партбилет №, бывший меньшевик, интеллигент.	Исключить, как типичного интеллигента и меньшевика, разлагающе действующего на парторганизацию.

Выписку принесла Даша. Он сидел за столом в агитпропе и старательно работал над тезисами для докладов в ячейках по вопросу о рабочей кооперации. Даша пристально в испытке смотрела на него, и брови ее вздрагивали у переносья: она впервые удивилась Сергею — почему он так спокоен и беспечен? Почему он молчит и думает о чем-то другом?

— Товарищ Ивагин, надо немедленно, по горячему часу, обжаловать. Плевательную тактику — по боку. Надо бить раз за разом до самых верхов.

Он улыбнулся ей влагой в глазах и вынул из портфеля мелко исписанную четвертушку бумаги.

— Я уже обжаловал, товарищ Чумалова. Это у меня — копия на память. Я передал Жидкому. Партком ходатайствует с своей стороны.

— Коли тебе надобно насчет отзыва, я напишу в одну минуту, товарищ Ивагин. Это — головотяпство: тебя и товарищ Мехову нельзя исключать.

— Если ты находишь, товарищ Чумалова, что это — необходимо, напиши и передай Жидкому.

Он встал со стула и, сквозь стыдливую улыбку, протянул руку Даше.

— Но я ни на одну минуту не забываю, что я — коммунист, член партии, который свою работу должен выполнять без перебоев.

— То — так, товарищ Ивагин, но ты должен бить, тормошить, а не сидеть на стуле.

— Пока в этом нет нужды. Если же потребуется — встану со стула и пойду, куда следует.

Даша опять пристально взглянула на него, и опять у нее брови дрогнули от удивления. Она усмехнулась и быстро вышла из комнаты.

На-днях Полю отправили в санаторию. С тех пор, как поселилась в ее комнате Даша, Сергей не заходил к ней. Она не звала его и не отворяла двери в его комнату. Она забыла о нем, и его бессонные ночи угасли в ее памяти. Он часто слышал прежний смех и звонкий голос, и голос ее переплетался с голосом Даши. Одиноко шоркал тяжелыми ботами, и было грустно ему вдвоем с своим сердцем, а в душе дрожала радость, что в комнате Поли опять играли колокольчики.

Значит, нужно одно: партия и работа для партии. Личного нет. Что такое—его любовь, скрытая в незримой глубине? Что такое — его вопросы и мысли, ноющие под черепом? Все это — отрыжка проклятого прошлого. Все это — от отца, от юности, от интеллигентской романтики. Все это должно быть вытравлено до самых истоков. Все эти больные клеточки мозга надо убить. Есть только одно: партия, и все, до последнего волоса, должно быть отдано партии. Будет ли он восстановлен или нет — это не изменяет дела: его, Сергея Ивагина, как обособленной личности, нет. Есть только партия, и он — только ничтожная частица в ее великом организме.

В этот день он еще раз пережил прежние боли.

В комнате Жидкого было необычно тихо и душно, а сидели тут: Бадьин, Глеб, Даша, Лухава и Чибис. И потому, что все они сгрудились в кучу плечом к плечу, Сергей отяжелел от тревоги и предчувствия взрыва. Все были деловито-серьезны и холодны, и вопросы разрешались без прений. Сдержанно бубнил только один голос Жидкого.

— Против плана нет возражений? Принято. Итак, план празднования в окончательном виде таков: с утра отряды манифестантов собираются по районам...

Лухава выбросил руку и грубо оборвал Жидкого:

— Не надо. Все это мы знаем наизусть. Дальше.

Глеб встал со стула и тоже протянул руку к Жидкому.

— Брось, Чумалыч: вопрос исчерпан. Не о чем больше говорить. Крышка.

— Как это так — крышка? Я все-таки протестую против пункта: чествование героев труда. Это надо вышвырнуть. Какие герои труда? Какие это великие подвиги совершили, чтобы — в герои труда? Глушить надо, товарищи дорогие... Я не только о себе говорю... Прошу записать мое особое мнение...

— Чумалыч, не может быть никаких особых мнений... Что ты городишь чепуху?.. Олух ты этакий!..

Чибис сидел, как обычно: не то дремал, не то отдыхал, мечтая, не то думал о чем-то своем, чего он никогда не скажет никому.

Бадьин опирался грудью о край стола и молчал, глухой и тяжелый: толкни — не столкнешь, ударь — не почувствует удара. А Даша усмехалась, пристально вглядывалась в каждого, и лицо ее вспыхивало румянцем. Будто порывалась крикнуть, будто дрожала от ожидания: вот-вот скажется то самое слово, которое брякнет скандалом.

Бадьин, со скрипом в коже, переместил каменную голову на плечо и с черной мутью в глазах посмотрел на Глеба. Отвалился на спинку стула и положил ладонь на его грудь.

— Это у тебя — что такое?

И похлопал пальцами по ордену Красного Знамени.

— А это-то самое, которое...

— Ну, и не притворяйся пожалуйста таким строгим спартанцем. Если бы ты был, скажем, Сергеем Ивагиным, стыдливым интелли-

гентом, — тогда было бы понятно и правдоподобно. А к тебе это совсем не идет.

Лицо Глеба надулось кровью, глаза вылезли из век и стали мокрыми. У него глухо бумкнуло в груди и дрожью прошло по телу. Он грохнул ботами и отшагнул от Бадьина.

— Я, товарищ предисполком, прошу мне не указывать. А желаю подчеркнуть: чинодральство это ваше надо жечь каленым железом. Если мы будем строить все на побрякушках и бить пустой болтовней, мы здорово наработаем, к чортовой матери. Я возражал и буду возражать против предложения товарища Бадьина и товарища Лухавы. Коли товарищу Бадьину так нужно, можно пристегнуть ему в партбилет: пущай едет дальше командовать с этой новой нашивкой...

Жидкий стучал карандашом по столу и раздувал ноздри, будто сдерживал смех, который раздирал ему легкие.

— Кончено, кончено, товарищи!.. К порядочку!..

Лухава остро, с огоньком, смотрел на Глеба и Бадьина и смеялся весело, по-мальчишечьи, пискливо. Смеялся и играл руками в волосах.

И впервые в мутных глазах Бадьина увидел Глеб чугунную ненависть.

Тогда, весной, в его глазах также мутно наплывала густая волна, но там было другое: там была настороженность и вражда к его силе, которая столкнулась с его силой и высекла искру. Тогда было любопытство и что-то другое, чего он не мог понять — тяжелое, нечеловечье, неназываемое, живущее в крови. И сейчас так же, как и весной, в час первого свиданья с ним, Глеб почувствовал потрясающий удар до глухоты в ушах.

— Глеб!.. очухайся!.. Ты же не с цепи сорвался?..

Даша смотрела на него строго, с дрожью в веках, с криком в зрачках. И когда Глеб увидел эти ее глаза и сбледневшее лицо, сердце его обожглось прежней болью и яростью. Даша... Бадьин... Даша, его жена... Она была с ним тогда, в станице... Бандиты в ущелье... Ночь в одной комнате и на одной постели... Тогда Дашины слова не были шуткой... Даша и Бадьин... И он, бессильный в своей силе...

Жидкий опять стукнул карандашом по столу и оскалил зубы.

— Да к порядку же, чорт вас подери!.. Успокойся, Чумалыч! Все решено и кончено.

Чибис щурился и в пыльной улыбке, молча, смотрел сквозь ресницы.

— Садись, Чумалыч! Выдержанный член партии, а валяет дурака. Садись!

Бадьин по-прежнему мутно глядел на Глеба и сидел неподвижно, вылитый из металла.

— В чем дело, товарищ Чумалов?

Глеб задохнулся и сунул кулаки в карманы. Никак не мог справиться с сердцем: оно заполняло всю грудь, надувалось и лопалось, замирало и обжигалось кровью, и от неудержимой дрожи коченели и руки и ноги. В окно видно, как море горит огненным мыльным пузырем, горит воздух — он в вихрях искр, и небо горит, и облака — тоже горящие вихри. Нужно,

чтоб все разорвалось в душе, чтоб грохнуло и разметалось в пыль. И от того, что не было уже воли над собою, Глеб взмахнул кулаком и всей грудью рявкнул от наслаждения:

— Бабник!.. кобель, сукин сын!..

А Даша вцепилась в его плечи, и глаза ее зеленели, как у совы.

— Глеб!.. Ты очумел и окачурился, Глеб... Стыд и позор, Глеб!..

Все стали вдруг маленькими, растерянными и оглушенными. Только Чибис сидел по-прежнему, прищуренный, со скрытой улыбкой в ресницах, дремотный и скучающий.

Бадьин с ленивой тяжестью опять навалился на стол и сказал спокойно и холодно, как у себя в кабинете:

— А-а, только-то? Напрасно ты не устраивал за мной слежки, как покойный Цхеладзе: ты узнал бы больше. Даже Сергей Ивагин знает больше, чем ты... он — здесь, Сергей Ивагин: он может рассказать интересные вещи... Но он не решается по своей стыдливости делать скандала. Как видишь, ревность всегда близорука.

Даша, вся налитая гневом, стала между Глебом и Бадьиным, и в глазах ее уже не было ни тревоги, ни дрожи.

— Глеб не смеет этого барахолить. Товарищ Бадьин — очень замечательный и редкий работник. Глеб немного зашился в работе. Пустить в ход такого чорта, как наш завод, — это стоит того, чтобы покочевряжиться на три копейки... Проклятые мужики, они готовы рваться минутой из-за безделицы, а в деле не развинтишь у них ни одной гайки.

Жидкий встал со стула и молча оглядел всех застывшими слепыми глазами. Сергей, не отрывая глаз от Жидкого, пошел к нему навстречу, потрясенный и разбитый, хотел что-то сказать, но не мог выдохнуть слов. И вместо того, чтобы крикнуть Жидкому то, что рвалось из души, ссутулился, отмахнулся и вышел из комнаты.

Было холодно. С гор дул норд-ост, и воздух между морем и горами был необычно прозрачен, весь насыщенный небесной синью и солнцем. А над заливом огромными лохматыми вихрями из невидимых жерл выбрасывались облака. Над городом они разрывались на клочья и размытыми ворохами плыли к бурым далеким хребтам. Там, за городом, на взгорьях, густела в ознобе осенняя мгла, и вершины хребтом дымились тучами из лесных ущелий и каменных утесов. Только огненные пятна пламенели на склонах гор и летали по отекам и ребрам, тухли в ущельях и вспыхивали в известковых обрывах. Здесь, между горами и городом, над заливом, — прозрачная горящая синева и горы из хрусталя, в четкой топазной огранке, и завод голубел гигантскими кубами корпусов, стрелами бездымных труб, ажурными вышками и арками канатной дороги. И только густые ослепительно-белые сугробы перекатывались через перевалы, вьюгой бушевали по ребрам гор и таяли во впадинах, в каменоломнях и в солнце. Море дымилось метелью — снежной поземкой, безбрежной рекою, без волн, клокочущей пеной и брызгами, и между молом и пристанями, и у городских каботажей воздух вспыхивал полотнами радуг. А у бетонных массивов набережной

волны взрывались огромными смерчами и седым ливнем хлестали по домам, по городу, по взгорьям, в осеннюю рыжую муть.

Как всегда, Сергей шел по панели набережной с открытой головой, и кудри его трепыхались руном и били по щекам и по лысине. Ветер с гулом и визгом (это — рев тысячных толп) нес его к городу, и он в отпор ложился на него спиною и шел легко, без усилий, без тяжести в ногах. Навстречу ему шли одинокие люди, согнутые под тяжестью ветра, и он не видел лиц, а только — мятые лепехи картузов и головы баб, туго обтянутые теплыми платками.

У каменных стен каботажей бултыхались турецкие фелюги и рыбачьи баркасы и чертили воздух веретенами мачт.

...Его слов ждал Жидкий, и он ничего не сказал. Зачем он приходил в партком, когда нужно было итти в политпросвет на заседание библиотечной комиссии? Да, вспомнил... Отца уже нет в библиотеке и где он живет — не знает. Верочка недавно разыскала его, Сергея, и когда говорила, дрожала и не сводила с него слезно сияющих глаз.

— Сергей Иваныч... Иван Арсеньич... Ему так хорошо... Он — такой изумительный... Но он приказал... Он болен, Сергей Иваныч... И сказал, что вам не надо...

Она не сводила с него младенческих глаз, и Сергей не знал — плачет она или улыбается.

— Сергей Иваныч... Если б вы знали... Он умрет, Сергей Иваныч...

И она, улыбаясь слезами, ушла, и когда он позвал ее, не возвратилась.

Не все ли равно, что будет с его отцом? Жизнь производит безошибочный отбор, и процесс этого отбора — неотвратим. Где его место в этой великой работе истории? Может быть, он будет раздавлен, а может быть, его душа ожелезится так же, как у предисполкома Бадьина. Удары этих лет так сильны, и дни так беспощадно жестоки, что старые раны кровоточат, а каждый новый час наносит новые царапины. Не все ли равно, что будет с ним, когда каждый миг требует его без остатка? Работать и только работать. Пусть — будни, но будни — ведь это мечта, переложенная на упорную трудовую повинность.

Восстановят его в партии или нет — это неважно: это не изменяет его судьбы. Он должен работать и только работать. Если он будет выброшен, как сор, — значит, так нужно для будущего: он все равно обречен для истории, как сила, как элемент великого процесса. Он связан неразрывными нитями со всем миром, со всем человечеством.

Вот Поля Мехова. Она вросла в него через смех, через ядреную бодрость крови, через ночи, когда он без сна сидел у ее изголовья, — она любовью вросла в него навсегда, как боль, как тайная радость, как неугасимый огонь.

Пусть не будет рядом Жидкого, Чибиса, Бадьина... Не будет Лухавы и Даши. Глеб пошагает каменным шагом по республике под тяжестью трудового подвига. Ничто не изменит его предназначения: он, Сергей, — сила, он — жертва, он — необходимое звено в цепи великих свершений...

Внизу, под отвесной стеною массивов, плескались и хлюпали волны и высоко взлетали зелеными грохочущими фонтанами. Под стеной была широкая площадка для причала катеров, и наплески волн мыли и шлифовали бетон. А у самой стены, на площадке, лежали вороха водорослей, мусора, раковин и медуз. За эстокадой, где ветер кружился вихрями пыли, Сергей взглянул вниз и остановился.

У самой стены, на площадке, прибитый к мусору и водорослям, лежал трупик грудного младенца. Головка повязана красным платочком, ноги — в чулочках, а ручек не видно: заботливо запеленуты в белую простыньку. Трупик был свежий, и молочно-белое личико — спокойно, совсем живое, как во сне. Тут, между каботажами, — тихо, и волны плескались навстречу друг другу, отраженные бурей. Почему трупик младенца так бережно положен на водоросли? Откуда этот младенец с восковой нежностью в личике? На нем еще не остыла теплая рука матери: и в этом платочке, и в спеленутых ручках, и в крошечных чулочках в обтяжку на пухлых ступнях... Сергей глядел на него, не отрываясь, и ему чудилось: вот-вот откроет младенец глазки, взглянет на него пристально и улыбнется. Откуда он, этот дитенок, человечески-жертвенный до острой жалости? С погибшего корабля? Брошен в море обезумевшей матерью?..

Сергей стоял над младенцем и никак не мог от него оторваться. Прохожие в любопытстве подходили к нему, смотрели на трупик ребенка и тотчас же отходили. Они бормотали, спрашивали о чем-то Сергея, а он не слышал и не видел, кто подходил. Стоял и смотрел, бездумно, с болью, с изумлением и скорбью в глазах, и чувствовал, как внутри у него кружится омутом вокруг сердца непонятная гнетущая тоска. И не слышал сам своих слов, которые говорились громко сами собою, без участия сознания:

— Ну, да... Так и должно быть... Это самое и есть...

4.

Волны.

На ажурной вышке вместе с Глебом стояли: Жидкий и Бадьин, члены завкома и инженер Клейст. Но Глеб был один, потому что все эти бесчисленные толпы зыбились, бурлили, цвели подсолнечными полями — там, всюду на сколько охватывал глаз. Они были — там, а он — здесь.

Тут, у самого основания вышки, длинной полосой — и вправо и влево — кострами горят красные знамена. И сама вышка пылает алыми полотнами в железных переплетах: знамя из ячейки льется с барьера, сейчас же от Глеба, вниз и густо каплет кистями на другие знамена, в толпу, а с другой стороны, где стоят Бадьин и Жидкий, — другое знамя профсоюза строительных рабочих. И под парапетом жирным потоком льется пунцовое полотнище, и огромные белые буквы горят весенними цветами:

Мы победили на фронте гражданской войны.
Мы победим и на хозяйственном фронте.

Головы и плечи кишат, волнуются, вспыхивают красными повязками, смуглыми и сизыми лицами, картузами и кепками, и всюду — и там и там — красными крыльями взмахивают плакаты. За ними не видно толп, а над ними, дальше, — опять толпы в движении и зыби. Над самым обрывом, на скале, — опять такие же толпы, и опять — знамена и плакаты. Они колышутся в водоворотах, по ребру и скатам горы — выше, выше, а там — опять знамена и плакаты маковым севом. И видно, как снизу, из ущелья, все еще текут бесконечные толпы. Там, далеко, музыка играет марш, а тут — нутряной животный гул, и дизеля грохочут и лязгают металлом. Гула и воя толп нельзя отделить от грохота машин. Брынза — прав: машины и люди, это — одно. Массы не могут молчать. Массы живут особой жизнью от единиц: они — в постоянном напряженном движении и всегда готовы к взрыву.

День был прозрачный, по-осеннему свежий и янтарный, по-осеннему приближающий дали, по-осеннему ядреный и маревный. Глеб смотрел на горы и в небо: там фырчал и пел электромотором невидимый аэроплан, и шелковые нити паутин плавали в сини и дымились жемчужной пылью.

Глеб до боли в суставах сжимал железные полосы перил и не мог удержать изнурительной дрожи в ногах. Сердце надувалось кровью и заполняло всю грудь до удушья. Откуда прет такая тьма народу? Здесь и без того уже навалило тысяч двадцать, а колонны все идут без конца. Вон они где — не меньше, чем за версту, на горе, — растекаются по бурому взгорью, по камням и кустарникам, вливаются в общую массу и ползут все выше и выше. Так можно засыпать человеческим месивом всю гору до самой вершины... Вон, недалеко, вправо, за вышкой, стоит вольно полк красноармейцев. Так же когда-то стоял и он. Давно ли это было? А теперь вот он, здесь: опять рабочий завода да в придачу — в головке партийной братвы. Завод. Сколько положено сил, сколько было борьбы. Вот он, завод— богатырь и красавец. Был он недавно мертвец — чертова свалка, развалины, крысиное гнездо. А теперь — грохочут дизеля, звенят провода, насыщенные электричеством, курлыкают ролами бремсберги и звенят вагонетками. И завтра заревет и закружится на своих осях первая великанная цистерна вращающейся печи, а вон из этой страшенной трубы заклубятся седые облака пыли и пара.

Разве все это не стоит того, чтобы все эти несметные толпы народа пришли сюда и порадовались общей победе? Он... Что он, Глеб, среди этого людного моря? Не море, а живая гора — камни, воскресшие людом... Ух, какая силища!.. Это — те, кто с лопатами, кирками и молотами прорезали горы для бремсберга. Это было весной, в такой же вот прозрачный солнечный день. Тогда была пролита первая кровь. Теперь город — в дровах, а здесь все готово к пуску завода. Сколько крови в этой великой рабочей армии! Ее, этой крови, хватит надолго. Работает транспорт. Будет работать Судосталь. Зашумят паровые мельницы. А разве мало здесь горных потоков, чтобы поставить турбины?

Были когда-то смертельные ночи и дни в боях, и было: дрожал за жизнь свою и думал о Даше. Как все это — давно, как далеко и ничтожно! Даша... Ее нет: она утонула в толпах, и ее не найдешь. Не все ли равно? Была Даша, и — нет ее. Все это — далеко и ненужно. И его — нет, а есть только непереносный восторг, и сердце, которое лопнет от крови, скаженное. Рабочий класс, республика, великое строительство жизни... К чортовой матери, мы ж умеем страдать, но умеем же чуять силу и радоваться!

В глубинах толп — грохот машин и далекий вой ветра в горах: это — топот толп, и песни — и тут и там — вперeплет, вперeклик, без напева, без слов.

Колыхались и вздрагивали знамена и плакаты. Взрывы хохота потрясали воздух животным ревом, и под ногами Глеба дрожала досчатая настилка. Разрывалась гуща голов пыльными яминами, в пьяном веселье прыгали картузы и красные повязки. Пляс под всплески ладошек и визгливый речитатив. Видно, как осыпается камень и щебень в пластах скалы.

Лошак и Громада тоже здесь, на вышке. У Лошака — все от антрацита: и горб, и лицо, и засаленная годами кепка. Лицо такое же, как в завкоме, — угрюмое, тупое, в обломках, только белки в рубцах и кровоподтеках надуваются, как пузыри. А Громада скрючился, будто в ознобе, и лопатки шоркают щепками под пиджаком. Лицо — желтое, лихорадочное, с острыми скулами. Спина и плечи поднимаются к ушам, и он дрожит и надрывается от кашля. Чортов Громада, на какой он держится жиле, когда он, Глеб, как былинка, от этих лавин? А Лошака сам сатана не берет: ему работа только с своими горбами — на спине и груди — подлая ноша.

— Ну? Как, братва?.. Громыхаем, чортовы хлопцы!..

Лошак выпучил на Глеба бычьи белки и натянул кепку на глаза.

— Гвоздуем, болвашка... Верно!.. Поставили дело на попа, а упором бузуем на пузо... Так надо высказать, головешки...

А Громада замахал руками, и все костяшки у него заходили ходуном.

— Вот именно, товарищи... Тут брось дискустировать... Как мы есть дали великолепное достижение, но я просто на своих ногах не стою, как эти рабочие массы доказуют свою пролетарскую сознательность и так и дале... Товарищ Чумалов... да ежели бы... эх!.. товарищи!.. тут — все и везде... и так и дале...

Глеб больше не мог стоять: хотелось прыгнуть с высоты в это море голов, хотелось заорать во все горло без слов, до надсады... Все равно: разве это все можно выдержать? Вот оно то, чем он жил все эти месяцы... Оно — тут, оно собрано в единую силу...

Он шагнул к Бадьину и Жидкому с судорогой восторга в лице.

Бадьин метнул на него холодными глазами. Плеснулась волною черная тень в зрачках и скользнула пленкой.

— Пора начинать, товарищ Чумалов. Сейчас я покрепче заверну на четверть часа текущий момент, а потом ты дерябни по самому сердцу. И сразу же подавай сигнал. Приветствия пустим после гудков.

Жидкий схватил за плечи Глеба и встряхнул его в пьяном порыве.

— Эх, Чумалыч!.. Дурень ты набитый!.. Жалко с тобой расставаться...

Бадьин замкнуто и холодно отвернулся от них и отошел к парапету, и Глеб опять больно почувствовал в каменном его поставе и в металлическом блеске кожи суровую отчужденность, а в стеклянном блеске глаз — тусклые бельма вражды. И опять сердце вздрогнуло от глухого удара.

Он отошел по диагонали назад. Внизу, по шоссе, все еще шли густые колонны с знаменами, и за ними, в серых бетонах, гремели и потрясали воздух оркестры, топот и песни.

...Вот человек, с которым он не может стоять на одной земле. Он стоит один, опираясь руками о перила, и плечи его поднимаются выше затылка. Он смотрит вниз, на толпы, на гору, живую от человеческих масс, и в упругих движениях его мускулов, насыщенных здоровьем, в зорких поворотах головы, в небрежной его обособленности, — сознание своей силы, значительности и гордости вождя.

— Карьерист!..

Глеб до боли сжал зубы, и у него хрустнуло в салазках.

До сих пор еще дрожало нутро от пережитого в Доме Советов.

Вскоре после ухода Даши он забежал мимоходом взглянуть, как им вдвоем с Полей дышится. В коридоре была певучая пустота и дремотный полусумрак (на лестнице, над дверью, часы отзвонили 11 ночи). Глухо и уютно рокотали голоса внутри комнат. Где-то, очень далеко, звякала чайная посуда и шумели примусы. В конце коридора мутно горел огненный квадрат на стене. Это настежь была открыта дверь в комнату Чибиса.

За дверью, в комнате Поли, была тишина. Глеб не успел постучать: быстрые, испуганные шаги зашлепали к двери (должно быть, Поля была босиком) и тихий надорванный вскрик:

— Кто тут? Ну?

Дверь открылась широко, со всего размаху, и больно ударила Глеба по плечу.

— Тю, будь ты неладная!.. Так же можно дрызнуть человека на черепки. Самый вредный элемент — это бабы...

В комнату нельзя было шагнуть. Мехова стояла на пороге, бледная, слепая от страха, с застрявшим криком в раскрытом рту.

— Ты зыришь на меня, как на бандита, товарищ Мехова... Где ж Дашка?

Он шагнул к ней и поднял руку, чтоб ласковой обнимкой столкнуть ее с порога. Она сразу повяла, прислонилась к косяку и жалко улыбнулась.

— Ах, Глеб... Как я испугалась!.. Даша сейчас придет... После того, что я пережила, Глеб, я точно.... Я сейчас не могу... Было бы лучше, если бы ты не приходил... Почему ты не поддержал меня раньше?.. Я больна, Глеб... Не приходи сюда больше: это мне мучительно... Точно я попала в крушение и задавлена обломками...

Глеб, смущенный, смотрел на нее и не знал, что сказать. И не чувствовал к ней ни былой нежности, ни участия: слишком она была жалка

и беспомощна. Не было в ней больше прежней жизнерадостной кудрявой женщины. Когда-то через сердце плеснулась хмельная волна. Она отхлынула и унесла с собой Полю.

— Мне нужно уехать, Глеб, — отдохнуть и собраться с силами. В мужчинах много страшного, Глеб. Теперь мне кажется, что в каждом из вас сидит Бадьин... Не смотри на меня так: это — не ты, а Бадьин... Иди, Глеб, пожалуйста... Не сейчас, а потом... в иной обстановке... Почему ты тогда не дал мне того, что я хотела?.. Может быть, этого бы со мною не было?..

Она засмеялась радостным колокольчиком, и в этом смехе Глеб услышал слезный надрыв и нежную радость, как у дурочки.

— Вот она, Даша!.. вот она!.. Возьми его, пожалуйста, Даша, и уведи подальше... Скажи ему, чтоб он больше сюда не заглядывал...

Даша взяла его за плечи и оттолкнула от двери, а дверь осторожно и плотно затворила за Полей.

— Ну-ка, вояка... Шасть до дому — тебе здесь нечего делать...

Хоть и засмеялась в бабьей игре, но рука была неласковая и чужая. В душе была обида, и была пусто в ней и пыльно, как в своей заводской каморе.

— Ну, вижу: каши с вами не сваришь... Ты что ж? Выходит, обосновалась здесь на крепкую ногу?.. Мое, значит, дело здесь — совсем табак?.. Закручено здорово, Дашок... А когда же все-таки домой?

Она дрогнула нутром — отразилось в лице и глазах — и мучительно сморщила лоб. Не сразу ответила, и в этот короткий момент ее молчания Глеб увидел, что в душе ее схватились зубами две силы.

Она вскинула голову, и лицо ее вспыхнуло бледной маской. Повязка сползла на затылок, и глаза переливались твердой огранкой. И если бы она не ответила, все равно Глеб знал бы, что она скажет.

— Да, я обосновалась, Глеб... Так надо... То лучше для меня и для тебя... Не жить нам с тобою вместе, Глеб... Мы должны строить иначе свою судьбу...

И впервые сердце его ошпарилось кровью, и он задохнулся от бешенства.

— Так. Теперь будем знать окончательно... Я это знал уже раньше. Только канителились и валяли дурака. А Бадьин — мерзавец и бандит. Я его все же пришью, будет час... Он съел и тебя, и Мехову... Нам с ним жить нельзя одновременно... Это — ясно...

— Глеб, ты — глупый и бешеный бык... Ты не знаешь, что бубнишь... Иди домой и очухайся... Ты размышляй мозгами, а не утробой... Товарищ Бадьин столь же виноват, как и ты... Это знай... И не при чем тут ни ты, ни Бадьин...

Он грузно повернулся на каблуках и пошел назад по коридору. Сделал несколько шагов и вспомнил: не сказал самого главного.

— Ты пойми: я теперь — бездомный барбос. Всю душу вложил в завод, а завод и ты взяли мою кровь... Все мы живем — только живем половинками... Уеду в армию...

Даша подошла к нему, встревоженная, с ласковой улыбкой, и в ней блеснули прежние девичьи слезы. Она застенчиво погладила его по плечу и вздохнула.

— Ведь не наша же вина здесь, Глеб... Прежнее сгибло без возврату... Будем строить новую жизнь... Придет время, и мы построим себе новые гнезда... Любовь остается любовью, Глеб, только она требует новой увязки... Перегорит все, утрясется, а мы поразмыслим, как быть и как завязать новые узлы...

С красными кругами в глазах и ноющей болью в груди он опять повернулся на каблуках и шагнул по коридору. Застыл на первом же шаге: глаза в глаза встретился с Бадьиным. Он стоял в дверях своей комнаты и смотрел на Глеба в хмурой усмешке. Стоял прямо, огромный и в мускулах, поблескивая кожей тужурки, с руками, глубоко засунутыми в карманы.

— Заходи. Ты еще у меня не был ни разу. Мне хочется с тобой поговорить по душам.

Глеб, парализованный, стоял перед ним и не мог оторвать своих глаз от его лица. Ледяная струйка дрожала где-то глубоко в животе и разливалась по рукам и ногам. И, помимо сознания, пальцы судорожно елозили по поясу, по бедрам, по кобуре и не могли никак остановиться.

— Не там шаришь, где нужно. Револьвер — на месте, можешь не беспокоиться: кобура застегнута хорошо.

И в последнем его взгляде, за мутью в зрачках, Глеб увидел неугасимый уголек ненависти к нему. Он медленно, отчужденно повернулся и тяжелым шагом пошел в глубь комнаты, и под выпуклым бритым затылком при каждом шаге упруго двигались толстые желваки мускулов.

Даша мягко взяла Глеба под руку и повела по коридору.

— Ну, иди, иди, голубчик Глеб... Я приду к тебе. Иди и успокойся...

Он оттолкнул Дашу и быстро вышел на лестницу.

Вот и сейчас его бритый затылок из-под плоской шапки-кубанки вызывающе смотрит на Глеба, синий, в желваках, шишках и шрамах. Этот затылок так и просится на мушку.

...Жидкий стоял перед Глебом и раздувал ноздри от скрытого смеха.

— Ты что? оглох, что ли?.. Начинай... и никаких чертей...

И потащил его к парапету.

Долго утрясались толпы, долго таяли утихающей зыбью рокот и гул голосов, замолкали песни и оркестры, и все эти несметные массы потекли с дальних склонов головами и знаменами в водоворотах и вихрях.

Говорил Бадьин — говорил долго, всеми легкими, всем телом. Разве можно сказать, что говорил Бадьин? Говорил все, что нужно для праздника. Тут было, что надо: и Советская власть, и новая экономическая политика, и хозяйственное строительство, и товарищ Ленин, и Российская Коммунистическая Партия, и рабочий класс... А вот подошел к самому главному, запомнилось так:

— ...И вот одна из наших побед на хозяйственном фронте — победа огромная, нечеловеческая, — это пуск нашего завода, этого гиганта республики. Вы знаете, товарищи, с чего началась наша борьба. Весною организованными силами мы впервые ударили кирками и молотами по этим горным пластам. И первый удар наш дал нам бремсберг и топливо. Рабочие профстроя не выпускали из рук своих молотов и удар за ударом ковали жизнь в машины, во всю сложную систему колоссального сооружения. Завод — на ходу. Завод готов к работе на полный размах. С этого дня, с 4 годовщины Октября, мы торжествуем новую победу на фронте пролетарской революции. В борьбе рабочий класс выдвигает своих организаторов и героев. Разве наши рабочие массы могут забыть имя борца, красного солдата, беззаветно отдавшего свою жизнь великому делу революции, — разве они могут забыть имя товарища Чумалова?.. И здесь, на фронте труда, он — такой же самоотверженный герой, как был на полях сражений...

Дальше ничего не было слышно. Будто гора сдвинулась с места и со страшным грохотом обрушилась на Глеба, на вышку, на заводские корпуса. Рев, вой, гул, землетрясение... Вышка дрожала и колыхалась, как проволочная. Пройдет мгновение — и она грохнется, как игрушка, взлетит на воздух и будет прыгать над морем голов, над знаменами, в волнах человеческого содома. Внизу и где-то еще и еще гремели медью оркестры.

Глеб, бледный, ошеломленный, лепетал странные слова, непонятные самому, задыхался, махал руками и неудержимо смеялся не нутром, а одною судорогой в лице.

— Говори... твое слово...

Зачем говорить, когда все — ясно без слов? Ему не надо. Что — его жизнь, когда она — пылинка в этом океане человеческих жизней? Зачем говорить, когда язык и голос его не нужны здесь, глупы и ничтожны? Нет у него слов и нет жизни, отдельных от этих грохочущих масс...

Тряслась челюсть, и зубы выбивали дробь.. Ослепли глаза, и толпы запылали огненной вьюгой.

— Ну, говори же... Дрызгай с места в карьер...

И не помнил, что говорил, и будто не говорил, а бормотал бессвязную, жалкую чепуху. Но его голос слышали даже дальние толпы на взгорье.

— ...И не барахолить словами, товарищи... Вот как надо ставить вопрос... То — не заслуга, коли мы бьемся над созданием нашего пролетарского хозяйства... Мы — все... единым духом... Если я — герой, так все же одинаково герои... А если мы не натянем кишки до геройства, так всех же нас к чортовой матери — по шеям с колокольни... Но скажу я одно, товарищи: мы сделаем все, создадим все и дадим мы, будь оно проклято, кому надо сорок очков вперед... А вот коли бы нам побольше таких техноруков, как наш инженер Клейст, да еще кой-чего немножко, так мы бы в два счета покрыли на ять всю Европу...

Опять гора осела грохотом и взорвалась ревом и медью оркестров.

Глеб помнил, будто сквозь сон, как схватил красный флаг и взмахнул им над толпою три раза. И сразу же охнули горы, и воздух вихрем заклубился в металлическом вое... Ревели гудки — один, два, три .. — вместе, разноголосо, рвали барабанные перепонки, и будто не гудки это ревели, а горы, скалы, толпы, корпуса и трубы. И вместе с гудками ревели и грохотали несметные толпы. Плясали они здесь, под вышкой, там на скалах, на склонах горы, огненными крыльями полыхали знамена, и оркестры звенели колоколами.

Рассказы.

Пантелеймон Романов.

Пожары.

(Из романа «Русь», т. V).

Начиналась пора пожаров. Тесные деревенские улицы с сухими плетнями, густо застроенные избами, сараями, низкими погребами с соломенной крышей и с приставной вязанной соломенной дверью, как будто нарочно строились для того, что уж если гореть, так гореть всему под-ряд.

А после уборки хлеба к этому еще прибавлялись гумна, которые бывали на задворках, куда ходили через плетеную из хвороста калиточку мимо высокой жирной огородной конопли. Сколько мужики после пожара ни собирались и ни говорили, что нужно расселяться, не строиться тесно,— все ничего не выходило. Пока говорили, все были согласны, а как доходило до дела, то те, кому нужно было строиться на новом месте, сейчас же кричали:

— Это, подите вы к чорту, мои деды тут жили и померли.

— Да, это неловко, — соглашался кто-нибудь.

— Что ж, я на двадцать саженей подамся на другое место, разве этим спасешься, шапки чуть не за полверсты летят, особливо, ежели ветер.

— Это так расселяться — пожалуй, до самого города одна наша деревня растянется.

— По всему полю расселимся, а хлеба сеять негде. Вот так надумали.

— Тут не расселяться, а крыши бы какие-нибудь черепичные, что ли, или железные делать. А то обложились со всех сторон соломой и горим, как чумовые кажный год.

— Вот это правильно! Известное дело, ежели черепицей-то крыли бы, ан, другая бы статья была.

— И самую избу еще отщикатурить, — прибавлял кто-нибудь.

— И это дело, — соглашались все.

— Тут нарочно спичку бросай, она нипочем не загорится.

— Нипочем, взяться не с чего — черепица да глина.

Но когда дело доходило до того, чтобы после пожара крыть крышу, то все крыли опять соломой.

— Что ж вы, черти! — кричали на них.

— Черти!.. а где ж мы возьмем? Тут бы хоть соломой-то обладить до холодов. С весны окрепну, тогда покрою, где ж сразу справиться? Да и все равно, избу я покрою, а гумно-то с хлебом, да скирды тоже черепицей, что ли, крыть?

Все на некоторое время озадаченно замолкали.

— Хлеб застраховать можно, — замечал кто-нибудь сзади.

— Платить небось придется, — говорил кто-нибудь некоторое время спустя.

— Мало что платить, зато ты застраховал покрепче, глядишь, сразу же за два урожая получил, чудак человек, — говорил кто-нибудь третий, как всегда, скоро присоединяясь к новому мнению, хотя бы он только что подавал голос за старое.

— А ежели не сгоришь, то только деньги даром заплатишь?

— Один год не сгоришь, на другой, может, господь даст, сгоришь. Тут, брат, без обману и ежели голова есть на плечах, так в лучшем виде поправишься, — говорил четвертый.

— За такие дела на казенный счет к чортовой матери, — говорил лавочник, если случайно приходил на этот разговор.

— Да это мы к примеру говорим, — отвечал кто-нибудь после наступившего молчания.

— А то он, чорт, свою развалюшку подпалит, глядишь, целую деревню смахнуло, — говорил лавочник, не обращая внимания на конфузливое оправдание.

— Нешто можно! — сейчас же соглашались все, — да за такие дела прямо самого, сукина сына, в огонь.

И как-то выходило так, что никогда не могли остановиться на каком-нибудь одном решении, хотя бы сначала все были с ним согласны, непременно кто-нибудь выскакивал и предлагал другое. Тогда о первом забывали и начинали толковать о другом.

Гореть имели обыкновение большею частью в рабочую пору и по праздникам. Во время жнитва, когда все уходили в поле, и деревня вся вымирала в неподвижном зное июльского зноя, ребятишки, оставленные одни, разводили где-нибудь у порога огонек, а через час уже полыхала вся деревня. Жнецы, завидев за бугром спелой ржи черный зловещий столб дыма, бежали к деревне, чтобы застать на месте ее обуглившиеся бревна и дымящиеся развалины. Или в праздник какой-нибудь мужичонко, еще до обедни понаведавшийся к куме в шинок, идет оттуда, обнимаясь со всеми деревьями, пока не приткнется с трубочкой покурить где-нибудь у омета свежей соломы.

А то иногда какой-нибудь мужичок с верхней слободы, всего три дня назад застраховавший свою избенку, выскочив при звуке набата и увидев, что на нижней уже горят, совал заодно и к себе под крышу жгут зажженной соломы и, нырнув в коноплянники, выныривал около нижней полыхающей слободы уже почему-то без шапки, без пояса и, размахивая руками, кричал:

— Братцы, горим! Что ж это теперь будет?

Но братцы тоже были не дураки.

— Только не захватили тебя на этом деле, а то греться бы тебе на обчественном огоньке, охальник этакий! У людей по году стоят заштрахованы и не горят, а ты, вишь какой, скороспелый нашелся!

— Вот старосту бы подтянуть надо, — говорил кто-нибудь обыкновенно на другой день после пожара, садясь на бревно и насасывая трубочку, — никакой пожарной снасти нету. Пожарная команда была и ту куда-то смыло.

Все оглядывались на то место, где под соломенным навесом обыкновенно стояла команда, т.-е. бочка с налитой в нее водой и не находили там ничего.

Большею частью после пожара начальство, спохватившись, отдавало приказ о приведении в образцовый порядок пожарного дела. Мужиков собирали, заставляли их тут же определить одну бочку под пожарную команду и всем раздавали дощечки с нарисованными на них топорами, ушатами, указывавшими, кому с чем надлежит бежать на пожар.

Мужики разбирали по рукам дощечки, разглядывали их по дороге к дому и прибивали их над дверью сенец.

Потом принимались за бочку, тут же красили ее зеленой или красной масляной краской, строили над ней навес на столбах, крыли его соломой и даже наливали в бочку воды, потом, подняв вверх оглобли, придавали ей вид боевой готовности.

Но проходило время, вода в бочке высыхала. И если кто видел это, то, заметивши про себя — надо бы обществу сказать, — шел своей дорогой. Но обществу не говорил, и через неделю ребятишки, носившие из нее пригоршнями и картузами воду на дорогу, где они месили из пыли хлебы, уже переглядывались в рассохшиеся щели, стоя по обеим сторонам бочки.

— Ну, вы, не баловать! — говорил какой-нибудь мужичок, проходя мимо, — для дела, а не для баловства поставлена.

Через неделю с бочки исчезала одна оглобля. А там кто-нибудь, собираясь с возом ехать в город и осматривая свою ненадежную оглоблю, натыкался вдруг глазами на пожарную бочку и говорил себе:

— Уж свистнули?.. — И, рассудивши, что с одной оглоблей на этой бочке все равно далеко не ускачешь, снимал и другую.

Затем исчезала вся бочка и даже навес над нею, но при этом с такою постепенностью, что никому это не бросалось в глаза. И замечали только тогда, когда кто-нибудь, наткнувшись на пустое место, говорил удивленно:

— А где ж пожарная команда-то?

— Что за чорт! Ведь она все лето тут стояла.

Не меньше других удивлялись и те, которые сами попользовались от этой бочки. Но так как каждый брал только часть ее — оглоблю или колесо, то, естественно, каждого озадачивал вопрос, куда же она вся-то делась?

— Вот и живи с этим народом, — говорил кто-нибудь. — Сами у себя волокут.

— За этим народом в десять глаз смотреть надо и то не углядишь, — говорили все.

В воскресенье, едва только отошла обедня и народ по выгону и проулкам расходился по домам, над нижней слободкой взвился зловещий столб черного дыма.

Бабы закричали, заголосили и все бросились напрямик через Житниковский сад, набегу перелезая через старый, сухой, ломавшийся под ногой плетень. А с колокольни уже несся тревожный торопливый звон набата.

Горело в узкой улице над ручьем, где были сложены ометы новой только что обмолоченной соломы. Огонь рекой шумел и развивался все шире, захватывая новые избы, выметывался сквозь деревья красными языками, исчезавшими в черном дыму, и лизал трепетавшие листья ракит, которые, свертывавшись, сгорали и уносились вверх горячим воздухом.

Праздничный народ из других деревень, бывший у обедни, сбегался с веселым и торопливым оживлением, как бы боясь опоздать на зрелище, и останавливаясь по ту сторону ручья, притихнув, жадно смотрел на метавшееся за деревьями пламя.

Соседние с пожаром избы как-то мертво и обреченно смотрели своими пустыми отблескивавшими окнами, чтобы через минуту, задымившись с угла, вспыхнуть также ярким пламенем.

Всюду слышались смешанные крики, треск огня, пожиравшего смолистое дерево, и жуткий шум сухой горящей соломы.

В самом дыму вблизи огня только метались фигуры хозяев, которые иногда, закрыв лицо от жары рукавом, выбегали из загоревшихся сеней, волоча какой-нибудь узел.

Остальные стояли, смотрели на огонь, лущили семячки и кричали, как нужно было бы делать, если кто-нибудь бросался к горящей избе.

Иногда какой-нибудь мужичонко без шапки с опаленными волосами подбегал к горящей избе, отвернув лицо, тыкал в ее огненную стену багром и отбегал обратно.

И тут десяток голосов кричал:

— Не трогай, пущай горит, а то шапки летят.

— Чего ты ткаешь-то? Ломать надо, — кричали другие, не трогаясь с места.

Кроме хозяев на пожаре работали только Николка сапожник и Андрюшка. Николка, известный своей страстью к пожарам, бегал за несколько верст, лез в самый огонь, командовал всеми и после пожара, весь черный и закопченный, отряхая рукава, оглядывался и говорил обыкновенно:

— Вот это пожар, так пожар! Давно такого не было.

Андрюшка, не вдаваясь в специальную оценку, схватывался прежде всего ломать, так как не знал большего удовольствия, чем смотреть, когда прогоревшая и светящаяся насквозь крыша обвалится и рухнет с зловещим треском и ураганом искр.

— Вот грех-то ради праздника господь послал, — говорили в толпе, — четыре двора в полчаса смахнуло.

— Подожди, еще четыре смахнет.

— Очень просто, — говорили стоявшие полукругом около пожарища. — Их бы надо водой поливать. Или бы войлоками покрыть.

— Войлоками на что лучше.

— А тут воды и то нету.

— Тут бы надо всем под-ряд стать от ручья и ведра из рук в руки передавать, вот бы лучше этих бочек.

— Как же можно.

— А то стоят все, словно на представление пришли. Тут бы как взяться всем народом, растащить...

Андрюшка, багром подтолкнув прогоревшую крышу, едва успел отскочить.

— Здорово чешет! — крикнул он, когда от провалившейся крыши взвился столб искр и черного дыма.

— Гляди, гляди, сейчас верхняя слобода загорится, — кричали те, которые сами стояли ближе к верхней слободе, куда подбирался огонь.

— Небось. Тут бы плетень вон надо сломать. А то по плетню подойдет.

— Эх, народ, — говорили другие, — тут бы приняться всем и плетень бы этот раскидали к чортовой матери.

А в толпе метались старушки и спрашивали, нет ли у кого пасхального яйца, чтобы бросить в огонь.

Пришла богомольная Житникова и, стоя с куском какого-то полотна, крестила огонь и что-то шептала.

В самом дыму и огне что-то делали человека три, очевидно, хозяева горевших домов. Человек пять, стоявших впереди ближе к пожару, кричали им, что, по их мнению, надо было делать.

Чем больше разгоралось, тем больше было оживление на лицах. Глядевший на пожар народ, казалось, с замиранием сердца ждал, загорится еще изба или не загорится. Оживлялись даже те, у кого все сгорело, от сознания, что не одному терпеть.

Иногда какой-нибудь мужичок, у избы которого только что обрушилась сгоревшая крыша, выбегал на средину и, посмотрев из-под руки вдоль полыхавшей улицы, кричал:

— Пошло дело, расчесывай! — и бросал шапку о земь.

— Верхняя слобода, не зевай!

— Тут бы войлоками... Или бы как стать всем в ряд от ручья, да друг дружке ведра и передавать.

Вдруг угол крайней избы на верхней слободе начал быстро тлеть и вдруг она вся вспыхнула, как свечка...

— Пошла брать! — сказал кто-то.

— Что ж вы смотрели-то, черти? Около самой избы стояли.

— Что ж изделаешь-то, против судьбы не пойдешь.

— Чего доброго и верхнюю смахнет, — говорили в толпе.

— Очень просто, одну избу прихватило, теперь пойдет расчесывать.

Огонь шумел, разливаясь все шире, над деревней летали встревоженные голуби, и, налетев на огонь, испуганно поворачивали назад. И как только пламя начинало подбираться к новой избе, так кто-нибудь из зрителей, воскликнув: — Ах, ты мать честная, уж вот куда достает, — бросался вытаскивать свое добро. На средину улицы выбежал какой-то малый босиком, и весь черный от копоти и, приплясывая, выкрикивал:

— Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Дуй! Сыпь!

— Ошалел, мои матушки.

— Что ты, взбесился, что ли, у людей горе, а он выпляса задает.

— У меня у самого изба сгорела! — кричал малый, в котором узнали Андрюшку.

— Верно, верно! — послышались голоса, — последней горела.

— У него там все капиталы прихватило, — сказал Сенька, подмигнув.

Там, где час тому назад была слобода с избами, сараями, с водовозками, в тени ракит покрытыми от солнца кафтанами, теперь оставались дымящиеся развалины и ряд обгорелых черных спаленных пожаром ракит. Да торчали среди дымившихся бревен печи с видневшимися печурками, в которые, может быть, еще вчера клали сушить лапти.

В стороне, на сваленной рухляди сидели, старухи и тихо причитали, без слез скорбно глядя на догоравшие жилища.

Против них стоял праздничный народ, щелкая семячки и тупо глядя, как плачут старухи.

Пожар тихо догорал и вместе с этим пропадало оживление от мысли, что много сгорело и не одному терпеть.

Праздничный народ, насмотревшись, расходился по домам.

На пожарище оставались только хозяева, сидевшие, опустив голову на руки, да ребятишки, рывшиеся в золе, раскапывая огонь палками, пока их кто-нибудь не прогонял. Иногда подходил какой-нибудь прохожий, давший верст пять крюку, чтобы только побывать на пожаре.

— Часто горите? — спрашивал он, оглядывая пожарище.

— В третьем году горели, — отзывался кто-нибудь, взглянув на спрашивающего и опять опуская голову на руки.

— Мы чаще, — говорил он, оглядывая пожарище.

А после пожара, прицепив себе на спину холщевые сумы и взяв в руки высокую палку, шли колесить по большим и проселочным дорогам, выпрашивая милостыню на погорелое место и рассказывая, как у них загорелось, как прибежал сынишка и крикнул:

— Мамушка, горим!

А слушатели, собравшись в кружок, если рассказывалось про знакомое село, слушали о том, что они и у себя видали каждый год.

Хороший комитет.

Эпоха 1917 г.

Всяких мешков и сундуков было столько, что ими заставили все углы и проходы в вагоне.

Маленький веснушчатый солдатик едва втащил свой пятый мешок. От напряжения и возни у него оторвался сзади хлястик и шинель распустилась балахоном.

— Мобилизуетесь? — спросил его солдат в стеганой ваточной куртке с тесемочками.

— Да, с фронту, — отвечал солдатик, вытирая руки о штаны.

— Я уж по вещам вижу.

— Все руки, нечистый их возьми, оттянул.

— Не дай бог, сам возил, знаю. А по многу досталось?

— Да вот все тут. Да еще раньше домой свез почесть столько же.

— Пудов десять будет, — сказал третий, высокий солдат, свертывавший папироску, бегло взглянув на вещи. — Через комитет делили?

— Через комитет.

— О?.. Значит, хороший комитет. А в других местах едут безо всего. Смену белья дали да шинелишку с сапогами, и буде.

— Это верно, — сказал голос с полки, — у нас в полку тоже так-то, ничем не дали попользоваться; только что сами раньше ухватили, то и есть.

Все оглянулись на голос.

— Очень просто...

— Нет, наш комитет хороший, — сказал владелец мешков, — у нас почесть все — поровну. Одного сахару пришлось по пуду на человека.

— По пуду!..

— Да... а какие еще раньше ухватили, когда не знали, что дележка будет, и думали, что все в казну отойдет. Шинели по три штуки, консервы эти, уздечки, седла, ну, — словом сказать, — все, что на себе унесть можно. А что тяжелое — на месте распродали, повозки, лошадей там...

— Поровну тоже?

— А как же.

— Хороший комитет, — сказало в один голос несколько слушателей, не принимавших до того участия в разговоре, —это редкость.

— Обиды, можно сказать, не было, — сказал солдатик скромно, и, загнув руки за спину, стал прикреплять сзади хлястик, весь сморщившись от напряжения, в то время как слушатели молча смотрели на него и ждали, не скажет ли он еще чего-нибудь.

— А вот у нас комитет, так собачий был!...— сказал голос с полки, — ничего не дали. До какого паскудства дело доходило: белье, скажем, сносилось, приноси старое, тогда получишь новое.

— Последнюю рубаху дерут.

— А отчего у вас комитет собачий был? — спросил солдат в стеганой куртке,— ты не знаешь?

— Ась?..

— Отчего, говорю, комитет собачий у вас был? — повторил солдат в стеганой куртке, прибавив голоса.

— Отчего? кто ж его знает, отчего.

— То-то вот... оттого, что у самих мозги курьи. Сами же выбирали, а вышел — собачий. У нас тоже заикнулись-было: «не позволим, расхищение достояния», так на другой же день слетели, новых выбрали.

— Вот так не позволили!..

— Это тоже глядя по фронту: на одном хорошо было, а на другом беспорядок, — не хуже северного. Там дюже плохо было.

Поезд остановился у станции. Окно спустили и высунулись. Напротив стоял товарный поезд, очевидно, только что подошедший. Из отодвинутой широкой двери поспешно вылезали солдаты и спускали на платформу вещи.

— Ну, у этих — не жирно, мешочек, другой и — обчелся. Должно, с северного, — сказал солдат, куривший папиросу и, повидимому, знавший все порядки.

— С какого фронту?..—спросил солдатик с оторвавшимся хлястиком, высунувшись в окно.

— С северного...— ответил угрюмо солдат, вытаскивавший мешок из вагона.

— Ну, вот, я говорил, что с северного. На северном совсем, можно сказать, мало взяли.

— Врасплох захватили?..

— Да. Да и порядку настоящего не было. Зато западных сразу узнаешь.

— Нет, наш комитет, можно сказать, на диво, — как только стали доходить слухи, так комитет прямо вынес решение...

— То-то, вот какие понимают, по-божески, а какие норовят...

— Нет, у нас на диво, — повторил солдат с оторвавшимся хлястиком.— Я, можно сказать, всю семью одел. Сейчас все солдатами ходят: и отец, и дед. Даже баба, и та в офицерской непромокайке ходит.

— Тоже досталась?

— Нет, с товарищем поменялся. Мне-то она подходяща.

— А у нас умные головы пулеметы делить додумались. Два пулемета в полку, а они их делить, — кому — винтик, кому — что.

— Нешто это можно!..— сказало сразу несколько голосов.

Солдат в стеганой куртке на это ничего не ответил.

— У нас пулеметы продавали, а уж деньги делили,— сказал солдатик, хваливший свой комитет.

— Вот то-то, что понятие-то разное бывает. У них вон люди с разумом, а у нас все лукошки набраты. Так никто ничем и не попользовался.

— Да на винтике-то на этом далеко не уедешь.

— Что ж там...

— Ох, и дешево же эти пулеметы шли. Иные откупали, себе везут.

— И пулеметы везут?

— Мы все везем. Это вот сообчение отче-то разладилось, а то бы... Сейчас уж берешь, что нужное только.

— А вот наши раньше мобилизовались, — сказал опять голос с полки, — так чего только не навезли...

— Это с западного, что ли?

— Да, когда первые года шли.

— Тогда лучше было. И опять же западный фронт. Другого такого не было.

— Вон, какие-то едут, по вещам и не разберешь, — сказал высокий солдат, когда проезжали мимо полустанка, — не много, не мало; середка на половине.

— Откедова вы?..

— С кавказского...—ответил голос из-за окна.

— Ну, вот я уж вижу, не то и не это.

— А куда вы пулеметы продавали?— спросил молоденький солдатик с безусым лицом и в рваной шинели.

— Куда...— не глядя на спрашивавшего, недовольно проговорил солдат, хваливший свой комитет. — С фронту ты едешь или нет? — спросил он, уже прямо глядя на молодого солдатика.

— С фронту...

— По делу-то не видно, что с фронту.

Все долго молчали, подозрительно поглядывая на рваную шинель.

— Ну, а насчет денег как?

— Насчет каких?..

— Да опять же полковых?

Солдат с хлястиком некоторое время молчал.

— Деньги не тронули,— сказал он, наконец,— потому деньги — это государственное.

— Кто это вам сказал?..—быстро спросил высокий солдат.

На него все оглянулись и ждали.

— Кто сказал... комитетчики.

— Нет, это значит, что не государственное, а что как вы есть ослы, дураки, лукошки, то и везите себе винтики, а они это государственное себе повезут.

— Чтоб легче было!..

— Вот-вот.

— То все было народное, а как до денег дошли, так сразу и сделалось государственное, — заговорило несколько голосов.

— Они думают, что ежели залез в комитет, так греби один, а людям не надо.

— С винтиками обойдутся... — сказал солдат, резавший краюшку хлеба.

Солдат, хваливший свой комитет, стоял озадаченный, как бы плохо понимая, и только оглядывался во все стороны на говоривших.

— Околпачили здорово?..—сказал кто-то.

— Дуракам-то, видно, кого ни выбери, все равно, один толк, — сказал солдат в стеганой куртке, — остолопов выбрали, добро промеж пальцев пропустили, по винтикам, а на умных наскочили, — эти околпачили.

— А ведь и то чтой-то промахнулись...— сказал, наконец, солдатик, хваливший комитет. — Ну, да подожди, в третий раз поеду, тогда уж...

Но его уже никто не слушал.

— Во, во! — закричал солдат в стеганой куртке, что-то увидев в окно.

Все оглянулись и сдвинулись у окна. Из товарного поезда, стоявшего на втором пути у станции, вылезали солдаты и тащили, шатаясь от тяжести, огромные мешки.

Высокий солдат до половины высунулся в окно и крикнул:

— Откедова везете?..

— С западного...— донеслось оттуда.

— Без комитета.

— Вот это я понимаю! А то жди—хороший он попадется либо нет, а тут уж без ошибки.

Дар божий.

Эпоха 1920 г.

На буферах товарного вагона, положив на них доску, ехали три пожилых бабы.

У двух было по мешку муки. У третьей — только маленький узелок.

Сели они ночью потихоньку, утащив на станции доску и устроив из нее сиденье.

— Господи батюшка, ездила за мукой за триста верст, вытащили деньги, — сказала баба с маленьким узелком, и заплакала.

— Беда... — отозвалась соседка, старушка в белых онучах, толсто навернутых на ноги и перевитых веревочками, — мне вот господь помог. Хоть ночей не спала, глаза слипаются, а как подумаю, что муки домой везу, так сердце и прыгает. И досталось-то, можно сказать, почти даром: у одного мужчины тоже вот не хуже тебя деньги вытащили, ехать не с чем, и я купила у него за тысячу.

— Прямо дар божий с неба свалился, — сказала баба с узелком. — А я вот...

Старушка, собственница муки, сочувственно вздохнула, потом потрогала свой мешок и уселась поудобнее, упершись ногой в тарелку буфера.

— Царица небесная, матушка, что тут будешь делать, — сказала баба с узелком, — как я покажусь на глаза старику без муки? Уж он там липовый лист ест.

— Я хоть немножко, а все-таки тоже везу, — отозвалась третья, посмотрев на свой мешок, бывший вдвое меньше старухиного мешка.

— Я этот мешок-то тащила, крестилась, — сказала старушка.

— Перекрестишься. Тут уж прямо видна рука божия — такой мешок за тысячу достался.

Поезд быстро несся под уклон. Вагоны бросало из стороны в сторону. Вдруг что-то случилось... Послышался нечеловеческий крик. Что-то свалилось под колеса и исчезло.

Это у старухи соскользнула нога с буфера, и обе бабы видели только, как мелькнул ее платок и ноги в белых онучах, перевитых пенечными веревочками.

Баба с узелком с испугом выглянула из-за вагона назад и, вскрикнув, закрыла рукой глаза: на загибе пути, между рельсами, трепыхалось что-то окрашенное кровью, как трепыхается зарезанная курица.

Баба с узелком стала вне себя кричать и звать кого-то на помощь.

— Не надо, теперь уж все равно, — сказала соседка. — Переехало?..

— Переехало, матушка!.. Ужасти глянуть было, — отвечала баба с узелком, сжав щеки руками и глядя широко раскрытыми от ужаса глазами.—Трепыхается...

— Господи батюшка, вот времена-то пришли.

Некоторое время обе молчали, потрясенные случившимся.

— Раз переехало, теперь, небось, уж кончилось.

— Был человек и нету... А дома, небось, ждут, дни считают, когда старуха мучицы привезет.

— Крестилась, говорит, когда мешок-то несла, думала — дар божий, не знала, что смерть свою на плечах несет.

— О, господи, теперь целую неделю будет сниться. Как глянула я, — трепыхается она, сердешная... Может, еще жива, зря поезд не остановили...

— ...Навряд... — сказала баба с мукой. — Ежели переехало, все равно, много не выживет. Это ее бог наказал за то, что на чужой беде попользовалась. За дешевку, видишь, купила, обрадовалась.

Обе опять замолчали и сидели некоторое время неподвижно.

Потом одновременно посмотрели на оставшийся старухин мешок и, встретившись друг с другом взглядом, отвели глаза.

— О, боже мой, господи... Мороз, должно, ночью будет.

— К тому идет. В прошлом годе на покров снег выпал, — ответила баба с мукой.

Поезд приближался к станции и она хотела положить свою муку на старухин мешок.

— Что, ай сидеть неловко? дай я подвину к себе мешок.

— Нет, нет, ничего...

— Да дай подвину, а ты сядешь поближе.

— Нет, я вот так мешочек свой положу и подвинусь.

— Куда ж ты его на чистый мешок кладешь, видишь, он у тебя весь в грязи.

— А тебе-то что?.. Твоя мука, что ли?..

— А то твоя?

— Я и не говорю, что моя. Что ж зря-то пачкать!

— Ну, и молчи, коли не твоя.

И баба положила свой мешок на мешок старухи, отчего сразу стало казаться, что оба мешка принадлежат ей.

— Да куда ты, чорт, взгромоздила!.. — крикнула баба с узелком, — сними сейчас, мне сидеть неловко.

— Потише...

— Снимешь или нет?..

— А ты под него, что ли, подбираешься?..

— Я-то не подбираюсь, а вот ты, должно быть, подбираешься. Приедем на станцию, я расскажу, как ты мне кричать не велела! — кричала уже во весь голос баба с узелком. — Мешок целый везешь, так тебе мало, еще с мертвого содрать хочешь. Снимай сейчас, а то я его под вагон.

Баба с узелком сделала движение свалить мешок. Соседка вцепилась ей в волосы.

— А, ты так?!.

И баба с узелком, оставив руки противницы в своих волосах, схватила ее за горло обеими руками.

Та начала хрипеть и только, бросив волосы, одной рукой отнимала душившие ее руки, а другой судорожно прижимала к себе мешок.

Можно было помочь себе другой рукой, оторвать от горла руки, но она боялась выпустить мешок.

Поезд понесся опять под уклон. Доска, на которой сидели бабы, подпрыгивала, и под ногами, пестрея в глазах, мелькали шпалы.

Наконец, баба с мешком выпучила глаза и растопырила скрючившиеся пальцы на руках.

Баба с узелком еще некоторое время держала ее, слегка встряхивая, отчего голова противницы закидывалась назад с выпученными глазами. Потом отпустила ее горло и проворно подвинула к себе старухин мешок.

— Будешь еще?.. И вовсе под машину сброшу. Стерва!.. Свой мешок везешь, да еще за чужой цапаешься.

Баба с мукой заплакала, как-то по-детски всхлипывая и вздрагивая всем телом.

— Половинку-то хоть отсыпь, сволочь...

— Накося!.. То-то, я смотрю, — человек, может, еще жив, а она кричать не велит, под чужое добро подбиралась. Голова хорошо работает, скоро смекнула... дрянь поганая...

Баба с мукой, ничего не отвечая, продолжала горестно, жалко плакать.

Вдали за поворотом завиднелась водопроводная башня станции.

Баба с мукой утерла слезы, поморгала глазами и все еще вздрагивая от неостановившихся сухих рыданий, проговорила покорно-жалобно:

— Тет... а тет, голубочка, хоть десять фунтиков отсыпь.

Ответа не было.

— Я ведь тебя остановила, а то бы ты закричала, все равно бы отобрали муку-то, если она жива. А она жива была, ей-богу жива, только, знать, руки или ноги отрезало. Она бы все равно показала... про муку-то.

Но соседка, не отвечая, сидела прямо, как статуя, упорно глядя перед собой. И только руки ее крепко держали мешок.

Едва поезд остановился, она спрыгнула, взвалила мешок на спину и, не оглядываясь, торопливо, понесла мешок в противоположную от вокзала сторону.

Оставшаяся посмотрела на свой мешок, который был ровно вдвое меньше, и глаза ее опять жалко и часто заморгали.

Сквозь слезы, застилавшие ей глаза, она смотрела в след ушедшей и долго было видно в сумраке приближающегося ненастного вечера, как баба шла в сторону от полотна с тяжелым мешком и все время крестилась широким крестом от нежданной радости.

Флакон Борджиа.

Ольга Форш.

(Отрывок из романа «Современники»).

— Он помнит вас, Глеб Иваныч, столь заметлив, да чтоб позабыть.

— Да притворяться-то что за расчет?

— А таракан-с, Глеб Иваныч? Таракан, особливо черный, чуть не по нем, сейчас — хлоп, и в мертвом виде-с! Вот и он с вами: моя, дескать, хата с краю, украинская наша замашка.

Багрецов в упор глянул на Пашку-химика, встретился, как всегда, не с глазами его, убежавшими куда-то в кусты, а с бровями, черными и вихлявыми, как пиявки, и сказал:

— Ты-то сам с каких пор украинец? Помнится, был поляк, потом чех. Вральман ты, Пашка, неизвестного возникновения и темной профессии.

— Шехеразадой сами прозвали-с,—хихикнул Пашка.—А ведь привилось прозвище, Глеб Иваныч, даже овербековцы с горы, на што постники и те кличут: Шехе-ра-зада! Что же, Глеб Иваныч, выходит у меня с князем тьмы один формуляр-с: неизвестность возникновения и темнота профессии. Однако сей образ не плохо воспет... сам лорд Байрон, или наш Лермонтов, из-за которого, Глеб Иваныч, весь разброд вашей фортуны пошел, вплоть до «флакона Борджиа»...

Багрецов дрогнул, побледнел, на миг замер и так врылся в землю, словно ему следующий шаг был бы в пропасть. Пашка остро сверкнул очень умными глазами, но тут же потушил их блеск и, будто не заметив волнения Багрецова, обыкновеннейшим тоном сказал:

— Сущие пустяки, Глеб Иваныч, сплошной бред в вас влюбленной приезжей барыньки. Старинная вам знакомая, живет инкогнито у Араксиных. Я разговорчик слыхал, ведь при мне, что при лошади—не стесняются!—Багрецов оправился, даже улыбнулся, взял Пашку под руку, пошел с ним в глубь широкой аллеи каштанов.

— Расскажи про инкогнито,—уронил он небрежно.

— Ручку освободите, Глеб Иваныч, в ногу с вами нам все равно не попасть, ведь я поменьше калибром-с, хе-хе...

Пашка нагло глянул на спутника. Веки Багрецова были опущены, лицо приняло вид обычного бесстрастия. Он, видимо, сдерживался.

— В декабре, как вы знаете, будет в Рим высочайший приезд. Так вот из свиты его величества заблаговременно уже приехала жена одного адъютанта, вам до брака знакомая-с, фамилии не разобрал, но подруга княжны Араксиной. С ней при мне и совет был по случаю маскарадных костюмов. Я, говорит, хочу нарядиться флаконом, с надписью «Флакон Борджиа» — и пусть все с Багрецова глаз не спускают. Держу пари, вздрогнет он и побледнеет, как смерть. Ну, тогда я кое-что про него расскажу... Женская глупость, Глеб Иваныч, не иное. Вот я вам рассказал, а вы решительно ничего-с, разве что под ручку взяли, впервые меня удостоили-с, за промежуток не малых годков-с, хе, хе.

Багрецов в бешенстве бросился к Пашке, схватил его за плечи, но тут же осекся, выпустил, молча сел на скамью.

— Вы ошиблись, Глеб Иваныч,—сказал без шутовства Пашка,—я вам вовсе не враг.

Однако он не сел рядом, а продолжал речь, стоя у дерева:

— И последний разбойник, Глеб Иваныч, имеет свои увлечения. А я умнее вас никого не встречал, уж не отторгайте-с. А беспокойство от женской дури теперь вам какое же? Благодаря мне, о главной козни вам все известно-с, так что в неудобное положение вы не станете. Остается инкогнито разъяснить — это тоже обдумано-с. С той недели княжна Араксина с этой новой своей другиней, в развалине форума рисовать собирается, вы же утречком сходите и накроете. Нет, Глеб Иваныч, я вам друг и союзник всегда-с.

— Довольно об ерунде, — оборвал Багрецов. — Мне до Гоголя дело, Гоголь меня рассердил, а ты сплетнями... Да что ты стоишь-то, сядь рядом, ведь не убью.

— Помилуйте, Глеб Иваныч, — заегозил Пашка, — я довольно сам понимаю, что несоизмерим интерес ваш к персонажу, так сказать, отечественно-гениальному, или к некоей жене адъютанта, хотя бы вам с детства знакомой...

— Мне помнится, — сказал Багрецов, — тогда в именинный обед старика Аксакова в погодинском саду не было?

— Вот память-то! Истинно, не было. Старик заболел флюсом, прислал одного Константина. А ведь правда, Глеб Иваныч, сколько б народу ни нашло, Аксаковы, как шмели, между пчел всех слышней? Не любили вы их!

— Старику я завидовал, — сказал Багрецов, — он был моложе нас молодых, полон здоровья и особой, коровьей силы, от скотного, что ли, двора? Знай удит свою рыбу и набирается...

— А с Гоголем, Глеб Иваныч, ведь совершенно как в басне «Пустынник и медведь»! Кто голосистей кричал — «у написавшего «Ревизора» нервы нам не чета, его общим судом не судить»... А сам-то дубиною—хвать! Как же-с, я своими глазами видал, как он Гоголя, совершенно больного, убегавшего от рева публики, тащил опять на эстраду, и корил, и пе-

нял — все любя-с. А едва друзья разгласили о некоей его хлестаковщинке с чинопроизводством...

— Ты зарапортовался,— осадил Багрецов.

— И вот нет, Глеб Иваныч, ей-ей, после выпуска «Вечеров», проездом через Москву, Гоголь на заставе прописался не коллежским регистратором, а чином много повыше-с, коллежским ассесором-с! Так и в «Московских Ведомостях» я самолично прочел. И отметил-с.

— Да не для себя же, дурак, для ослов, столь им гениально воссозданных...

— Как знать, Глеб Иваныч. Гений — тот же человек, хоть диапазона-с несоизмеримого. Впрочем, я держусь мнения: кто всему знает цену, тот и сам может делать все-с! А вы как, Глеб Иваныч?

И не ожидая ответа, Шехерезада встал.

— Мне некогда, Глеб Иваныч, делишко-с. Разрешите уйти. Ужò после обеда, в остерии Лепре, я весь ваш.

— Иди себе,—махнул рукой Багрецов,—и, проводив глазами егозливый облик Пашки в нелепом халате отечественного происхождения, глубоко задумавшись, остался сидеть на скамье.

Да, тому десять лет именинный обед в погодинском саду был Багрецову особенно памятен. В тот день, игрою судьбы, дан был толчок его воле на так называемое «черное дело».

В тот день много пили, ели, говорили тосты. Гоголь был чопорно натянут, казалось, он в какой-то собственной пьесе играет «хозяина дома». И нарочно волнуется, все ли в порядке, все ли, как «у людей».

После обеда, в саду, он сам варил жженку, и когда легкое пламя охватило сахар, сказал, объединяя синий тон огня с синевою жандармских мундиров:

— А ну-те-ка, принимайте в желудок своего Бенкендорфа!

Гоголь сам подал бокал одному гусарскому офицеру, который, если бы не форма, заметная среди большинства штатских, не показался бы Багрецову ничем замечательным. Он был безмолвен и не искал выделиться. И немало были все удивлены, попозднее, в саду, под сенью лип, когда большинство гостей разбрелось по аллеям, и Гоголь, обратясь к этому бледноватому офицеру, сказал вдруг с необыкновенной лаской:

— А ну-те, Михаил Юрьевич, скажите-ка нам из «Мцырей», народу поредело.

Да, офицер это был Лермонтов. Он тотчас, просто и естественно, не заставляя просить себя, вышел перед всеми и прислонился к стволу дерева. Оглядывая всех и никого не видя, вдруг вспыхнувшими, огромными глазами, он начал отрывисто и глухо, будто невольную жалобу:

—. Я мало жил, и жил в плену.

Багрецов вспомнил, как пронзительно и внезапно полюбил его. Вспомнил, как Лермонтов открылся ему в необычайной нежности и простоте, как понял он, что все грубое и плохое, о чем кругом про него говорили, была

лишь защита человека, и того чем все, для возможности жить между всеми.

Проскрипел, как тогда, прямо в ухо, голос Пашки-химика, он пришел тоже с группой украинцев:

— Этот Лермонт невиннее всех великих людей-с, недаром и демон его, как девушка, верует в бога!

А с другой стороны рядом Гоголь...

Гоголь стоял, руки в карманы, больше сгорбившись, чем обычно, длинные волосы его, как вчера, упали прямою стеною, срезав навкось к подбородку круглое лицо, отчего нос вытянулся еще непомернее и заострился. Он как бы слушал еще некоторое время после того как Лермонтов кончил, и, не дожидаясь оценки, укрылся в глубь сада.

Волнение Багрецова было чрезмерно. Он получил последний, не достававший его воле толчок. На что́ именно — он еще не знал. Одно он почувствовал: совершу.

Изменяя обычной застенчивости, он, безмолвный юноша, неудержимо потянулся к Гоголю, как к старшему, как к учителю, как к отцу. Вдруг поверил, что он все угадает, придет на помощь.

Багрецов тронул Гоголя дрожащими пальцами за руку, и сказал:

— Николай Васильевич... эти стихи, как порох! Ведь они могут взорвать, как же мне быть?

Он не кончил. Гоголь обернулся весь, кругловатым лицом. Багрецов навеки запомнил лицо. Необыкновенное. В профиль выраженное носом без меры, оно, склонившись в улыбке, с тончайшим лукавством приподнявши подстриженный ус над полноватой губой, вдруг все засияло в глазах. Небольшие острые, они прощупали всю подноготную, на миг вобрали в себя, и тут же сплюнули, как плюют шелуху подсолнуха.

— А ты себе, хлопче, взорвись! — хватил Гоголь и припечатал по-украински крепчайшей печатью. Кругом так и грохнули смехом.

Багрецов и сейчас, через десять лет, покраснел. Он вспомнил, как вдруг по-детски, совсем глупо вспыхнув, сказал:

— Это грех, это грех...

Чуть не плача, он в тот же миг кинулся прочь из сада к себе на Васильевский. Пашка - химик теперь божится, будто Гоголь тогда потускнел и раза два с тревогой произнес:

— Ишь какой... недотрога.

После этого Николина дня неделю тому назад встретились здесь, в Риме, в остерии Лепре. Александр Иванов, старый одноклассник, назвал Гоголю Багрецова. Гоголь глянул сонно, пренебрежительно сунул руку, мертвую, без рукопожатия.

Багрецов встал со скамьи. Пока он тут сидел то в отупении всех чувств, то переживая вновь бывшее, быстрые итальянские сумерки сменились ночью. На синее небо томительно вышла луна, застрекотали цикады. Из-за акведука Клавдия мужской голос, аккомпанируя себе на лютне, то

выводил арию, то срывался, разражаясь по-итальянски целым фонтаном отборнейшей ругани.

Багрецов сказал maestro di cosa не пускать к нему никого, и, пройдя в свою комнату, на ключ запер дверь, спустил на окна зеленые жалюзи. Потом он отпер дорожную шкатулку и отобрал из нее одну из переплетенных тетрадок.

Как просвещенный современник Евгения Онегина и Печорина, Багрецов, подобно «герою нашего времени», для беседы с собою исписывал тонким почерком не одну десть бумаги.

Найдя место, в подробностях воскрешавшее то, что сегодня забыть уже не было силы, он стал читать:

— «...Я ехал полями и перелесками нашей губернии, безлюбовно узнавая родные места; я ненавидел свое детство. Чудовищный эгоизм отца пожрал мою юность, разбил нервы, изуродовал навсегда, сделав неспособным к действительной жизни.

«Прошло много лет, как я отсюда выехал в Петербургскую Академию, но при виде белого, в колоннах, хотыновского дома, встало предо мной все, что было. Бессонные ночи, зеркальный паркет залы с двойным светом, хождение под руку с отцом до восхода. Встали воскрешенные бессонницей, обилием выпитых рюмок призраки войн, походов, путешествий по Европе, лекций по истории, конским заводам, игре в рулетку, все вперемежку, как придется.

«Эти путешествия безумного старика с подростком продолжались до тех пор, пока легко розовело и расступалось небо, чтобы принять юное солнце, пока не появлялся в строгом фраке, с почтительным зовом лакей Илья:

«— Пожалуйте в ванную, Иван Никитыч!

«Отец не сек людей, не продавал в розницу, даже не терпел, чтобы его звали барином, но все это не от гуманности, а лишь от брезгливости умного человека с европейским развитием. По своему непомерно строптивому нраву он себе испортил большую карьеру, заперся в деревне, ушел в книги.

«Восхищенный моей быстрой сметкой, он облюбовал меня для ночных разговоров. Сначала мне это было лестно, но вскоре я изнемогал уж под бременем яростных впечатлений и сложнейших взаимоотношений мира. Впрочем, я кончил тем, что втянулся, отравившись безграничностью воображения.

«Больше того, фантазия, развитая за счет других сил души, навсегда меня сделала чувствительным только к острому и необычному.

«Днем, как и отец, я спал до сумерок, потом шли занятия, потом бессонная ночь. Так перевернуто, неслыханно для здорового деревенского быта прошла моя ранняя юность. Вероятно, к годам 20-ти я бы просто спился, не вмешайся тут моя тетка, такая же крутая, как батюшка. Тетка, узнав о моих способностях, поместила меня своекоштным в Академию в Петербург. По тогдашнему времени это было просто чудачество: в художники шли кантонисты, мещане, в лучшем случае сыновья живописцев. В нашем классе я

был один потомственный дворянин. Отец и тут рад был случаю поступить не как все...».

Багрецов бегло просмотрел унылый ряд лет, где полуневежественные учителя отличались один от другого лишь тем, что у каждого была своя манера драться, где ученики, полуголодные, одичалые, ложились в холодные дортуары с чадной лампой, чтобы на рассвете, вскочив по звонку, начать новый день, подобный вчерашнему.

— «... В эти опасные годы пробуждающегося сознания один замечательный человек, пейзажист Рабус, имел для меня решающее значение. Квартира его представляла из себя целый музей. Он интересовался всеми отраслями знания: прекрасная библиотека, модели военных кораблей, обсерваторийка, устроенная на крыше собственного дома. И все это кроме живописи, которой он предан был совершенно. Да, Рабус дал мне впервые постичь, насколько наслаждения умственные богаче всех прочих. Впрочем... это познание пошло мне, пожалуй, не к добру.

«Рабус необыкновенно пленил меня. В серой академической жизни это был первый человек, не узкий специалист, а широкой европейской хватки. И я поставил себе задачу стать таким же. Это для начала... дальнейший мой план был иной. Уже давно я не жил только живописью, моя мысль работала. Меня увлекала история иных, свободных народов; мне была невыносима забитость понятий и чувств, в которых нас держали насильственно.

«Но средств для широкого образования у меня не было. А для того, чтобы получить наивысший здесь жребий—заграничную поездку—мне надлежало, задушив все прочие мысли, работать на конкурс по 12 часов в сутки, подделываясь под вкусы начальствующих.

«Необыкновенные обстоятельства пришли на помощь моей жажде широкого знания. В последнем классе я получил от отца эстафету и, теряясь в догадках, поехал после многих лет домой.

«Я нашел отца очень постаревшим. Вокруг были незнакомые мне приживальщики из мелкопоместных дворян, экономка из немок. Родных детей никого: почему-то отец вызвал только меня.

«Встретил с ласкою необычной, увел к себе в кабинет, весь день все расспрашивал, как бы экзаменовал.

«Поначалу я отвечал нахохлившись, готовый к отпору, но отец проявил столько просвещенного интереса по разным вопросам, что я, вдруг утратив чувство отчуждения, стал сверкать смелыми пародоксами, предвосхищая открытия в науке, создавая новую живописную школу.

«Как скоро пришлось мне раскаяться в моей искренности!

«Вечером старик призвал меня в свой кабинет, закрыл двери, сказал: — экзаменом, который я тебе произвел, я доволен весьма. Вижу, что задуманное мною для твоей дальнейшей судьбы, задумано с умом и подлежит выполнению. Слушай: имений своих я, как ты знаешь, не прибавил, а значительно поспустил. Детей и внуков у меня до полсотни, дураков не обобраться, лишь у тебя и характер и ум. Приятно поражен и расположением твоим

к европейскому ходу жизни. А посему вот: наследства я тебя лишаю вовсе, в пользу тех, дураков...

«Отец остановился и, любопытствуя, глядел на меня. Я молчал, полагая, что старик заговаривается или ломает каприз.

«Он угадал.

«— Я в своем уме и преострейшем, что тебе сейчас докажу.

«Он отпер ящик и по толстой слоновой бумаге стал читать длиннейший реестр движимого и недвижимого.

«— Ну, это до завтра не кончить! Словом, на твой век довольно. Это не что иное, как приданое твоей будущей жены, княжны Котовой.

«Я, впадая в тон затеянной отцом с неизвестной мне целью интриги, сказал небрежно:

«— Кто же это без моего ведома меня сосватал?

«— Я сам,— сказал отец.— Невесту я примерял как бы для себя, вообразив себя в твоих летах и в твоем положении. Мы ведь необыкновенно с тобой сходствуем. Если не пожелаешь противопоставить ложного самолюбия, не замедлишь во всем согласиться. Вот слушай, держа в руках этот портрет.

«Отец передал мне дагерротип, изображавший молодую женщину, худощавую, с чертами резковатыми, с черными глазами, с печатью грусти на всем гибком ее существе.

«— Сплошное разбитое сердце,— сказал я,—и это героиня?

«— Она грустила после измены недавнего жениха, который предпочел ей еще богатейшую. Но дело было уже год назад, сейчас снова весна. Жизнь вступает в свои права. По гордости княжна любит утверждать, что личное счастье ее кончено, что теперь она выйдет замуж лишь из самоотвержения. Преотличная женская разновидность и к тому же не болтлива! Сейчас у нее особая склонность к исправлению павших: возится с ворами и пьяницами. Я этот пыл ее верно учел; на приманку клюнет... Она тебя старше годков на пять, что совершенная ерунда. В швейцарских кантонах испокон века каждая жена старше своего часовых дел мастера, что не мешает Швейцарии, наравне с коровами, славиться отменной семейственностью. Тебе ж такая жена—просто клад для качеств обратных. Ты в меня—посуди, каков будешь семьянин? Полагаю, для тебя уже не секрет, что так называемая любовь не для умных людей. Умному не забыть ни из-за чьих милых глазок. Один человек рождается, один помирает. Что же до мгновенных вспышек страстей, воображения, сердечного чувства и просто каприза или похоти, то удобнее всего производить их при постоянной жене такого именно типа, как княжна. В придачу повторяю: родовита, богата и — важнейшее — малословна.

«— Но она чего ради пойдет за меня?

«Отец хитро улыбнулся.

«— Я изобразил ей тебя совершеннейшим негодяем с проблеском сердечного чувства, которое, будучи отогрето умелой рукой, даст прекраснейший урожай. Натурально, княжна возгорелась спасать. Дагерротип

твой я ей показал невзначай. О том, что ты недурен, тебе нечего разъяснять. У княжны оскорбленное самолюбие, здесь глушь.

«— Словом, вы затеяли упражнение произвольного спаривания? — сказал я не без яду.

«— Если бы к этому способу спаривать юное поколение прибегали с умом их родные, человечество было бы много счастливее. Скрытая жизнь страстей — бездна, кишащая чудищами, из коих каждому легко тебя проглотить. Не удобнее ли проделывать сии эволюции, держась за канат, который, в случае чего, всегда может вытянуть в безопасность.

«Я расхохотался. Мы с отцом обнялись...

«Отец сказал.

«— Математические принципы и в жизни самые достоверные, на них надлежит строить историю не только отдельного рода, но всего человечества. Если две величины порознь равны третьей...

«Каким способом установлена была связь между этой формулой и необходимостью моей женитьбы на Котовой я уже не слыхал.

«Раззадоренный дедом, давно соблазненный тончайшей отравой опасных для юности чар развратников XVIII века из подобранной отцом библиотеки, я уже торопился к себе, чтобы обдумать план действий, речи, костюм.

«Ведь кроме занятной игры предо мной раскрывалась с женитьбой свободная жизнь, поездка в Италию, словом, все то, о чем злобно мечталось, как о недоступном.

«Одевшись к лицу, но небрежно, с миной поэтического негодяя, я сошел вниз к обеду, где представлен отцом был княжне, приехавшей вместе с теткой, прескучной старухой.

«Княжна оглядывала меня горящими от любопытства взорами, наконец, первая завела разговор о мастерах старой школы. При отъезде я был приглашен к ней на завтра в имение.

«Начатое по программе сближение пошло вдруг само собою. Я не был влюблен, но Марья Юрьевна ко мне действительно подходила, обладая характером нежным, живущим в собственных мыслях. Очень скоро я мог быть с ней даже вполне откровенен. В расчете избавить себя от грядущих сцен ревности, я готовил ее к своей непригодности для прочной семейственной жизни, на что она очень мило сказала.

«— Умные жены ревнуют ведь молча.

«Скоро отец справил свадьбу со всею возможною в деревне роскошью. Мы уехали в Петербург.

«Академию я бросил. Прекрасно обставив квартиру, пустился жадно расширять свои знания, чем еще больше пленил свою жену, отчаянную домоседку.

«Помню в Академии, когда я сказал Александру Иванову о перемене своего положения, особенно о том, что я женюсь — он изменился в лице и с испугом спросил:

«— А как же с заграничной поездкой? Ведь женитьба тебя по закону лишает...

«Я снисходительно улыбнулся и как разбогатевший лакей отпустил:

«— Я теперь довольно богат, чтобы ехать в Италию на собственный

«Иванов побледнел еще больше, так что я подхватил его, боясь, что он упадет. Как ни знал я его подверженным сильному чувству дружбы, подобное волнение приписать лишь одной перемене в моей личной судьбе я не мог.

«В одну из суббот у Рабуса я понял все.

«Когда вместе с отцом, музыкантом Гюльпеном, вошла его дочь, прелестное легкое существо, Иванов так вспыхнул, что сомнений быть не могло. Он влюблен. Больше того: я тут же узнал от товарищей, что он хочет на ней жениться, но Академия лишала женатых поездки, и перед ним встал роковой выбор: искусство или личное счастье? Италия, дивные мастера, совершенство в развитии дарования или...

«Пример был перед глазами: родной отец. Талантливый, нежный, запуганный вечной зависимостью, ради семьи забивающий педагогикой свободное творчество. Весь этот год Иванов колебался и страдал до нервического расстройства. Однако при твердой поддержке Рабуса он отказался от брака с дочерью Гюльпена и всего себя отдал безвозвратно искусству.

«В половине июня 30-го года мы его, наконец, проводили в заграничную поездку.

«— До скорой встречи, счастливец,— сказал он мне, намекая на то, что я против него вдвойне взыскан фортуной и прибавил, поникнув.

«— О, горе художнику, рожденному нищим. Нищета нас лишает свободы.

«Да, я знал это слишком хорошо, когда шел на сделку, предложенную отцом. И первой наградой этой, мною добытой свободы будет поездка в Италию. Мы с женой порешили через год. Но в жизни не то, что в мечтах.

«Через полгода после свадьбы умер внезапно отец. По завещанию оказалось, как он мне и сказал, что я, женившись на богатой, им исключен из числа сонаследников. Отец оставил мне лишь свою библиотеку развратников XVIII века.

«В этот день, как выражаются повествователи, появилась первая черная туча, предвозвестница жестокой грозы на моем супружеском горизонте.

«Узнав о завещании отца, моя благоразумная жена улыбнулась лукаво и произнесла:

«— А ведь при всем уме, твой отец и не понял, что я его перехитрила. Сейчас, когда мы так счастливы, я раскрою тебе свою тайну. Я отлично видела, как отец твой готовил меня тебе в жены. Я любовалась его стариковскими прехитрыми маневрами и с охотой пошла ему навстречу, увидав твой портрет. Но признаться тебе, я тебя не любила. Горько оскорбленная в своем поруганном юном чувстве, я к браку влеклась лишь с потребностью материнства. Уверившись в твоих качествах, я остановила на тебе свой выбор, за корысть я тебя не корю. Мы квиты. Мы взаимно, по разным соображениям, но сыграли одну и ту же роль. Тебе выгодной показалась такая жена, как я, ты мне подошел, как отец моих грядущих детей.

Но теперь, когда первенец наш должен явиться, я тебя люблю, милый друг, от души.

«Я сидел за большим рисунком, скрывавшим лицо и помогшим скрыть мое бешенство. Жена, растроганная своей длинной тирадой, оставила работу, поцеловала меня, охватив руками мне голову.

«Я остался сидеть как окаменелый. Ничего особенного не было сказано, а предо мною разверзлась бездна, в которую, знал я, неминуемо полечу. Мы с отцом думали, что распоряжаемся наивной женщиной, а она, в свою очередь, распорядилась мною, определив меня себе в производители.

«Вдруг я вспыхнул ненавистью к ней и к этому ни на что мне не нужному первенцу.

«Я был слишком молод, к тому же я предчувствовал и дальнейшее... в чем не замедлил удостовериться на другой же день.

«В такой же вечерний час, когда жена в маленьком будуаре шила что-то из детского приданого, я ей сказал:

«— А ведь, пожалуй, пора нам подумать о подыскании кормилицы, я надеюсь, появление ребенка не задержит назначенный отъезд наш в Италию?

«— Мой милый, — чуть хмурясь, сказала жена, — я посторонней женщине свое сокровище не отдам, поездка же будет зависеть от здоровья ребенка. — И, пытаясь смягчить слова улыбкой, с отвратительным мне доктринерством, примолвила: — привыкай к мысли, что детям в нашей семье принадлежать будет первое место.

«Она говорила как человек, имеющий в своих руках всю власть, говорит другому, зависящему от него всецело.

«— Я не люблю отступать от задуманного. Надо привести в ясность урожай с твоей Пустоши и, если окажется недохват, поторопиться с продажей, чтобы нам хватило жить на два дома.

«Жена встала. Со свойственным ей тактом, уже не подходя ко мне, а направляя шаг к двери, остановилась.

«— Милый мой, раз навсегда... я не желаю что-либо продавать, считая своим долгом передать в наш род все угодья в том виде, как их получила сама.

«Она очень естественно вышла. Мое бешенство не имело границ. Лишенный своей части в наследстве отца, я был теперь нищим. Между тем, в расчете на средства, я порвал с Академией, я избаловался роскошью. И что же мне предстояло теперь? Смотреть из рук женщины, в награду за то, что я, как в экономиях жеребцы, выбран ей на завод. Ее упоминанием о детях уже во множественном числе, гнусно подчеркивалось эта моя роль специального производителя.

«Характер у Марьи Юрьевны оказался твердый, с дьявольской выдержкой. Все женственно-милое, что раньше она выдвигала приманкой, с беременностью отошло. Теперь предо мною стоял равносильный боец, с тем преимуществом, что он был вооружен, а я нет. Мне оставалось превзойти ее хитростью, на что я и пошел. Еще сам хорошенько не зная конечной своей цели,

усилием воли скрывая злобу, я необыкновенным вниманием к ее положению восстановил поколебленное-было доверие.

«Но вот жена моя заболела, домашний врач настоял на осмотре ее знаменитостью. Тот объявил, что роды жене моей будут смертельны, вследствие каких-то больших уклонений, и предложил произвести их искусственно и преждевременно. Жена, охваченная психозом материнства, об операции не хотела и слышать, где наверное спасалась только она, тем более, что другая знаменитость города, враждебная первой, сумела убедить ее в благоприятном исходе, с сохранением жизни доношенному ребенку.

«Почти без усилий мне удалось расположить жену к себе в такой мере, что она написала духо̀вное завещание, где все имущество оставляла ребенку, делая меня его пожизненным опекуном. Через несколько дней, в минуту особенно горьких предчувствий, она прибавила и роковую последнюю строчку: — в случае смерти ребенка, наследником всего движимого и недвижимого является мой муж...

«Как это ни удивительно, мысль добыть яд зародилась у меня впервые тогда, в Николин день, на именинах у Гоголя.

«Тот заряд энергии, тот зов к свободе, который большой поэт заключил в алмазный стих «Мцыри», коснувшись меня, сосуда грубейшего, лишенного музыкального строя души, явился толчком лишь на то, чтобы разрядиться в преступлении.

Я мало жил, и жил в плену...

«До боли острая, стрелой пронзающая жажда свободы, до потемнения в глазах и мозгу... О, почему Гоголь не понял меня!

«Но он не понял. И вот одно имя, как вспыхнувшие тогда в темноте именинные шкалики, одно имя огнем, в черном мраке души:

«— Амичис ди Гамма!

«Я боролся два дня, на третий пошел. Амичис был просто Андрей Иванович Гамов, брат одного нашего ученика, влюбленный в эпоху возрождения. Он был фармацевт, занимался химией и алхимией, имел слабость к сбиранию ядов. Я заставил его показать себе коллекцию им добытых. Наме́тив подходящий, я решил принести схожий по виду и цвету флакон, подменить.

«Для поддержания в себе того разрывающего душу чувства свободы, без которого, раз вкусив его, я не хотел больше жить — мне стал нужен яд. Пока без определенной цели, на всякий случай. Конечно, виной тому были книги... Да, книги были моя жизнь и погибель. Роман Шодерло-де-Ланкло «Les liaisons dangereuses», дьявольски подсунутый мне отцом, в его увлечении психологическим экспериментом оказался для меня мастерским развратителем. Ведь первая, ударившая по сердцу книга, что̀ первая любовь. Это призма, через которую впоследствии преломится бессознательно все мироощущение человека. В этом романе предвосхищены и «Евгений Онегин», и «Герой нашего времени». Де-Вальмон взят автором заостреннее и с тем окончательным цинизмом, который про себя держит каждый свободный ум, не знающий иных авторитетов, кроме собственной воли...

«Однако я обладал немалой силой внушения: Амичис, подстрекаемый моими хвалами, показал мне заветнейшие коллекции, особливо гордясь, некиим флаконом... «флаконом Борджиа», без следа и без боли усыпляющим навсегда.

«Мне блестяще удалось подменить эту унику. Я был, как хороший актер в ответственной роли, и все же достаточно трезв, чтобы отмечать свои настроения. Меня, помню, очень тогда поразило, что чрезмерное напряжение, чем бы ни было оно вызвано, дает одинаковое сознание мощи и радости. Тогда же я сделал, быть может, опрометчивый вывод о прирожденной аморальности человека.

«У Лермонтова, Пушкина, Шодерло-де-Ланкло, герой богат, образован, и убивает других: пулей, игрой, насмешливым словом, так себе с жиру. И все же читатель подобным героем любуется. Почему же, думалось мне, почему, усвоив себе всю психологию этого образа, не убить мне из жажды свободы и просвещения? Я нашел, что моя цель благороднее. К тому же, при моем напряженном вкусе к благам интеллектуальным, все, что только носит печать жизни, инстинкта и рода, у меня, как у брамина вид парии, вызывает одну лишь брезгливую отчужденность. Моя жена донашивала последний месяц. С лица ее не сходило выражение самодовольства. Она была окончательно уверена в благополучном конце. Приданое шилось двумя партиями: на случай рождения девочки с розовым бантом, и мальчика — с голубым.

«Поглощенная своим материнством, жена как человека перестала окончательно меня замечать. Она требовала только восторгов при виде пеленок, свивальников и каких-то гнусных подгузников.

«Что касается похищенного мною «флакона Борджиа», я признаться не слишком-то доверял, что он усыпит навсегда и без муки, так что, когда я его всыпал жене, мое воображение не было поражено неизбежностью смерти, и «макбетовский трепет» мне не пришлось испытать. Я почти мальчишески играл в «чет и нечет». Впрочем, как холодный и умный герой, я на всякий случай наметил себе в бессознательные союзники доктора Радина, очень слабого, неуверенного в себе человека, в определении болезни поддававшегося диагнозу о себе самого больного и близких ему.

«Неделю тому назад, когда у меня уже был в кармане яд Амичиса, я зазвал к себе доктора Радина и долго наставлял его относительно слабого сердца моей жены, ссылался на определение знаменитостей, приводил и свои опасения, основанные на внезапной гибели от разрыва сердца ее сестры.

«Радин удостоверил при некоторых знакомых все, чего мне хотелось. Прописал порошки и обещал заходить ежедневно. Давая порошки доктора Радина, я к ним прибавил и свой.

«На утро жена моя была мертва.

«Радин, видя мое сильное расстройство, растерянно, как виновный, меня успокаивал. Родня жены была далеко. Подозрений я не возбудил. Жену похоронили. Впрочем, нет; подозрения были у одного существа. У ребенка двенадцати лет. Это была сестра моей жены, которая жила по сиротству вместе с нами.

«Галина, или, как уменьшительно ее звали, Гуль, была неприятная девочка. Смуглая, с румянцем, вдруг загоравшимся, обличавшим потаенную страстность, Гуль каким-то угрюмым безмолвным добавлением входила в нашу жизнь. Порой мне казалось, что она очень несчастна. Но я был слишком занят собой и не мог войти в жизнь существа, которое меня к себе ничем не влекло. Совсем напротив: меня крайне раздражали ее недетские, следившие за мною, взоры. Нередко я перехватывал ее, выбегавшую из моей комнаты.

«В тот день как я всыпал жене содержимое «флакона Борджиа», я, вернувшись тотчас к себе, стал искать пустой пузырек, только что бывший в моих руках. Пузырька не оказалось.

«Вне себя от ужаса я кинулся с допросами к Гуль. Добиться признания ни страхом, ни лаской мне не удалось. Дня через два, потрясенная смертью сестры и жестокостью моих тайных допросов, она заболела нервной болезнью. По выздоровлении я заметил, что несчастная девочка безумно в меня влюблена, и успокоился на естественном предположении, что пустой «флакон Борджиа» был взят ею на память и давно, быть может, затерян. Во всяком случае, опасностью разоблачения эта выходка мне не грозила.

«Прошло полгода. Мое положение огорченного, от всех удалившегося мужа, было упрочено. Скоро я сам отвез Гуль в пансион, пересмотрев на всякий случай очень тщательно все ее вещи. Среди них флакона не было...»

Багрецов закрыл тетрадь, спрятал ее в двойное дно шкатулки. Шкатулку запер дважды ключом и снес в шкаф.

Конечно, Багрецов угадал, едва Пашка-химик доплел свою сплетню, что женщина, замышлявшая маскарадный костюм — «флакон Борджиа»— была Гуль.

Девона̀.

Елена Зарт.

Прозвище у него было «девона́» [1]).

Все так и звали его — «девона́-Иссо».

Дурачок-Иссо.

Базар торгует раз в неделю, по четвергам. Но у пустой лавки Худо-Верди на рассвете всегда толпится народ: это поденщики, ждущие работы.

Они приходят со своими инструментами — тихменями, пилами, топорами. Дурачок Иссо пашет и сеет. Поэтому никаких инструментов у него с собой нет.

Толпа поденщиков одета в лохмотья и в темные клетчатые чалмы. Кто же на такую работу будет надевать белую чалму, новый халат, чистую рубашку и чапон?

Наем рабочих начинается еще до восхода солнца. Гул и крики разносятся далеко по узким улицам, прилегающим к базару. Бранятся, торгуются, спорят.

Иссо всегда стоит в стороне. Иссо — «девона». Он идет, не торгуясь, за ту цену, которую ему дадут, — и потому спокоен, что не останется без работы.

Когда стихнут крики и опустеет около лавки Худо-Верди, к Иссо подойдет какой-нибудь степенный декханин в цветном халате и белой чалме. Поздоровается и скажет:

— На рисовое поле... Три танги [2]).

Иссо молча поворачивается и идет на работу.

Иссо не торгуется. Не требует, чтобы ему вечером, после работы, обязательно дали плов. Все знают, что он — девона — и поэтому, когда в полдень жара делается огненной, и рабочие уходят на обед, Иссо садится под столетний тут есть лепешку с сладкими тутовыми ягодами.

Вечером он получает свои три танги. Бережно заворачивает их в пояс и дома отдает своей жене Ховорой. Если у ворот низенькой глиняной лачуги встретит его дочь Мааза — он деньги непременно отдаст ей, скажет:

---

[1]) Сумасшедший, дурачок.

[2]) Танга — 15 копеек.

— Дарауф... дарауф... дарауф [1])...

И подтолкнет в спину.

Она зажмет серебряные монеты в грязную ладошку, ковыляя босыми ногами, бежит во двор и пронзительно кричит:

— Бюви [2])...

Иногда Иссо приносит домой недоеденную лепешку. Тогда он берет Маазам на руки, говорит:

— Хур... хур [3])...

Улыбается широким ртом. Заглядывает в глаза и спрашивает:

— Бамаза? А? Джидо бамаза? [4])

— -

Конец мая самый разгар работ на рисовых полях.

Иссо вот уже несколько лет пашет и сеет рис у богатого декханина Нажбедина.

На рассвете гонит он из кишлака пару быков, нехотя передвигающих ноги по растрескавшейся от жары глиняной дороге.

Рисовые поля залиты водой. Небольшие квадраты, как озера, обведенные валом, спускаются террасами к берегу Зеравшана.

Громадное бревно с перекладиной и тупым чугунным наконечником, которым пашут, возвышается на дороге у края поля, — на ночь его не берут домой.

Иссо подводит быков под ярмо. Закручивает штаны выше колен. Снимает рубашку и спускается в воду. Он вязнет в жидкой грязи до колен. Быки едва вытаскивают ноги из липкой размытой пашни, и, поднимая целые столбы водяной пыли, скрипя ярмом, раскачиваясь из стороны в сторону — идут по воде вдоль вала.

Зерна бросают в воду. Рис нельзя посеять в сухую землю и потом залить водой — вода сгонит его в кучи. И работа вся делается в воде. Рис поднимет над водой ярко-зеленую щетку всходов. По воде будут полоть его. В воде отцветет колос и нальется зерно. И только перед тем, как начать жать, спустят с полей воду.

Три месяца Иссо будет работать на рисовых полях. Три месяца будет он в грязи и в воде. Он вспашет эту жидкую грязь. Засыпет в нее зерно. Трижды будет очищать рис от сорных трав, и когда желтые колосья склонятся от полных зерен — будет резать его серпом.

Иссо мерным привычным шагом идет за быками, хлюпая ногами по жидкой грязи. Солнце поднимается над горами и жжет плечи. Тучи комаров вьются над быками. Согнув дугой узкие крылья, почти касаясь воды, носятся стаи куликов, и в неподвижном горячем воздухе отчетливо звучит их нежный свист.

---

[1]) Скорей.

[2]) Мама.

[3]) Ешь.

[4]) Вкусно... очень вкусно.

Последние грозы прошли. Месяца на четыре облака ушли с неба. Душная и теплая ночь не освежает раскаленной земли. И с первыми лучами солнца огненный зной делает неподвижным воздух, заставляет животных прятаться в тень, а птиц забиваться в густую листву карагачей и тутовых деревьев.

В этом году работа на рисовых полях совпала с Уразой.

Иссо — «девона». Поэтому он держит Уразу не так, как другие: и не пьет весь день, даже на работе...

Когда быки доходят до края поля, где по широкому арыку течет прозрачная вода, Иссо старается не смотреть на нее. Горло пересыхает и горит от зноя. Так бы и припал губами к холодному потоку. Он кричит на быков, чтобы они не задерживались на повороте, и, описав дугу, опять месит жидкую грязь вдоль вала.

Нажбедин за работу во время Уразы прибавляет тангу, а лепешки выдает вечером, когда Иссо идет с работы.

Маазам знает это. Она далеко на дороге встречает Иссо. Он теперь дает ей нести не серебряные танги, а теплые лепешки. Она бежит с ними, прижимая их к себе обеими руками.

У Иссо нет сада. Он и лето живет все в той же лачуге, в узенькой улице за базаром. Весной, когда зацветает урюк и почти все перебираются в сады, на другую сторону кишлака, он остается почти один в опустевшей улице.

Двор у него маленький. Мужская половина похожа на клевушек для ишака, а женская немного попросторней. На земляном полу лежит цыновка, а в углу истертое шелковое одеяло.

Девона-Иссо зачем-то купил для Маазам на базаре дорогую расписную люльку, и она стоит, точно чужая вещь, в пустом чулане.

Иссо не может справлять Уразу, как другие. Он не может не есть день, чтобы потом пировать ночь. Но и ему каждый вечер приносят из чайхана маленькую пиалу мешалы, которую, захлебываясь от удовольствия, перемазав себе щеки и руки, почти всю съедает Маазам.

Иссо не ходит ночью на площадь, где весело бьют в бубны и в освещенных чайханах шумно справляют Уразу. Всю ночь он спит. А на рассвете, перед тем как итти на работу, съедает все тоже шюрбо [1]) из шалгана, моркови и лука с лепешкой — и пьет жидкий зеленый чай.

Во время Уразы вся жизнь в кишлаке перевертывается вверх дном. И люди становятся, как больные. Днем они спят или ходят сонные, изнемогая от жары и жажды. Ночью пьянеют от жирной еды, от сластей, от шума непривычного ночного веселья. Они не пьют вина. Но их можно принять за пьяных. Они говорят громко и возбужденно. Смеются во все горло. И ходят неуверенной походкой, точно их шатает из стороны в сторону.

Для Иссо Ураза не пост перед ночными пирами, — для него это изнуряющий дневной труд без воды и хлеба.

Все ждут конца Уразы. Но никто не ждет так, как Иссо-девона.

На этот же раз он ждет с особенным нетерпением...

---

[1]) Шюрбо — суп.

После Уразы Иссо едет в Самарканд.

Это второй раз в жизни собирается он уехать из кишлака на несколько дней в город.

Первый раз ездил перед свадьбой. Это было пять лет назад.

Теперь он едет купить ситцу на платье Ховорой и Маазам. Они ходят в таких лохмотьях, что Иссо иной раз смотрит на них, отвернется и потихоньку вытрет себе рукавом глаза.

Он давно копит деньги на этот ситец.

Серебряные танги лежат закрученные в поясе, и он всегда чувствует их с собой. Теперь у него есть пятнадцать рублей. В кишлаке на это и одного платья не сошьешь. В Самарканде все дешевле в два раза. Иссо долго думал, как ему быть, чтобы съездить в Самарканд и не потерять рабочих дней. Пошел к Нажбедину и сказал:

— Кончу сеять — пошли меня в город с арбой. Полоть не скоро. Вернусь.

Нажбедин подумал и не спеша ответил:

— Хорошо. После Уразы. Кишмиш отправлять буду... Лишняя арба пойдет. А зачем тебе? — поинтересовался Нажбедин.

— Шара-бара купить, — расплываясь в улыбку, ответил Иссо.

— Хай, хай! [1]) — улыбнулся и Нажбедин.

Никогда Ураза не шла так медленно, как на этот раз. Каждый день Иссо считал, сколько дней осталось до Рамазана. Каждый день, возвращаясь с быками домой, смотрел на холм у мельницы, где жили муллы, — не стоят ли они и не смотрят ли на небе молодой месяц, но Уразе и конца не было.

Приезжал из Самарканда мулла читать наизусть коран. Мулла Пер-Назар сказал—скоро. А дни шли за днями. В полдень солнце все выше поднималось над головой. Даже в тени земля была горячая и жесткая, как плита. Птицы раскрывали рот, задыхаясь в горячем воздухе, и старались забиться в самую чащу листьев. Снег на горах стаял почти весь, только узкая полоса его лежала вдоль хребта.

Иссо со своими быками спустился почти к самому берегу Зеравшана — он засевал последний танап рису.

Как всегда, после заката солнца, Иссо возвращался с работы.

Быки, выпачканные по брюхо в грязи, шли, пригнув шеи к земле, точно на них все еще лежало ярмо.

Иссо шел сзади и смотрел на светлый край неба, где должна была обозначиться, как прозрачная белая тень, узкая полоска нового месяца. Только когда увидят ее — Ураза считается конченной и празднуется Рамазан.

На высоком бугре мельницы стоял народ. Человек десять. Стояли неподвижно близко друг к другу. Впереди всех старик ишон Шахбек. Рядом с ним Пер-Назар в больших синих очках. Он показывал вытянутой

---

[1]) Хорошо.

рукой на край неба. Многие пригибались к земле, чтобы не мешали дальние деревья, закрывавшие небо своими ветвями.

Это муллы смотрели, не показался ли месяц.

Иссо, подогнав быков палкой, пошел скорей. У бугра он остановился и тоже стал смотреть в ту сторону, куда показывал Пер-Назар.

Прошло несколько минут. Пер-Назар все не опускал руку и неслышно тихо говорил что-то ишону.

Старик щурил глаза. Нагибался то в одну, то в другую сторону. Но молчал.

И вдруг Иссо увидал месяц!

Между двух вершин тополей, точно углем нарисованных на угасающем небе, там, где розоватый закат переходит в бледно-матовое вечернее небо, едва наметился узкий, матово-белый серп луны.

Иссо, улыбаясь во весь рот, оглядываясь то на холм, то на месяц, точно боясь потерять его, закричал:

— Ма... Ма [1]).

На холме все обернулись к Иссо.

Иссо продолжал улыбаться, махал рукой и кричал:

— Инжабио... Инжабио...

Но никто не двигался.

Разве Иссо-девона может первый увидеть месяц?

Но Иссо так настойчиво и радостно продолжал кричать: Ма!.. Ма!.. Ма... что, наконец-таки, к нему спустился с бугра сын Пер-Назара Ахмат.

Иссо показал ему рукой между вершин тополей — и тот, не сказав ни слова, бросился назад к стоявшим вверху.

Через минуту улыбающиеся, довольные все спускались с холма.

Ураза кончилась.

Поздно вечером на площади бил барабан, извещая всех о начале Рамазана.

Посреди площади готовили костер. Навалены были арчевые деревья и стояли баки с керосином.

Со всех узеньких улиц к базару шли люди. Они усаживались кольцом, прямо на землю в несколько рядов, а дальше стояли густой толпой, плечо к плечу до самых лавок.

В чайханах горели огни. На помостах, устланных коврами, сидели старики и почетные гости.

Иссо всегда ходил на базар праздновать Рамазан. Он любил смотреть на громадный пылающий костер и танцующих джюванов.

Богач Мир-Ислам выписал из Самарканда трех джюванов [2]) и пять человек музыкантов.

Никогда еще на Рамазан не сходилось так много народа. Даже все балаханы и крыши были заняты.

[1]) Месяц.

[2]) Танцор.

У Иссо было свое излюбленное место на дереве. Оттуда видно было всю площадь.

Костер зажег чайханщик Холбой.

Он облил корявые пни керосином и поднес к ним горящий факел. Пламя вспыхнуло и столбом взвилось вверх. Забили бубны.

Джюваны в зеленых и красных халатах вошли в круг. Около каждого шел факельщик и освещал лицо во время танца.

Из года в год сидел Иссо-девона в эту ночь на дереве и каждый раз все с тем же упоением и восторгом смотрел на танцы вокруг костра. Он закрывал глаза и снова открывал их, точно хотел проверить, не снится ли ему все это? Неужели это та самая площадь, на которой в базарные дни продают морковь, лук и баранину, а в углу ее стоят нагруженные рисом и пшеницей ишаки?

Вот яркое пламя осветило площадь, как днем. Неподвижная толпа, джюваны, факельщики, музыканты, помосты, устланные коврами, седобородые старики — все видно до самой мелкой черты, как днем. Но дым застилает костер. Пламя почти тухнет и все, как тень, исчезает из глаз. На черной площади никого. Только бледные лица джюванов с накрашенными губами и черной полосой вокруг глаз, освещенные трепещущими огнями факелов, как живые маски, плывут по воздуху.

Меняются джюваны. Зажигаются новые костры. И снова то освещается площадь, покрытая народом, то исчезает все, как во сне.

Только на рассвете уходит Иссо домой. Сегодня он может спать Ему не надо итти на рисовое поле.

Против лавки Баришки кто-то окликает Иссо.

Около него стоит румяный Баришка. От него пахнет муссаласом.

— Ако [1]), — говорит он, — ты в Самарканд едешь?

— Еду, — с удовольствием отвечает Иссо.

— Когда?

— После базара.

— Деньги есть?

— Пятнадцать рублей.

— Дай до базара, ако!..

Иссо торопливо развязывает пояс и достает завернутый в тряпку узелок.

Баришка берет и говорит:

— Хай, на базаре отдам.

Иссо — девона. Разве кто-нибудь дает Баришке деньги взаймы?

Прошел базар. Нагрузились кишмишем арбы Нажбедина, а Баришка и не думал возвращать деньги.

Несколько раз Иссо заходил к нему в лавку и говорил:

[1]) Брат.

— Завтра в Самарканд арбы идут...

Баришка смеялся:

— Зачем тебе деньги, Иссо? Или вторую жену думаешь брать?

Иссо краснел, мялся, объяснял, что деньги ему обязательно надо получить не позже завтрашнего вечера, потому что посылает его Нажбедин с кишмишом, что купит он в Самарканде ситец на платье своей жене и дочери. Но Баришка блестел белыми зубами, хлопал его по плечу и говорил:

— Платье жене! Да разве из Самарканда возят платья старым женам?

Иссо, понуря голову, уходил ни с чем.

Вечером, накануне отправки арб, он пошел к Нажбедину.

Нажбедин стоял на дворе, где запрягали лошадей в нагруженные арбы.

Опустив, как плети, длинные рукава халата, запинаясь и робея, Иссо сказал:

— Хозяин, денег нет. Дай денег! Я заработаю...

Нажбедин удивился:

— Денег нет? А в Самарканд едешь!

— Баришка взял. Сказал к базару отдам. Не отдал. Пятнадцать рублей.

Нажбедин помолчал. Пощупал рукой веревки, которыми был прикручен кишмиш, и—точно забыл, что перед ним стоит Иссо.

На дворе шел говор собирающихся в Самарканд арбакешей. Лошади скрипели оглоблями. Звякали пустые ведра, которые привязывали между колес.

Иссо стоял, опустив свои рукава и не решался заговорить снова. Только когда Нажбедин повернулся к нему спиной, чтобы итти в дом, он подался вперед, точно хотел остановить его руками и быстро проговорил:

— Дай денег, хозяин! Я заработаю. Дай вперед за один месяц. Полоть у тебя буду и жать. Не первый год у тебя работаю. Ты знаешь.

Нажбедин повернулся к нему боком и сказал:

— Хай, дам. Будешь работать по две танги...

Он вынул из-за пояса толстую пачку денег, отсчитал пятнадцать рублей, подал их Иссо и, не дожидаясь ответа, пошел в дом.

Иссо взял деньги. Но, укладывая на арбу халат и куржум, говорил сам с собой:

— Две танги... Да разве кто-нибудь работает за две танги на рисовом поле?..

Никогда ни с кем не торгуется Иссо-девона. Но на этот раз даже губы у него затряслись от возмущенья.

Утром, когда уже взошло солнце, подъехали к кишлаку Каробдал.

Около караван-сарая, сжавшись в тесный круг, сидели узбеки. Выкрики, то-и-дело раздававшиеся в тишине, вытянутые шеи с надутыми

жилами, какой-то судорожный смех, глаза блестящие, как у пьяных — все свидетельствовало о том, что идет перепелиный бой.

Подъехавшие арбакеши, бросив нераспряженных лошадей, спешили протиснуться через тесное кольцо спин и плеч, чтобы видеть площадку, на которой дрались перепела.

Иссо-девона, как запойный, любит перепелиный бой. Он почти столкнул на землю костлявого старика Шарип-оглы, хозяина караван-сарая, — но протиснулся-таки вперед.

Бой был в самом разгаре. Самцы перепелов, растопырив перья на тонких шейках, налетали грудью друг на друга. Царапали лапками, сцеплялись клювами и трепещущим маленьким клубочком катались по земле.

Перепелиный бой — это страсть, за которую расплачиваются разорением.

Проигрывают деньги, халаты, лошадей и даже сады. Знаменитые перепелиные бойцы ценятся, как драгоценность. Они живут в памяти. О них рассказывают легенды.

Молчаливый старик Халикул угрюмо и упрямо ставил деньги на светлого, длинноносого самца и проигрывал одну пачку денег за другой. Самец молодого узбека Чакыша гнал его с площадки.

Борьба эта захватила всех. Лицо и шея Халикула потемнели, но движения были спокойны. Уже тень сошла с круга и лучи солнца упали на пестрые чалмы, а никто не вставал. Упрямство Халикула приковывало к себе внимание. Втягивало в напряженное ожидание.

Снова поставили бойцов по местам. Чакыш ударил пальцем по клюву своего самца, чтобы раздразнить его. Но вдруг Халикул встал и сказал громко:

— Бас!

Довольно! Это слово разбудило всех. Круг разомкнулся. Стали вставать. Но неожиданно чей-то захлебывающийся голос крикнул:

— Начинай! Начинай!.. Ставлю!..

Это был Иссо.

Засмеялись, но снова придвинулись в круг. Кто-то сказал по-таджикски.

— Ай, баракало [1]) Иссо-девона!

И бойцы, мокрые, ощипанные, вырываясь из рук, бросились друг на друга.

Иссо, точно заразившись упрямством Халикула, тоже поставил на светлого самца.

В задних рядах смеялись:

— Девона-Иссо захотел деньги спустить! Разве можно против Чакыша поставить хоть одну тангу!

Но не прошло и минуты, как общий крик изумления, хохот и возгласы приветствовали победу Иссо. Самец Чакыша упал на спинку, беспомощно

---

[1]) Молодец.

забил крыльями и, с трудом перевернувшись на лапки, прижав клюв почти к земле, бросился из круга в траву.

Иссо всплескивал руками, хохотал, загнув голову, и оглядывался на всех по сторонам.

Чакыш смущенно улыбался и вытирал рукой потный лоб.

Поймал своего самца и снова поставил его на круг.

Опять начался бой.

Но светлый самец после победы точно сразу потерял силу. Не успевал темный самец напасть на него, как он падал, пригибая шейку к земле, и бежал прочь.

Иссо наклонялся и что-то шептал Чакышу. Тот кивал головой, говорил:

— Хай, хай...

И снова ставил бойцов друг против друга.

Один по одному уходили арбакеши от круга к своим лошадям. Пора было ехать. А Иссо все сидел. Все наклонялся к Чакышу и шептал ему на ухо.

Когда в полдень арбы заскрипели по дороге — Иссо среди арбакешей не было. Он проиграл Чакышу кишмиш.

Лег на живот среди арбы и повернул назад.

Тело его было тяжелое. Руки и ноги налились железом. А голова казалась большой и точно сама качалась на тонкой шее... На бледно-желтом лице выступили крупные капли пота.

Шарип-оглы подошел к нему и сказал по-узбекски:

— Безгак [1]).

Иссо казалось, что в ушах его кто-то бьет в бубен, как ночью на Рамазане, когда пляшут джюваны...

Поздно вечером приехал Иссо во двор Нажбедина. У него зубы стучали и тело тряслось, точно на улице был мороз.

Сколько лет работал Иссо на рисовых полях и не хворал лихорадкой.

Теперь, когда случилась беда, захворал и он.

Дорогой казалось ему, что Нажбедин душит его за шею, отнимает у него ситец, который купил Иссо в Самарканде, а рядом стоит Маазам и кричит жалобно в самые уши:

— Ота!.. Ота!.. [2])

На дворе Нажбедин молча слушал Иссо. Тот говорил:

— Возьми пока за кишмиш кибитку. Кибитка хорошая. Новая. Небольшая. Но хорошая кибитка... Буду работать... Иссо умеет работать... Твои деньги не пропадут, хозяин... Ты знаешь Иссо не первый год...

---

[1]) Лихорадка.

[2]) Отец.

Нажбедин слушал. Смотрел в сторону. И соображал что-то... Потом спокойно, ровным голосом, каким говорил всегда, сказал:

— Кибитки не надо. Год поработаешь малаем [1] — отработаешь. Мне на мельницу малай нужен.

Иссо хотел сказать: а как же Ховорой и Маазам? Кто даст им хлеба? Как же ситцевое платье?

Но Иссо—девона, и он смолчал...

Синий май. Заревая теплынь.
Не прозвякнет кольцо у калитки.
Липким запахом веет полынь.
Спит черемуха в белой накидке.

В деревянные крылья окна
Вместе с рамами в тонкие шторы
Вяжет взбалмошная луна
На полу кружевные узоры.

Наша горница хоть и мала,
Но чиста. Я с собой на досуге...
В этот вечер вся жизнь мне мила,
Как приятная память о друге.

Сад полыщет, как пенный пожар,
И луна, напрягая все силы,
Хочет так, чтобы каждый дрожал
От щемящего слова «милый».

Только я в эту цветь, в эту гладь,
Под тальянку веселого мая,
Ничего не могу пожелать,
Все, как есть без конца принимая.

Принимаю и дали, и близь,
В чем есть грусть, в чем есть боль и отрада...
Мир тебе, отшумевшая жизнь!
Мир тебе, голубая прохлада!

С. Есенин.

Цыганка.

Что ты плачешь, хриплая шарманка,
У забора на чужом дворе?
Вспоминает старая цыганка
О минувшей, о былой поре.

Бьется ветер о худые плечи,
Завывая о глухой тоске.
Улетела с ветром ли далече,
Потонула ль юность на реке?..

Вспоминает, как звала гитара,
Как томили струны без конца. —
Не сгорела ль молодость у Яра
Под дебоши пьяного купца?

Подвывает под шарманку горе
Про веселый глупый «шарабан».
Не твою ли красоту проспорил
За кобылу удалой цыган!

И на рынок редкую покупку
За бесценок отдавать не жаль—
Не твою ли золотую юбку,
Не твою ли голубую шаль.

Пронизала молодое тело
Хрипотою уличная мгла...
А давно ли счастье улетело,
А давно ли юность отцвела?

Вот сейчас он, посеревший волос
Рассыпает сон над головой
Про веселый, про горячий голос,
Про весенний табор кочевой.

Вот сейчас он, в темное ненастье,
Расцветает, как весной луга,
Но не может для цыганки счастье
Из бумажки вынуть попугай.

И тоскует старая цыганка
Безнадежно о былой поре...
Оттого и хриплая шарманка
У забора плачет во дворе.

Павел Дружинин.

Уездная Русь.

Деревенька в лесу горевала горелая.
Грозный Петр заглянул по дороге в Азов:
Закипела руда от веков почернелая,
Задымилась смола вековечных лесов.
Понастроили баре хором с мезонинами,
На базаре купцы позасели в рядах.
Щеголял барский бал кринолинами длинными,
А купчихи — бурнусом на толстых задах.
Мужики свой оброк привозили обозами,
Кожи кисли в чанах, дубом пахли лубки...
Вдруг сурово февраль над оброчными розами
Черноземной весны налил кровью ростки...
Барский жаркий скот лихорадкою скрючило,
Но мужик без земли, как без корня трава,
И надолго опять родовитое чучело
Пораскинуло в ширь черных дней рукава.
Кренделями года в даль катились заречную.
Генеральскую грыжу пригрел городок.
Я впитал эту глушь подперинно-запечную,
Где бумажных змеев только рокот высок.
Там, бывало, стрижи позвонками летучими
Громко штопорят скуку, но пробка крепка,
И вино первых гроз под гроздистыми тучами
Щекотало лишь свиньям тугие бока.
А когда сентябри с пустотой ежегодною
Приходили, раздольем попоек и карт,
Самовары купчих запевали отходную,
И в дворянском, как зубы, стучал биллиард.
Но стучали еще где-то зубы железные:
Наструг кожу строгал, бил в каблук молоток,
А шахтерскую песню, как шапку облезлую,
Ветер пялил на чуб, обегая острог.
Мне окраина — мать...

Я с дочуркой сапожника
Повилику сплетал в заревые венки.
Знаю, знаю, — крепка бечева подорожника.
Помню, помню лапту и лихие коньки...
Рыжий дуб из чанов, пыль железная рыжая —
Кровью дуба и кровью железа я жив.
Может быть, упаду камня донного ниже я,
Но нет выше для сердца над зольником ив!
И в весенний базар над мужицкой телегою,
Помню я, как Егорьев муравчатый спас
На дубовых руках долю пестовал пегую
И цвела карусель под гармошку и пляс.
Кренделей не догнать, не надеть на мочалочку...
Снизка черная бед на руке у страны...
Звали палочку мы, из войны выручалочку...
Детство, детство, прости! — были игры черны!
Только крест жег огнем белизну лазаретную,
Только голый костыль рвал подмышки рубах,
И другим февралем в бесталанность паркетную
Размахнулась дубрава солдатских папах...
Городок, городок, недодумщик мой серенький!
Ты, как грудь, свою площадь открыл кумачам,
Для чего ж ты поверил в зеленые керенки
И спиной повернулся к лицу Ильича?
И другие пришли... Кто они?.. За крестинами
Имена их не ведал твой поп-старожил...
Пусть рвалась, как шрапнель, пусть цвела трехаршинными —
Перед ихнею бранью ты гонор сложил...
Запоздалый закат и заря слишком ранняя,
И церквами еще не прикушен язык, —
Но вишневая бель с каждым годом румянее,
Твой кирпичный карман к красной меди привык.
И на «ты» с исполкомом родная окраина,
Где родился, куда, может быть, не вернусь,
Иль пролетною птицей побуду нечаянно,
Чтоб сказать, как больна мне уездная Русь!

Алексей Липецкий.

Песня о Запорожье.

Родиону Акулышину.

Задравши морды в вышину
Устали кони ржать
Летят вороны на луну.
О сыне плачет мать.
   Где сохли кости по полям,—
   Расцвел румяный мак.
   По запорожским ковылям
   Не скачет гайдамак.
Не точит шашку для купцов,
Для забубенных драк
Под животами жеребцов
Ночующий казак.
   Крошены саблями года.
   Где лесом и травой
   Гонял заблудшие стада
   Татарин кочевой—
Там пышут пашни по лугам.
Могли ли деды знать,
Где рвали головы врагам—
Там будут вишни рвать.
   Гадают девки у реки
   Не веря девьим снам,
   Большие темные венки
   Бросают по волнам.
Венок последний упадет
И ждешь, и плеск затих,
Что пьяный гетман проплывет
На стругах золотых.
   Расшитый гарусом жупан,
   Сверкают галуны,
   И пробирается в туман
   Студеный дым волны.

Ой, Запорожье, зеленей,
Лети ухаб в ухаб.
Сменив буланый бег коней
На терпеливый храп.
  И по станицам тишина,
  И по станицам сон.
  И старым коршуном луна
  Вцепилась в небосклон.
Становья смятые в степях,
Как после злой орды,
И на крови, и на костях—
Цветущие сады.

Джек Алтаузен.

Краснобай.

(Песня).

Мой дедун, мой ворчун помер краснобаем.
Что он пел, напевал—чуем да не знаем...

Седоусый ты мой, седоусый, старый,
Не гулял ты в лесах с нонешней гитарой.

Гулеван ты такой, — старый да не·хмурый,
Ты бродяжил в степи с песней да бандурой.

Седоусый запел, затужил, забаял, —
И бандура поет думы краснобая.

На чужой стороне, на Сибири дальной
Бандурист бредил мой сказочной Украйной.

Только думы не те, не казачьи стали...
Думы, думы мои — песенные стаи!

В них то степь загрустит, то река застонет,
То ямщик запоет, — ржут и мечут кони!

В них и окрик лихой партизанов зычных,
Городов, деревень и племен различье.

В них и девка слезой обмывает очи,
И бродяга свой нож на дороге точит.

Иль как вдруг зарычит у Шаманских у скал
Черногрудый старик, чернобурый Байкал.

Да затих краснобай, да леса замолкли.
Только ночью кругом завывают волки!

Сиротой сиротей старая бандура...
Разве взять мне тебя, да сыграть бы сдуру?

Бандурист твой заснул в домовине узкой,
У Байкальских долин, в стороне Иркутской!

Взял бандуру тут я, думы напевая...
С этих пор и меня чтут за краснобая!

Михаил Скуратов.

Интеллигенция как социально-экономическая категория.

С. Я. Вольфсон.

I.

Довольно значительная литература, исследующая вопрос об интеллигенции как о социальной категории, в основном подходит к нему со следующих точек зрения:

1. Интеллигенция как самостоятельная социальная группа не существует. Интеллигенты, т.-е. люди, достигшие определенного уровня умственной квалификации, обладающие определенным багажом знания, не образуют никакой самостоятельной классовой категории, равным образом не могут быть отнесены и к какому-либо из социальных слоев классового общества. «...Ни к одному из существующих классов интеллигенцию причислить нельзя, — утверждает М. И. Туган-Барановский. — Но, с другой стороны, интеллигенция не может составлять самостоятельного класса sui generis... Интеллигенция не образует собой самостоятельного класса и в то же время не входит в состав какого-либо иного класса. Иначе говоря, интеллигенция представляет собой совокупность профессиональных общественных групп без определенной классовой окраски...» [1]).

При иной формулировке то же положение сводится к тому, что интеллигенция представляет собою группу, в которую входят наиболее образованные выходцы из всех классов общества, группу, становящуюся вне классов или над классами.

«...Отдельные, более или менее ярко окрашенные индивидуальности, всех классов и сословий составляют внеклассовую и внесословную группу интеллигенции...» (Иванов-Разумник).

Для Мауренбрехера интеллигенция является «слоем людей разнообразнейших занятий и житейского положения», об'единяемых общностью культурных интересов.

Бердяев в свое время провозглашал, что «сверхклассовая интеллигенция есть та часть человечества, в которой идеальная сторона человеческого духа победила групповую ограниченность»...

---

[1]) М. И. Туган-Барановский, Основы политической экономии, изд. IV, стр. 363.

Итак, интеллигенция — это социальная категория, которую можно познать лишь с помощью суб'ективно-этического мерила. Она *вне*классова, *над*классова, *сверх*классова.

2. Интеллигенция не образует собой самостоятельной группы, но она принадлежит к различным классам и сословиям общества. Нет интеллигенции как таковой, а есть интеллигенция дворянская, буржуазная, мелко-буржуазная, крестьянская, пролетарская и т. д. Это все — образованные слои, умственно-квалифицированные верхушки класса, обыкновенно являющиеся его идеологами и организаторами.

Густав Шмоллер распыляет интеллигенцию по всем классам, на которые, по его мнению, делится общество — таких классов он насчитывает пять. И вот, в первом из шмолеровских классов мы встречаем, — на-ряду с крупными земельными собственниками, фабрикантами и рантье, — высших чиновников, врачей и художников с доходом от 8.000 марок; во втором классе находятся чиновники и представители либеральных профессий с менее высоким доходом — примерно — от 3.000 до 8.000 марок; в третьем классе, вместе с ремесленниками, мелкими торговцами и т. д. интеллигенты с доходом в 1.700—2.700 марок. То же самое с четвертым и пятым классами. Общество разбито на пять классов — в каждом из них своя интеллигентская прослойка. Интеллигенции как единой социальной категории не существует.

В марксизме мы нередко сталкиваемся с таким же подходом к вопросу. «Интеллигенции как организованной группы, спаянной однородностью социального состава и экономически-идеологических интересов, в природе не существует, — безапелляционно заявляет тов. А. Б. Залкинд. Интеллигенция — наиболее сознательная прослойка того или иного общественного класса. «Интеллигенций» столько, сколько в данном обществе основных социальных делений, и каждая из этих «интеллигенций» имеет свою специфическую физиономию, в полном соответствии с истинным существом того класса, который она наиболее сознательно олицетворяет и защищает» [1]).

3. Интеллигенция по своему месту в классовом обществе относится к одному из классов, являясь его составной частью. Интеллигенция—часть определенной (единственной) классовой группы. Чаще всего интеллигенцию при этом относят либо к мелкой буржуазии, либо к пролетариату. «К какому классу относим мы интеллигенцию? — спрашивает тов. А. В. Луначарский. — Интеллигенция относится не к буржуазному классу в собственном смысле этого слова, не к капиталистическому владетельному классу и не к пролетариату... Но основные кадры интеллигенции принадлежат к мелкой буржуазии» [2]). С точки зрения тов. Луначарского интеллигенция «по своей природе мелко-буржуазна».

Другие из сторонников того взгляда, что интеллигенция составляет часть какого-либо одного класса, относят ее к рабочему классу. Еще Добролюбов

[1]) А. Б. Залкинд, Очерки культуры революционного времени, М. 1922 г., стр. 129.

[2]) А. В. Луначарский, Интеллигенция в ее прошлом, настоящем и будущем, М. 1924 г., стр. 36.

определял интеллигенцию, как «мыслящий пролетариат». В марксистской литературе понятия «интеллигенция» с одной стороны, «пролетарии умственного труда», «интеллигентный пролетариат», с другой — нередко употребляются, как синонимические.

Макс Адлер в своей книжке «Der Sozialismus und die Intellektuellen» говорит, что в результате последней войны и последовавших за ней событий можно считать окончательно установленным тот факт, что и «умственный работник является пролетарием, точно так же, как им является всякий работающий в мастерской и в руднике»...

4. Интеллигенция рассматривается как особый класс капиталистического общества последней эпохи.

Уже в середине 90-х годов Карл Каутский указал, что на место гибнущего (с исчезновением мелких предприятий) среднего класса выдвигается капитализмом «новый средний класс» — интеллигенция. В своей полемике с Бернштейном он подробно развил свое понимание интеллигенции, как особого класса. «Все возрастающая интеллигенция есть класс, который ставит перед борющимся пролетариатом важные и интересные вопросы» — таков был вывод из произведенного Каутским анализа.

Н. И. Бухарин также считает, что интеллигенция образует собою особый «промежуточный класс».

Авторы сенсационных в свое время выступлений по вопросу об интеллигенции, идеологи так называемой «махаевщины» — Вольский-Махаевский и Евгений Лозинский — квалифицировали интеллигенцию как особый класс умственных работников. «Это класс привилегированный и эксплоататорский питающийся внетрудовым доходом, неоплаченным трудом ручных рабочих» [1]).

Интеллигенция есть особый господский класс, все усиливающийся количественно и все более укрепляющийся качественно, все более подчиняющий своему воздействию и влиянию все сферы общественной жизни. Насколько самостоятельным и влиятельным считали представители этого направления класс интеллигенции, может служить хотя бы и тот факт, что они неоднократно заговаривали о «грядущем мировом господстве интеллигенции»...

В своей статье «Интеллигенция как социальная группа» («Обозрение» 1904 г., № 1) бывший марксист А. Изгоев устанавливал деление общества на 4 основных класса, выдвигая на-ряду с землевладельцами еще два великих класса: физических рабочих и умственных работников [2]).

Известна даже сделанная американским социологом Гентом попытка рассматривать интеллигенцию, как группу, образующую ц е л ы х д в а к л а с с а в шестиклассовом капиталистическом обществе. Один из этих классов — класс «общественных служащих», social servants, другой из них

---

[1]) Е в г. Л о з и н с к и й, Что же интеллигенция?, СПБ. 1907 г., стр. 258.

[2]) В дальнейших своих рассуждениях Изгоев пытался рассматривать интеллигенцию, как подгруппу класса умственных работников, но в этой попытке безнадежно запутался.

retainers — класс работников в области промышленности, торговли и финансов...

5. Интеллигенция рассматривается, как особый социальный слой классового общества, не являющийся, однако, вполне конституированным классом и долженствующий потому рассматриваться, как междуклассовая группировка.

Мне думается, что из 5 основных изложенных мною воззрений на интеллигенцию, как на социальную категорию, в которые я пытался сгруппировать имеющиеся по этому вопросу точки зрения, наиболее правильной является последняя. Уточнение ее является моей задачей.

Раньше всего: что такое интеллигенция, как социальная категория? Интеллигенция представляет собой междуклассовую, промежуточную — меж пролетариатом и мелкой буржуазией, — группировку, образуемую лицами, существующими путем продажи своей умственной (интеллектуальной) энергии.

Для того, чтобы оправдать такое понимание интеллигенции, нам следует обратиться к отдельным моментам, характеризующим ее положение в обществе.

II.

Фактом, не подвергающимся какому бы то ни было сомнению, является наличие в настоящее время в любом классовом обществе более или менее значительной прослойки, которую можно определить термином «интеллигенция».

Ни один социолог, экономист, политик, изучая классовое общество современности в его разных формациях, начиная Соед. Шт. Америки и Францией, кончая Китаем и Индией, не может пройти мимо того факта, что на судьбы этого общества так или иначе влияет наличие в нем того социального слоя, который называется интеллигенцией. Без слоя интеллигенции невозможно изобразить классового спектра современного общества. В этом решительный и исчерпывающий ответ на вопрос, представляет ли интеллигенция собой самостоятельную социальную категорию.

Еще в 1910 г. М. И. Туган-Барановский в полемике с «Вехами» указывал на тот факт, что во Франции слово «intellectuels» начинает употребляться для обозначения некоей общественной группы. В Германии слово «Intelligenz» все чаще употребляется, как обозначение значительной социальной единицы, занимающей определенное место в социально-экономической орбите страны. В одной из своих последних работ Каутский обращает особое внимание на нарождение в капиталистическом обществе социального строя, «который во время составления Эрфуртской программы еще не играл никакой роли и фигурировал, главным образом, в качестве придатка буржуазии... С тех пор он колоссально вырос в числе и превратился в отличную от буржуазии среднюю группу»... Количественная величина этого слоя определяется Каут-

ским для Германии цифрой в 2.377.000 человек к 1907 г., с указанием на присущую ему резкую тенденцию к росту.

Профессиональные союзы СССР включают в свой состав свыше 1.600.000 работников умственного труда, — около 30% профессионально-организованного пролетариата Советской Федерации. Во всех европейских странах мы имеем под тем или иным названием профессиональные союзы работников умственного труда. Слой интеллигенции охватывает значительные кадры современного общества, так что игнорировать его как социально-экономическую единицу более не в состоянии ни один исследователь. В самом деле, попытайтесь изобразить классовые отношения Германии, Италии, С. Штатов, СССР, игнорируя положение интеллигенции...

Создается очевидный пробел, зияющий пропуск в классовом спектре. Если в стране существуют миллионы людей, об'единяемых по какому-то принципу в организованную единицу, как напр., Французская-Конфедерация Работников Умственного Труда [1]), которая выступает от имени этих миллионов или сотен тысяч, защищает их экономические интересы, устанавливает нормы их труда и т. д. и т. д., — то спрашивается, какой иной об'ективный признак лежит в основе данного об'единения, кроме той роли, которую об'единяемые играют в хозяйственной жизни, места, которое им принадлежит в экономическом процессе? Когда исследователь экономического положения данной страны подводит миллионы людей под одну рубрику «интеллигенции», то совершенно ясно, что исследователь свою квалификацию основывает на об'ективно-экономическом, а не каком-либо ином факте. И лишь этот последний экономически-об'ективный факт заставляет работников умственного труда об'единяться не только в национальные, но даже и в интернациональные производственные организации, каковой, например, является Интернационал Работников Просвещения (существовавший с 1920 г. под именем Парижского Интернационала Педагогов и переименованный Брюссельским конгрессом в августе 1924 г.). Интернационал Работников Просвещения § 7 своего устава об'являет себя единой международной организацией, об'единяющей национальные организации просвещенцев, стоящие на платформе классовой борьбы, — «для успешного ведения борьбы за улучшение материального, бытового и культурного положения работников просвещения».

Интеллигенция, как самостоятельная категория, существует в классовом обществе, — это значит, что она имеет свой классовый облик, что социолог должен всегда ставить при ней классовый коэффициент, ибо в обществе, разделенном на классы, не может быть целой социальной категории, находящейся вне классов, ибо это значило бы, что эта категория живет вне общества. Социальные категории или отдельные лица могут, — в силу совершенно определенных общественных причин, — создавать иллюзию своей внеклассовости, но это только иллюзия. «Иллюзии гибнут, факты остаются», говаривал Пи-

[1]) Конфедерация эта разбита на 12 секций: музыкального и драматического искусств, графических и пластических искусств, преподаватели, служащие, литераторы, работники прессы, лица свободных профессий, научные работники и техники.

сарев. Иллюзии надклассовости гибнут, а неумолимый факт состоит в том, что каждый из нас не может существовать без того, чтобы не занимать определенного места в общественном процессе хозяйствования, а в обществе, разделенном на классы, это значит — принадлежать к той или иной классовой группировке. Одно из двух: или интеллигенция не образует собой никакой особой социальной категории, или к ней нельзя подходить с суб'ективным мерилом, которое в применении к социальной группировке превращается в фикцию.

На признании «моральной высоты» (Туган-Барановский) или «умственной активности» (Овс.-Куликовский) немыслимо строить определение социальной группировки, охватывающей миллионы людей, играющей определенную роль в экономических судьбах страны, организующейся в профессиональные об'единения. Суб'ективный признак «моральной высоты» и «умственной активности» можно отыскивать у данной личности, и то здесь достаточный простор для споров: белогвардейские газеты, например, воспевали «моральную высоту» подвига Конради, убившего советского посла Воровского, или польская шляхта восторгалась такой же «моральной высоты» поступком бандита Мурашко; в годы царизма одни находили Пуришкевича воплощением «народолюбия», а другие квалифицировали его отношение к народу несколько иначе; в эпоху мешочничества многие считали, что удачно провезти через цепь заградительных отрядов $^1/_2$ пуда сала, значит обнаружить максимум «умственной активности» и т. д. и т. д. Подите ж, стройте на песке суб'ективного критерия определение какой-либо социальной группы. Единственный, пригодный для этой цели, критерий — об'ективный, а таким об'ективным критерием является способ существования данной группы, место, занимаемое ею в хозяйственном процессе. В применении к интеллигенции это значит, что ее можно раньше всего определить как группу, существующую продажей своей умственной (интеллектуальной) энергии. Возможны возражения: «а как быть с той интеллигенцией, которая существует, не прибегая к продаже своего умственного труда?». На этот вопрос следует ответить: лицо, существующее иным — нежели указанный — путем, не относится к социальной категории интеллигенции, его классовая принадлежность определяется совершенно о б'е к т и в н ы м признаком — местом, которое оно занимает в производстве.

У владельца Всеобщей Электрической Компании, Вальтера Ратенау. можно найти множество суб'ективных признаков, связываемых иногда с понятием «интеллигентности», — высокую умственную квалификацию, большие знания и пр. и пр.,—но все эти признаки для социолога ровно никакого значения не имеют. Вальтер Ратенау — владелец фабрик, существует путем присвоения прибавочной стоимости десятков тысяч рабочих, — значит он принадлежит к классу капиталистов и к социальной категории интеллигенции не имеет никакого отношения. Вы можете назвать, вы вправе назвать его «и н т е л л и г е н т н ы м б у р ж у а», но его классовая принадлежность будет определяться, конечно, вторым словом, предикат здесь ничего не изменяет. Существуют интеллигентные буржуа (Вальтер Ратенау, Лесли Уркарт, Рябушинский), существуют интеллигентные помещики (Родбертус-Ягецов, Шульгин, Крупенский). существуют интеллигентные пролетарии, существуют интелли-

гентные крестьяне. Здесь слово «интеллигентный» почти отождествляется с «высоко-образованный», «культурный», — все эти лица, которых мы называем по традиции интеллигентам, существуют как члены различных классов. Социолог при анализе интеллигенции как определенной категории, рожденной капитализмом в течение, примерно, последних шестидесяти лет и занимающей видное место в современном классовом обществе, в праве их совершенно сбросить со счетов. Интеллигентный буржуа, ну так что ж, что интеллигентный, — его классовая характеристика заключается в том, что он буржуа, в том, что он существует прибылью на капитал. Социолог его растворяет в классе буржуазии, где данный интеллигент и тысячи таких же интеллигентных буржуа образуют внутреннюю прослойку, наиболееобразованных, наиболее квалифицированных членов данного класса, часто выступающих его идеологами, т.-е. лучшим образом выражающих его интересы, его настроения, его чаяния и т. п. Поскольку социолога интересует интеллигенция как социальная категория, он может со спокойной совестью сбросить со своих счетов всех этих интеллигентных членов различных классов и определить сущность этой социальной категории, установив те об'ективные признаки, которые характеризуют ее.

То обстоятельство, что на-ряду с особой социальной группировкой интеллигенции имеются и отдельные интеллигенты, принадлежащие к различным классам, — чревато последствиями в том смысле, что благодаря ему укоренилось мнение об отсутствии интеллигенции, как таковой, а о наличии лишь буржуазной, пролетарской и другой классовой интеллигенции. Нет ничего ошибочнее такого мнения. Интеллигенция — особая классовая группировка и она не перестает быть таковой в зависимости от того, что на ряду с ней существуют в каждом классе свои интеллигентские прослойки — будем называть так совокупность интеллигентных (умственно-квалифицированных) членов данного класса. И наоборот, интеллигентный помещик не перестает быть таковым от того, что в современном обществе существует, как самостоятельная социальная категория, интеллигенция.

Разбивать интеллигенцию на пролетарскую, буржуазную, крестьянскую и т. д. совершенно недопустимо. Раньше всего, что значит само выражение «пролетарская интеллигенция»? Употребляя его, хотят подчеркнуть, что интеллигенты, входящие в данную группу, или: 1) вышли из пролетарской среды, или 2) сочувствуют борьбе рабочего класса, дают ей теоретическое оправдание, или 3) ведут образ жизни пролетария. Ни то, ни другое, ни третье, не позволяет говорить о том, что существует пролетарская интеллигенция, как таковая. В самом деле. Данный интеллигент вышел из пролетарской среды, но разве это хоть в какой-нибудь степени определяет его классовое положение? Выходец из пролетариата, он может быть капиталистом, помещиком, интеллигентом, т.-е. членом классовой группировки, называемой интеллигенция и об'единяющей лиц, существующих продажей своей умственной энергии. Понятно, что принадлежность к тому или иному классу в настоящий момент, а не классовая генеалогия, должна лечь в основу классового анализа данного типа. Форд — буржуа, вне зависимости от того, что он был когда-то слесарем.

Бебель (в 1903 г.) — интеллигент (т.-е. принадлежит к классовой группировке интеллигенции), хотя он и бывший токарь. Социолог имеет перед собой лишь классовый präsens. Может быть, допустимо тогда говорить о пролетарской интеллигенции, относя к ней тех интеллигентов, которые сочувствуют пролетариату, которые являются пролетарскими идеологами? Но взгляды, настроения, убеждения лица или группы ведь нисколько не определяют их классового коэффициента. Последний определяется исключительно местом, занимаемым лицом или группою в процессе производства. Классовое же самосознание отнюдь не является классообразующим фактором.

От того, что интеллигент Маркс был идеологом рабочего класса, он не переставал быть интеллигентом; точно так же, как те американские рабочие,— члены гомперовских союзов, — которые находятся в плену капиталистической идеологии, не перестают быть от этого пролетариями. Об'ективного классового признака при социологическом анализе никоим образом нельзя подменять суб'ективным критерием идеологического порядка. Такую подмену мы имеем, когда говорим о пролетарской интеллигенции, желая тем указать, что данная группа интеллигенции сочувствует рабочему классу, солидаризируется с ним, теоретически осмысливает его борьбу.

Точно так же мы могли бы назвать крестьян, являющихся идеологами рабочего класса, «пролетарскими крестьянами». Но это deductio ad absurdum. Так почему же мы говорим о пролетарских интеллигентах? Потому, что никак не можем свыкнуться с фактом существования самостоятельной социальной категории интеллигенции, о наличии которой с ясностью, не оставляющей места колебаниям, твердит каждая перепись населения, каждый экономический обзор, каждая сводка профессионального движения. Остается третий довод: пролетарская интеллигенция — та, которая ведет пролетарский образ жизни. Но ведь к азбучным истинам марксизма принадлежит положение о том, что уровень жизни не может служить критерием классовой принадлежности. Рабочий, крестьянин, лавочник могут вести совершенно одинаковый образ жизни, но они будут членами различных классов, поскольку различны их места в производстве. Владелец небольшого завода в провинциальном городке и Стиннес ведут различный образ жизни, их «standart of life» несравним, а между тем они члены одного класса. Называть интеллигента пролетарием потому, что он ведет образ жизни пролетария, значит иметь не материалистическое представление о классах, а тянуться вслед за Д'Этом и Деканом с их теориями разделения классов по уровню жизни. Это значит—брать критерием класса высмеянный Марксом — в полемике с Гейнценом — «размер кошелька».

Попытка, расслоив социальную категорию интеллигенции на ряд пластов (буржуазная, пролетарская и крестьянская и т. д.), распылить ее между отдельными классами, должна быть отвергнута, как сопряженная с признанием недействительной заметной классовой единицы современного общества и как основанная на определении классового коэффициента по признакам суб'ективного порядка.

Быть может, более основательно в таком случае стремление, не распыляя интеллигенцию между различными классами, присоединить ее, так сказать, единым пластом к какому-либо классу, об'явив ее частью этого класса? Такие попытки имеют место по отношению—мы уже на это указывали выше—к буржуазии, мелкой буржуазии, пролетариату.

Итак, действительно ли интеллигенция—буржуазия, как об этом с дубоватой прямолинейностью твердил В. Шулятиков? В одной провинциальной немецкой газете я прочел, помню, рассказ какого-то «очевидца», бежавшего из Советской России и повествовавшего о том, что всякого, кто носит перчатки, считают в Москве «буржуем» и волокут в Чека... Так вот, разве с этой «перчаточной» точки зрения можно признать интеллигенцию принадлежащей к буржуазии? Марксизм же этого отнюдь не позволяет сделать. Класс собственников капитала, источником существования которых является прибыль,—достаточно лишь вспомнить об основных кадрах интеллигенции — учителе, враче, инженере, литераторе и десятках других видов работников умственного труда, продающих свою рабочую силу, чтобы решительно сказать, что таковым не является интеллигенция? Где капитал, которым она владеет? Или таковым, по примеру махаевцев, об'явить знания? Но этого мы еще коснемся ниже. Где прибавочная стоимость, которую присваивает себе интеллигенция? Достаточно лишь поставить эти вопросы, чтобы понять всю нелепость квалификации интеллигенции как осставной части класса буржуазии.

Значительно серьезнее попытки об'явить интеллигенцию частью мелкой буржуазии или частью рабочего класса. То и другое имеет под собой определенные, внешне убедительные основания. Мелкая буржуазия — промежуточный класс, расположенный меж полюсами капитала и труда. Множество интеллигентов имеет классовый интерес, идентичный с интересом ремесленника, кустаря, мелкого лавочника. Вольно-практикующий врач, юрист, художник и другие представители так называемых либеральных профессий занимают в хозяйственном процессе то же место, что кустарь, ремесленник, середняк-хозяйчик. И поскольку социолог имел бы дело исключительно с этими интеллигентами, он в праве был бы — по примеру тов. Луначарского — отнести интеллигенцию целиком к мелкой буржуазии, однако на ряду с интеллигентами, мелким буржуа имеется такое же, а быть может, и большее множество интеллигентов, продающих свой труд на тех же совершенно основаниях, что и пролетарии, занимающих сходное с ними место в хозяйственной жизни. Вопрос о ремесленном и пролетарском слоях интеллигенции мы подробнее разберем ниже. Пока лишь заметим: в категорию интеллигенции входят составным элементом пролетарии, этого факта достаточно для того, чтобы признать невозможным вкрапление всей этой категории в класс мелкой буржуазии; и, наоборот, в эту категорию входят таким же составным элементом ремесленники-кустари, следовательно ее нельзя вкрапить в рабочий класс. И то и другое в равной мере неприемлемо.

Таким образом остается в силе допущенное нами выше предположение: интеллигенция представляет собою самостоятельный класс.

Но признать интеллигенцию самостоятельным классом мы не можем, поскольку место, занимаемое в хозяйственном процессе лицами, образующими данную социальную категорию, не совсем одинаково, и, следовательно, не совсем одинаково также их антагонистическое отношение к членам других классовых группировок. Мы постараемся ниже показать, что если все лица, входящие в категорию «интеллигенции», существуют путем эксплоатации своих знаний, что позволяет нам об'единять их в одну классовую группировку, то в то же время одни из этих лиц продают свою рабочую силу в качестве пролетариев, другие использовывают ее в качестве кустарей-ремесленников. Это обстоятельство и не позволяет нам признать интеллигенцию самостоятельным классом и дает основание рассматривать ее, как межклассовую группировку, т.-е. такую социальную категорию, в которую входят лица, положение которых в системе народного хозяйства тождественно с непосредственными «соседями» данной группировки по классовому спектру. Этими «соседями» по отношению к интеллигенции являются рабочий класс и мелкая буржуазия.

III.

Нам предстоит раньше всего показать, что интеллигенция характеризуется тем, что лица, относящиеся к данной социальной категории, существуют путем продажи своей умственной (интеллектуальной) энергии.

Здесь перед нами встает старый вопрос о невозможности провести четкую грань между работниками умственного труда (Kopfarbeiter) и работниками физического труда (Manuelle Arbeiter). Конечно, это возражение относительно правильное. Оно правильно в том отношении, что всякий работник умственного труда затрачивает при осуществлении трудового процесса на-ряду с умственной также и мышечную энергию, и, наоборот, любой работник физического труда не может обойтись без затраты нервно-мозговой энергии. Но из этого отнюдь не следует, что мы должны вообще отказаться от разграничения работников умственного и физического труда.

Психофизиологи по-своему правы, отказываясь в последнее время от традиционного деления труда на «физический» и «умственный». Этим отказом они подчеркивают, что деятельность центральной нервной системы и деятельность периферических органов с их нервно-мышечными аппаратами неразрывно связаны друг с другом. Но те же психофизиологи вынуждены признать, что в трудовой деятельности — в зависимости от характера ее — устанавливается определенное соотношение между мозговой и мышечной работой [1]). Этот момент количества, обусловливающего качество,

[1]) См., например, по этому вопросу статью д-ра В. И. Рабиновича «Механизм утомления с рефлексологической точки зрения» в сборнике «Психофизиология труда». Гиз. Ленинград, 1925; статью В. А. Левицкого «Умственный труд и утомляемость», — «Наука и техника» 1922, № 2—3; лекции по проф гигиене проф. Н. А. Вигдорчика, изд. «Книга», Ленинград 1925; В. В. Ефимова «Утомление и борьба с ним», Транспечать, Ленинград 1924 и др.

является для социолога — при классификации работников физического и умственного труда — решающим.

Диалектика учит нас никогда и нигде не проводить абсолютных границ. Мы знаем, что даже такие, казалось, ясные понятия, как «живое» и «мертвое», весьма относительны. Живой организм часто заключает в себе мертвые клетки. После смерти человека многие клетки его организма продолжают жить. Но ведь мы не отказываемся проводить поэтому грань между живым человеком и трупом!.. Точно так же мы не колеблемся называть скульптора работником умственного труда, а грузчика работником физического труда, несмотря на то, что скульптор не в состоянии обойтись без траты мускульной энергии, а грузчик должен ворочать мозгами — затрачивать энергию умственную.

Известный исследователь в области психотехники Шлезингер отрицает возможность провести грань между работниками умственного и физического труда на том основании, например, что «если у бухгалтера руки остаются чистыми и ему удобно носить белый воротничок, то его работа вовсе не тяжелее и не напряженнее, чем умственный труд рабочего у станка» [1]). Но, так говоря, Шлезингер не отдает должного внимания тому факту, что при нарезке шпинделя или шлифовке калибра мозговая работа играет вспомогательную роль, а при бухгалтерском подсчете она имеет самодовлеющее значение.

Работник, в трудовых процессах которого основную, главенствующую роль играет трата умственной, нервной энергии, а трата физической, мышечной энергии играет подсобную, подчиненную роль, является работником умственного труда, и наоборот.

Подчеркнем здесь и то, что умственная работа, связанная с деятельностью нервных центров, как устанавливает ряд научных открытий последнего времени, поддается определенному об'ективному учету.

Проф. Л. С. Минор в своем докладе I-му Всероссийскому Психо-Неврологическому с'езду указывал, что работами Мере и Флоранс установлен факт повышения давления сонной артерии при умственной работе, т.-е. усиленный приток крови к мозгу. Одновременно этими же авторами установлен огромной важности факт, что при умственной работе повышается и температура мозга на 0,2—0,3° С. Наконец профессорами Кенигсбергского университета Кестнером и Книппингом доказано, что при умственной работе расходуется минимальное количество калорий (колка дров требует 420 кал. в час; стирание пыли в комнате — 100 кал. в час, а усиленная умственная работа всего 6 кал. в час.), но сопровождается усиленным распадом мозгового вещества и в связи с этим повышенным содержанием в крови фосфорной кислоты [2]).

---

[1]) Г. Шлезингер, Психотехника и наука о производстве, М. 1922, стр. 28.

[2]) Проф. Л. С. Минор, К вопросу о питании тружеников ума, — «Русская клиника», М. 1924, № 1.

В последнее время ученым удалось выделить из крови умственно переутомленных людей особое сильно действующее вещество, которое названо «ядом утомления» (кенотоксин). Если это вещество впрыснуть в кровь совершенно здоровому, нисколько не утомленному человеку, то у него сейчас же обнаруживаются все признаки умственного переутомления: физическая разбитость, вялость, апатия, неумение сосредоточить свое внимание на чем-нибудь и т. д. [1]).

Как мы видим, у нас имеются достаточные основания, чтобы говорить об умственной работе, как об отличной от физической, и работника, у которого этот вид работы является в трудовом процессе господствующим, называть работником умственного труда. Обследование нервно-психической сферы педагогов, например, произведенное в России проф. Кашкадамовым, проф. Залкиндом, д-ром Поповым, Институтом изучения профболезней имени Обуха и др., установило наличие у педагогов массовых нервно-психических отклонений от нормы, обусловленных профессией. Так, обследование Обуховского института дало 50% легко-нервных и 26% тяжело-нервных (тяжелая истерия, шизоидный невроз, тяжелая неврастения и т. д.) педагогов. Этиология заболеваний показывает в 30% исключительно профессиональное влияние и в 38% наследственно-конституционное плюс профессиональное влияние [2]).

Деятельность учителя, писателя, инженера сопряжена не только с работой центральной нервной системы, но и с работой периферических органов. Деятельность эта осуществляется не только мозговой корой, но и нервно-мышечным аппаратом. Однако преобладание работы первого рода и ведет к специфическим заболеваниям, указывающим на всю значительность этого преобладания.

Мы говорили выше, что классовое положение интеллигента (члена социальной группировки «интеллигенция») определяется тем, что он существует продажей своей умственной энергии. Посмотрим же, каков механизм превращения интеллигентом своей рабочей силы (умственного труда) в источник существования.

В приложении к так наз. IV тому «Капитала» Маркс указывает, что при умственном труде (не материальном производстве по его терминологии). возможны два случая:

1) В результате его получаются товары, потребительские ценности, имеющие самостоятельный вид, отдельный как от производителя, так и от потребителя, т.-е. такие предметы, которые могут существовать в промежутке между производством и потреблением, стало быть могут обращаться в продолжение этого промежутка как продажные товары, например книги, картины — словом, все продукты искусства, которые существуют отдельно от творческой деятельности художников, их создающих.

---

[1]) Д-р. Г. И. Гордон, Гигиена умственного труда, изд. «Современные проблемы», М. 1925 г., стр. 62.

[2]) Д-р И. Г. Равкин, Обследование нервно-псих. сферы педагогов, — «Раб. Просв.», 1924 г., № 23.

2) Производство неотделимо от потребительного акта, как это имеет место у всех художников-исполнителей, у актеров, учителей, врачей, попов и т. д. [1]).

Касаясь охарактеризованных им случаев, Маркс говорит, что «здесь капиталистическое производство применимо только в очень ограниченной мере».

Можно считать совершенно несомненным, что Маркс ставил распространение капиталистического производства на сферу умственного труда лишь количественные (но отнюдь не принципиальные) границы. Действительность, окружавшая Маркса, давала ему полное право сказать, что «проявления капиталистического производства в этой области (умственного труда. *С. В.*) так незначительны по сравнению со всею совокупностью производства, что могут быть оставлены совершенно без внимания» [2]). Не приходится говорить, что те проявления капиталистического производства в области умственного труда, которые было вполне позволительно игнорировать Марксу, заслуживают нашего серьезного внимания. То, что во времена Маркса было исключением, — капитализации умственного труда — в наши дни является существенным фактом экономической жизни: мы стоим пред лицом оккупации капитализмом всей почти территории умственного труда.

Маркс дает множество примеров капитализации умственного труда. Он говорит о «научных и художественных производителях», которые работают на торговый капитал. Указывает, что «учителя могут быть в учебных заведениях простыми наемными рабочими для предпринимателя заведения» и т. д. и т. д. Такие случаи Маркс, однако, склонен был рассматривать как единичные. Но из единичных во времена Маркса такие случаи превратились в типичные для нашего времени.

Если Маркс характеризовал господствующие в области умственного труда формы как переходные к капитализму (см. Теории прибавочной стоимости, ч. I, Приложение), то мы в настоящее время имеем достаточные основания утверждать, что с XIX веком переходная стадия закончилась и капиталистическое производство властно охватило своими щупальцами умственный труд. Уже Маркс заговаривал о том, что в Англии существуют «учебные фабрики». За 60 лет, минувших с тех пор, учебные, газетные, театральные, больничные и всякого рода иные «фабрики» в области умственного труда стали самым обыкновенным, весьма типическим явлением. Современное, для примера, газетное дело построено целиком на капиталистических принципах, и журналист большой европейской или американской газеты — типичный «фабричный рабочий», продающий свою рабочую силу. «Уже давно минуло, — пишет Керженцев, — то время, когда периодическая печать была отражением мнений отдельных талантливых журналистов, когда газета или журнал

---

[1]) Карл Маркс, Теория прибавочнх ценностей, изд. Ком. У-та им. Зиновьева, Петроград 1923 г., стр. 277.

(Мною исправлено «потребительного акта» — ввиду ошибки в переводе. *С. В.*)

[2]) Ibidem, 277.

созидались вокруг одного крупного литературного имени, задававшего тон изданию. Такие газеты и журналы исчезли в буржуазном обществе без остатка. Отдельный писатель уже не имеет возможности влиять на общественное мнение при помощи какого-то «своего» издания. Общие условия капиталистического хозяйства и в частности исключительная дороговизна технического оборудования газеты свели на-нет такие попытки. Теперь газета всегда является собственностью партии, синдикатов, крупных финансистов, банков и т. д. В газетном деле за последнее время особенно ярко сказалась тенденция к синдицированию газетных предприятий. Даже отдельный крупный капиталист уже не в силах теперь вести дело на свой страх и риск. Явилась экономическая потребность об'единения ряда изданий. Таким путем создалось несколько крупных газетных трестов, особенно в Англии и Америке. Знаменитый газетный синдикат лорда Нортклиффа за каких-нибудь 10 лет приобрел себе в собственность следующие крупнейшие издания Англии: «Times», «Daily Mail», печатающиеся одновременно в 3 городах: Лондоне, Париже и Манчестере, вечернюю газету «Evening News», воскресную «Weekly Dispatsch», ежедневную иллюстрированную «Daily Mirror», несколько провинциальных изданий, несколько еженедельников и ежемесячников всякого рода (общих и специальных). Этот синдикат все расширяется и скупает все новые и новые газеты. В Англии несколько таких газетных спрутов [1]).

Наглядное представление о капиталистическом характере современных капиталистических издательств могут дать следующие цифры, касающиеся Англии: газета «Дейли Мейл» выплачивала дивиденда в 1911—1913 г.г.—12%. 1914 г. — 17%, 1917 г. — 15%, 1920 г. — 20%.

«Дэйли Мирор К°» имеет основной капитал в 1.050.000 фунтов стерлингов, а прибыль его за 1923 г. исчисляется в 414.446 фунтов. Из-тво «Ассошиэйтед Ньюспейперс Лимт» владеет основным капиталом в 2.600.000 фунтов и прибыль его за 1923 г. определяется цифрой в 667.928 фунтов [2]).

Кто читал «Медную Марку» Синклера, хорошо знает, что представляют собой «газетные фабрики» Америки. Даже молодой русский капитализм начал строить подобного рода «фабрики». История с газетой «Русская Воля» у многих в памяти. Недавно было опубликовано письмо Леонида Андреева, в котором этот большой писатель жалуется, что, став редактором «Русской Воли», он превратился в «товар», которым без всяких церемоний торгуют. Один предприниматель, передавая газету другому, вместе с прочим инвентарем продает ему также редактора и сотрудников... В интересных записях Жана Бруссона — секретаря покойного Анатоля Франса — имеются любопытные страницы, изображающие процесс изготовления Франсом «изделий» по заказам покупавшей его европейской прессы [3]).

---

[1]) Керженцев, Газета, М. 1919 г., изд. ВЦИК, стр. 8.

[2]) Заимствую эти данные из статьи А. Чекина «Печать современной Англии», — «Современник» 1925 г., № 1, стр. 244.

[3]) См. Жан Жак Бруссон, Анатоль Франс в халате, изд. «Время», Ленинград 1925 г., стр. 255 и др.

Капитализм создал газетные фабрики, фабрики учебные, фабрики здоровья и т. д. Эти фабрики принадлежат капиталистам-предпринимателям, на них работают многочисленные кадры наемных рабочих — журналистов, учителей, врачей и других. Если в свое время Маркс имел, как мы видели, достаточные основания признать капиталистический процесс в сфере умственного труда весьма слабо выявленным, то мы в настоящее время этого более сделать не можем.

В качестве иллюстрации того, как велика в западных странах роль частного капитала, например, в деле народного образования, можно указать, что из 897 начальных школ (I ступени) Парижа 450, т.-е. больше половины, являются в настоящее время частновладельческими учебными заведениями.

В стране наиболее развитого капитализма—в Северо-Американских Соединенных Штатах — все дело народного образования находится в руках капиталистических организаций, для которых оно является таким же источником обогащения и наживы, как нефть, уголь, хлопок.

Вот как, напр., классифицирует Эптон Синклер высшие учебные заведения Северной Америки. Колумбийский университет — банкирского дома Моргана, Пенсильванский университет — Соединенной Газовой Компании; Калифорнийский университет — Треста Гидро-Электрической Энергии; Денверский университет — Колорадской Компании Топлива и Железа; Миннесотский университет — Рудникового Треста; Монатанский университет — Анакондской Медной Компании и т. д. и т. д.

Для того, чтобы должным образом оценить капиталистический характер современного американского университета, укажем, что, напр., состояние Колумбийского университета фирмы Моргана оценивается в 75 миллионов долларов, а его годовой доход превышает 7 миллионов.

Старым словам «Коммунистического Манифеста» о враче и юристе, о поэте и человеке науки, которых буржуазия превратила в своих наемных рабочих, последние десятилетия придали новый смысл. Этот смысл в том, что мы можем констатировать наличие в современном обществе сотен тысяч и миллионов работников умственного труда, являющихся пролетариями, т.-е., опять говоря языком «Коммунистического Манифеста», вынужденных продавать себя в розницу и представляющих собой такой же товар, как и всякий другой предмет торговли. Мы уже приводили некоторые достаточно внушительные цифры, характеризующие численный состав таких профессионально организованных пролетариев. В своих комментариях к Герлицкой программе Карл Каутский так изображает этот процесс образования в Германии миллионной армии работников умственного труда — пролетариев:

— С 1882 г. по 1907 г. число служащих в земледелии, промышленности и торговле возросло с 307.000 до 1.291.000, между тем как число наемных рабочих, в собственном смысле, только с 10.705.000 до 17.836.000 ч., число же самостоятельных с 5.191.000 до 5.490.000. Следовательно, число самостоятельных осталось почти неизменным, число наемных рабочих не вполне удвоилось, в то время как число служащих учетверилось. Наиболее сильный рост числа служащих отмечает промышленность: с 99.000 до 686.000, или

почти в семь раз, между тем как число промышленных рабочих возросло несколько больше, чем вдвое, поднявшись с 4 милл. до 8,5 милл. Из каждой 1000 занятых промысловой деятельностью в сельском хозяйстве, промышленности и торговле было:

	В 1882 г.	В 1907 г.
Самостоятельных .	320	223
Рабочих	661	725
Служащих .	19	52

Число состоящих на службе государства, общин и церкви, а также лиц свободной профессии возросло не так сильно, но все же сильнее, чем общий рост населения. Эти категории, если не считать армии и флота, круглым счетом охватывали в Германии в 1882 г. — 579.000, в 1907 г. — 1.087.000 — увеличение плюс 88%. В то же время общая численность населения увеличилась всего лишь на 37%, а среди промыслового населения увеличение было на 52%. Сосчитывая число служащих государственных и иных чиновников и лиц свободных профессий вместе, получаем группу довольно разнородных элементов, которых охотно об'единяют под именем «нового, среднего сословия», или интеллигенция. Это «новое сословие» насчитывало в 1882 г. 886.000, а в 1907 г.—2.337.000 или на 1.491.000 больше. «Старое» же «среднее сословие», насчитывавшее в 1882 г. 5.190.000, составляло в 1907 г. 5.490.000 или увеличилось за тот же промежуток времени только на 300.000 [1]).

Тот же процесс, который Каутский характеризовал приведенными выше словами в отношении Германии, имеет место в любом капиталистическом государстве. Современные Франция, Англия, Америка насчитывают миллионы работников умственного труда — пролетариев, образующих заметную классовую прослойку. О количестве таких работников по СССР дают приблизительное представление следующие цифровые данные, относящиеся к профессиональным союзам, в подавляющем большинстве охватывающим работников умственного труда. На 1 января 1924 г. числилось членов: в Всеработпросе — 498.000, в союзе Совработников — 691.000, в Медсантруде — 337.000, в Рабисе — 72.000 ч., а всего по четырем перечисленным союзам — 1.608.000. Эта цифра является минимальной для определения профессионально организованных работников умственного труда по СССР, так как число работников физического труда, входящих в перечисленные 4 союза, с излишком компенсируется работниками умственного труда, являющихся членами остальных 19 союзов.

Капиталистическая экспансия стремительно распространяется на область умственного труда, поскольку капиталист делает этот труд производительным. Когда же и какой же труд считает капиталист производительным? «Производительный труд» — в системе капиталистического производства, — говорит Маркс, — «есть такой труд, который производит для лица, дающего ему применение, прибавочную ценность, или, иначе, тот, который пре-

[1]) Карл Каутский, Пролетарская революция и ее программа, Берлин 1923 г., стр. 49 — 50.

вращает о б'е к т и в н ы е условия труда в капитал, а их владельца—в капиталиста, стало быть труд, создающий свой собственный продукт в виде капитала» [1]). В другом месте Маркс подчеркивает, что цель капиталистического производства — о б о г а щ е н и е, в о з р а с т а н и е ц е н н о с т е й, т.-е. сохранение прежней ценности и создание прибавочной ценности. И этот с п е ц и ф и ч е с к и й п р о д у к т процесса капиталистического производства получается капиталом только в обмен на труд, называемый потому «производительным трудом» [2]).

Когда мы говорим о «производительном труде», — в том относительном понимании этого термина, которое охарактеризовал Маркс, — то мы это понятие связываем, конечно, не с конкретной, вещественной формой проявления труда, а с общественными условиями, в которых он реализуется. Мы находим у Маркса интереснейшие иллюстрации того, как капитализм делает умственный труд «производительным».

«...Мильтон, написавший «Потерянный рай», был непроизводительным работником. Напротив, писатель, работающий на своего издателя на фабричный манер, является производительным работником. Мильтон произвел свой «Потерянный рай», повинуясь тем же побуждениям, которые заставляют шелковичного червя производить шелк. Это было деятельное проявление его природы... А лейпцигский литературный пролетарий, фабрикующий под начальством своего издателя книги... является производительным работником, так как его производство с первого же момента подчинено капиталу и совершается только для увеличения ценности этого последнего. Певица, продающая свое пение на свой собственный риск, — непроизводительный работник. Но та же самая певица, приглашенная антрепренером, который заставляет ее петь для того, чтобы выручать деньги, — производительный работник, так как она производит капитал» [3]).

Среди сотен тысяч работников пера вряд ли в наше время найдется несколько десятков, творящих подобно Мильтону, подчиняясь одному лишь инстинкту, сходному с потребностью шелковичного червя производить шелк. Вся эта армия состоит из «лейпцигских литературных пролетариев», фабрикующих статьи и книги для своих издателей... Диккенс или Тургенев еще творили, как Мильтон, но сапог капитализма раздавил шелковичных червей литературы и науки, подобно тому, как капиталистический топор срубил чеховские вишневые сады... Когда Сытин и Маркс состязались между собой из-за получения права на издание сочинений Леонида Андреева, Андреев с цинической откровенностью сказал: «Писатель — что проститутка. Кто больше заплатит — туда пойдет»...

Капитал рекрутирует в пролетарскую армию миллионы работников умственного труда. Он ставит их себе на службу, делает их труд «производительным», т.-е. выкачивает из него себе на потребу — прибавочную ценность.

---

[1]) М а р к с, Теория прибавочной ценности, ч. I, стр. 270.
[2]) Ibidem, 272.
[3]) Ibidem, 273.

Последнее обстоятельство иногда берется под сомнение. Остановимся поэтому несколько на нем, обратившись к тем основным группам работников умственного труда, по отношению к которым капитал осуществляет извлечение прибавочной стоимости.

Раньше всего посмотрим, как обстоит дело с так называемыми косвенными участниками производительного процесса: инженерами, инструкторами, административно-техническим персоналом промышленного предприятия. Все это работники умственного труда, которые, строго говоря, прямого участия в производственном процессе не принимают. И потому полагают: инженер материальных ценностей сам не создает, следовательно он не создает и прибавочного продукта, следовательно капиталист никакой прибавочной стоимости из его труда извлечь не может...

В четвертом «Социальном письме» Родбертус уже отчасти показал несостоятельность такой точки зрения. Маркс же ее совершенно разрушил. В приложении к I ч. «Теории прибавочной стоимости» он говорит:

«С развитием специфически-капиталистического способа производства, при котором многие рабочие коллективно занимаются производством одного и того же товара, отношение, существующее непосредственно между их трудом и предметом производства, конечно, должно быть весьма различным. Например, упомянутые выше чернорабочие на фабрике совсем не имеют прямого отношения к обработке сырья. Рабочие, состоящие надсмотрщиками над теми рабочими, которые непосредственно имеют дело с этой обработкой, стоят еще несколько дальше; отношение инженеров опять-таки другое, и работают они, главным образом, своей головой и т. д. Но вся масса этих рабочих, владеющих рабочей силой различной ценности, производит результат, который — если иметь в виду только результат процесса труда — выражается в товарах или в каком-нибудь материальном продукте; все они вместе, как рабочие, служат живыми машинами производства этих продуктов, подобно тому, как все они — с точки зрения процесса производства, взятого в его целом — обменивают свой труд на капитал и воспроизводят деньги капиталистов в виде капитала, т.-е. как ценность, увеличивающуюся в процессе труда, самовозрастающую ценность. Именно капиталистическому способу производства свойственно разобщать различные виды труда, а стало быть также и умственный и ручной труд или те виды труда, в которых преобладает та или другая сторона, — и распределять их между различными лицами, что, однако, не мешает материальному продукту быть общим продуктом этих лиц или не мешает их общему продукту овеществляться в материальном богатстве; с другой стороны, это также нисколько не мешает тому и нисколько не изменяет того, что отношение каждого из этих лиц в отдельности к капиталу есть отношение наемного рабочего и в этом особенном смысле является отношением производительного рабочего. Все эти лица не только непосредственно участвуют в производстве материального богатства, но и обменивают свой труд непосредственно на деньги, как на капитал, и поэтому непосредственно воспроизводят для капиталистов не только свою заработную плату, но и при-

бавочную ценность. Их труд состоит из оплаченного труда плюс неоплаченный прибавочный труд» [1]).

С ясностью, не оставляющей места никаким сомнениям, Маркс доказал, что инженер и всякий иной работник умственного труда, служащий в капиталистическом предприятии, является, так же как и работник физического труда, об'ектом капиталистической эксплоатации. Я б хотел привести еще одну иллюстрацию к этому положению. В последние годы на фабриках С. Штатов появилась новая должность — так называемого ученого консультанта. Такой консультант не имеет пред собой никаких практических заданий, он получает заработную плату лишь за то, что занимается на устроенном при фабрике кабинете или лаборатории какой ему угодно теоретической работой и своими чисто теоретическими достижениями «делится» с владельцами фабрики. Где бы, казалось, здесь место присвоению прибавочной стоимости? Человек ведет абстрактно-теоретическую работу, как же можно его эксплоатировать? Не приходится, однако, говорить о том, что современные американские владельцы автомобильных заводов или нефтяных источников меньше всего похожи на меценатов. И если они выплачивают огромную заработную плату своим ученым консультантам, то отнюдь не по высоким мотивам покровительства науке, — как об этом иногда они сами провозглашают в им же принадлежащих газетах, — а по мотивам совершенно иного характера... Теоретические изыскания консультанта в конце концов превращаются в один из элементов того общего продукта, который вырабатывается на фабрике и который приносит капиталисту прибавочную стоимость. Гексли когда-то сказал, что «если нация заплатит за возможное появление Уатта, Деви или Фарадея сотни тысяч фунтов золотом, то они обойдутся ей даром». Уатт работал, как и Мильтон, по образу и подобию шелковичного червя. Но чикагские и бостонские фабриканты запирают Уаттов и Фарадеев в свои фабричные лаборатории, платят им тысячи фунтов золота и знают, что они обходятся «даром». Капиталистическая мясорубка наших дней умеет превращать мозг Мильтона и Уатта в прибавочную стоимость...

Переходим к другой категории работников умственного труда. То — категория лиц, умственный труд которых может овеществляться: художник, скульптор, писатель, композитор. Совершенно очевидно, что эта категория работников воплощает свой труд в вещи — товары. Статуя, картина, книга, рукопись — такой же товар капиталистического рынка, как кровать, сапоги, шоколад.

Ломбард Парижского Муниципального Кредитного Общества недаром решил недавно выдавать ссуды драматургам под рукописи новых пьес...

В интересной работе швейцарского марксиста Лю Мертен «Die wirtschaftliche Lage der Künstler» содержится детальный анализ произведения искусства, как товара [2]).

---

[1]) Ibidem, 278.

[2]) Lu Märten, Die wirtschaftliche Lage der Kunstler, Verlag Georg Müller, München 1914, S. 180.

Законы рынка в полной мере регулируют в современном обществе цену произведения искусства. Спрос формирует, в подавляющем большинстве случаев, стиль, содержание, характер литературного, музыкального, скульптурного, живописного произведения. Лю Мертен, а также Пауль Дрей приводят многочисленные примеры того, как торговля дает современному художнику строго обусловленные детальными указаниями заказы на произведения искусства и как эти заказы в точности выполняются [1]).

На произведениях искусства торговцы нередко наживают многотысячно-процентную прибыль. Бывают случаи, когда картина, проданная художником за несколько сот франков, по истечении определенного срока начинает котироваться в сотни тысяч, как это, напр., было с кратиной Дега «Танцовщица на шесте», отданной художником за 500 франков и затем проданной за 450.000 франков, в то время, как творец ее бедствовал в нищете. Это не единственный, а весьма типичный случай...

Производитель товара, в который воплощен умственный труд, может быть об'ектом капиталистической эксплоатации в той же мере, что и любой другой производитель. Акционерное общество, владеющее издательством, выплачивает своим членам дивиденд из того же источника, что и акционерное общество, владеющее текстильной фабрикой прибавочной стоимости. Капиталист-издатель не оплачивает прибавочного труда наборщика, метранпажа, корректора, автора, при чем его прибыль черпается, главным образом, из прибавочной стоимости, создаваемой автором, так как ценность книги в основном создается последним (в наиболее чистом виде это обстоятельство проявляется в издательствах, где издательское дело отделено от типографского). Рассказывают про Гергарда Гауптмана, что однажды он получил от своего издателя запрос, не возражает ли великий писатель против того, чтобы назвать его именем виллу, построенную издателем. Гауптман отвечал: «Пожалуйста. Если не в честь моего таланта, то в память о труде, который я затратил на сооружение этой виллы»... Еще в гораздо бóльшей степени могли повторить эти слова сотни менее известных писателей, — тех, кого Маркс называл «лейпцигскими литературными пролетариями». Относительно рассматриваемой категории работников умственного труда, вопрос — думается нам — представляется достаточно ясным. Возможность их капиталистической эксплоатации очевидна.

Не столь ясным кажется с первого взгляда положение той категории работников умственного труда, которая своего труда не в состоянии овеществлять. Музыкант, учитель, левец, врач, артист, адвокат не превращают своего труда в материальные об'екты. При их труде, по выражению Маркса, акт производства совпадает с актом потребления. Таким образом можно предполагать, — не создавая товаров, труд этой категории работников не создает и прибавочной стоимости. Маркс предостерегал от такого рода решения вопроса. Подвергая критическому разбору взгляды Адама Смита на по-

---

[1]) См. Paul Drey, Die wirtschaftlichen Grundlagen der Malkunst, Verlag Cotta, Leipzig 1910.

нятие производительного труда, Маркс указывал, что отношения между антрепренером и артистом типично капиталистические. «...Он, — говорит Маркс об антрепренере, — покупает этот так называемый «непроизводительный труд», которого «услуги исчезают в момент их выполнения» и не фиксируется или не реализируется в особом «предмете, сохраняющемся в течение некоторого времени, или в продажном товаре» (кроме как в них самих)... Продажа этих услуг публике возвращает антрепренеру заработную плату и дает прибыль. И услуги, купленные им таким образом, дают ему возможность возобновлять их, т.-е. ими же самими и восстанавливается фонд, из которого они оплачиваются» [1]). В самом деле, если мы выше говорили, что прибыль, получаемая владельцем издательства, ничем не отличается от прибыли владельца текстильной фабрики, то имеются ли у нас основания устанавливать какую-либо принципиальную разницу между прибылью владельца издательства и антрепренера — владельца театра? Я думаю, что никаких оснований к этому нет.

С одной стороны мы имеем капиталиста — владельца здания, мебели, декораций, бутафорий, реквизита, гардероба и т. д., а с другой стороны — актера, владельца голой рабочей силы, лишенного об'ективных условий, необходимых для приложения его труда, и потому становящегося об'ектом капиталистической эксплоатации. Прибыль владельца театра тождественна с прибылью владельца издательства. То же самое можно сказать, — мы этого уже коснулись выше, — относительно владельца учебного заведения, владельца больницы и т. д. По всей этой линии мы сталкиваемся с работниками умственного труда, относительно которых можно с полным правом повторить слова «Коммунистического Манифеста», что «они только тогда и могут существовать, когда находят работу, а находят ее только до тех пор, пока труд их увеличивает капитал».

Работник умственного труда занимает на биржах труда место, тождественное с работником физического труда. В современной Америке педагог не в состоянии получить места, минуя частные агентства — так называемые «Конторы по найму учителей», подвергающие претендента на учительскую должность самой беззастенчивой эксплоатации.

Кроме того, следует еще указать на обстоятельство, правильно подчеркнутое тов. Б. И. Горевым в одной из его статей об интеллигенции и заключающееся в том, что процесс техники иногда создает возможность осуществлять даже такие проявления умственного труда, которые ранее считались совершенно недоступными какому бы то ни было воплощению в материальных об'ектах. Такие «нематериальные» (конечно, в условном смысле слова), насквозь индивидуальные формы проявления нашего «духа», как голос, жест, мимика, могут быть зафиксированы в столь вполне «вещественных» продуктах, как пластинка граммофона и лента кинематографа. Те самые «комедианты, актеры, музыканты, оперные певцы, балетные танцовщицы», о которых с таким пренебрежением говорил Смит, участвуют теперь в колоссальных отраслях

---

[1]) «Теория прибавочной ценности», стр. 175.

промышленности вполне материального характера, так же, как писатели в книжном и газетном деле. Есть многочисленные группы актеров, которые работают только для кинематографа, следовательно участвуют лишь в создании материальных продуктов [1]).

Отмечу также, что даже там, где об'ективные условия никоим образом не допускают превращения умственного труда в товар, капиталист создает, так сказать, «символы товара» и эти «символы» пускает в оборот. Театральный билет является таким же товаром капиталистического рынка, как и всякий другой. Лучшим доказательством тому служит существование целой категории торговцев-спекулянтов этим товаром — так называемых театральных барышников. В крупных больницах европейских и американских городов продаются также особые билеты на право пользования медицинской помощью (здесь действует и товарный прейскурант, регулирующий цены на врачебный товар в зависимости от целого ряда признаков, — стаж врача, популярность, специальности и т. д.). И здесь мы имеем дело с товаром «символизирующим» умственный труд, не поддающийся овеществлению.

Итак, в отношении всех трех категорий, на которые мы разделили работников умственного труда, можно считать установленным, что они подвержены капиталистической эксплоатации в качестве наемных рабочих.

Эта эксплоатация, чем дальше, встречает тем более энергичный отпор. Достаточно обратиться к тем отношениям, которые существуют в настоящее время между работниками умственного труда различных категорий и соответствующими предпринимателями, чтобы убедиться в том, что здесь на-лицо самая ожесточенная классовая борьба между пролетарием и капиталистом.

Чтобы посмотреть, в какие формы отливается эта борьба, обратимся, для примера, к работникам искусства.

Профессиональная пресса работников искусства пестрит сотнями сообщений о забастовках актеров, певцов, музыкантов, художников, вспыхивающих то в одном, то в другом месте, о локаутах, бойкотах, штрейкбрехерстве, стачечных фондах и других формах классовой схватки.

Чтобы не быть голословным — хотя бы несколько из множества примеров, относящихся к 1924 году.

В конце года в Кенигсберге была об'явлена Артистической Ложей забастовка. В заранее установленный час у дверей всех эстрадных предприятий внезапно появились стачечные дозоры с большими плакатами «здесь бастуют артисты»... Уже через два часа после об'явления забастовки все предприятия согласились удовлетворить требования профсоюза за исключением только двух: «Фледермаус» и «Пассаж». На второй день во «Фледермаусе» появилось об'явление: «Несмотря на забастовку, будет кабарэ». Оказывается, администрация предложила одной из опереточных артисток 100 марок за выступление и такое же предложение сделала одной балерине, но она отказалась. Немедленно союзом было сообщено по телефону опереточному театру (дирекции), что появятся плакаты: «Здесь работают в качестве штрейкбрехеров

---

[1]) Б. И. Горев, На идеологическом фронте, Гиз, М. 1923 г., стр. 29.

артисты городского театра». Благодаря стачечным патрулям публика в бастующие театры не попадала, и все под'езжающие автомобили задерживались и возвращались обратно... На третий день неожиданно были арестованы полицией стачечные патрули и члены союза, дежурившие с плакатами у входа в предприятия. Упорство некоторых предприятий и нежелание их пойти на уступки об'ясняется тем, что владельцы их ничего общего с искусством не имеют и для них это своеобразный вид спорта — и только. Так, хозяин пресловутого «Фледермауса» — богатый лесопромышленник, для которого убытки от забастовки значения никакого не имеют и который не идет на уступки «принципиально». Характерно, что, получив сведения о забастовке, президиум предпринимательского союза (Берлин) отправил телеграмму в Кенигсберг, в которой предупреждал забастовавших артистов, что в случае непрекращения забастовки в 24-часовой срок все они будут занесены в черные списки и не будут допускаться на работу ни в одно предприятие в течение двух лет. Однако и эта угроза не подействовала на бастующих. В конце концов упорство «Фледермауса» удалось сломать.

Другой факт — того же порядка.

Ожидавшаяся в конце минувшего года грандиозная забастовка артистов Соед. Штатов Америки не состоялась благодаря образованию нового об'единения антрепренеров, которое согласилось подписать с союзом актеров договор, по которому в каждом предприятии может работать лишь самый незначительный процент не членов союза и притом обязательно по союзным ставкам.

Аналогичные факты, повторяю, десятками и сотнями регистрируются профессиональной хроникой различных отраслей умственного труда.

То же и с работниками просвещения. Вот один из многочисленных ярких примеров борьбы труда с капиталом в области просвещенства:

В декабре 1922 г. школьная администрация гор. Лоутсофта (Англия) расторгла тарифный договор с учителями. Учительство отказалось признать это расторжение. В ответ администрация уволила 31 марта 1923 г. несколько сот учителей и об'явила локаут. Уволенных учителей заменили штрейкбрехерами. В противовес локауту профсоюз учителей открыл несколько своих школ, укомплектованных уволенными учителями. После одиннадцатимесячной напряженной борьбы, учителя добились победы. Договор был восстановлен и все уволенные вновь приняты на службу.

Прежде, однако, чем сделать из всего сказанного выводы в смысле отнесения работников умственного труда к пролетариям, нам придется несколько задержаться на тех моментах, которые часто выдвигаются как отличающие интеллигентов от пролетариев, как превращающие, якобы, эти социальные категории в антагонистов.

IV.

Смысл первого из таких указаний сводится к тому, что интеллигенция обслуживает буржуазию и, следовательно, ее доход черпается из прибавочной стоимости эксплоатируемых последней рабочих. Значит, интеллигенция за-

интересована в возможно большей эксплоатации рабочих, ибо чем больше прибавочной стоимости будет присваивать себе капиталист, тем больше сможет он потреблять создаваемых интеллигенцией культурных благ... «На чью пользу идут эти блага, — с пафосом повторяет уже цитировавшийся мною Евг. Лозинский, — чью жизнь они украшают, чью власть они усиливают, какой режим поддерживают и совершенствуют?» [1])... Если б мы даже допустили, что создаваемые интеллигенцией культурные блага потребляются только господствующими классами капиталистического общества, то у нас все же не было бы ни малейшего основания говорить о том, что интеллигенция существует на часть прибавочной стоимости, присваиваемой паразитическими верхушками классового общества. Точно с таким же правом можно было бы говорить, что рабочий, изготовляющий духи или шелк, является «поглотителем» части прибавочной стоимости, а рабочий, изготовляющий на фабрике капиталистического государства взрывчатые снаряды, «поддерживает» режим капитализма.

Кроме того, следует указать, что и сделанное нами выше допущение в корне не верно. Совершенно не соответствует действительности утверждение, что труд интеллигенции потребляют исключительно господствующие классы капиталистического общества. Мы являемся свидетелями огромного, почти повсеместного культурного под'ема широких народных масс, приобщения их к источникам образования. «Грубые руки», когда-то почтительно предоставлявшие социальным верхам «погружаться в мечты и науки», чем дальше, тем уверенней завладевают книгой, газетой, они прокладывают себе дорогу в музей, театр, концертный зал. Не вырождающаяся буржуазия, а пробуждающаяся масса — вот кто является главным потребителем культурных ценностей, основным «покупателем» интеллигентского труда в наши дни.

Недаром русский поэт-пролетарий говорит:

Мы все возьмем, мы все познаем,
Пронижем глубину до дна
. . . . .
Нет меры гордому терзанию:
Мы—Вагнер, Винчи, Тициан... (Вл. Кириллов, Мы).

Другая попытка провести принципиальную демарклинию между интеллигентом и пролетарием основывается на том, что рабочий получает за труд заработную плату, а интеллигент получает, мол, гонорар — «почетное господское вознаграждение», как выражается Евг. Лозинский. Вы представляете себе, как бы удивился какой-нибудь учитель или журналист, узнав, что, еле влача существование, он собственно получает не заработную плату, а «почетное господское вознаграждение»... В чем же основная отличительная черта этого «господского вознаграждения» — гонорара от обыкновенной заработной платы? Евг. Лозинский видит ее в том, что в состав гонорара входит в каче-

[1]) Евг. Лозинский, Что же такое, наконец, интеллигенция? СПБ. 1907 г., стр. 176.

стве необходимого элемента погашение капитала, истраченного в годы образования и практической выучки. Поскольку этот капитал был поглощен работником умственного труда до его выступления в качестве продавца своей рабочей силы, — совершенно очевидно, рассуждает тот же Лозинский, что этот капитал образовался путем эксплоатации работников физического труда. Не приходится говорить о том, что этот неуклюжий силлогизм рушится от первого легкого прикосновения критической мысли. Ведь всякая рабочая сила — физическая, так же, как и умственная, — требует для своей квалификации предварительного образования и воспитания. Квалифицированный рабочий всегда проходит соответствующую школу. Говорить о том, что он поглощает при этом труд неквалифицированного рабочего, значит обнаруживать совершенное невежество. А утверждать, что более высокая зарплата квалифицированного работника носит эксплоататорский характер, значит игнорировать несомненный факт хозяйственного эффекта, который дает квалификация работника физического, а равно и умственного труда.

В работе проф. С. Г. Струмилина «Хозяйственное значение народного образования» дан чрезвычайно ценный статистический материал по вопросу о влиянии образования на продуктивность труда.

Отсылая за деталями непосредственно к этой работе, считаю целесообразным привести следующее положение, устанавливаемое проф. Струмилиным. «Средняя за всю рабочую жизнь квалификация неграмотного рабочего определилась в два треда (так автор называет принятую за мерило квалификации единицу измерения, соответствующего квалификации рабочего 1 тарифного разряда. *С. В.*), что соответствует 6 тарифному разряду старой сетки или тарифному коэффициенту — 2,0. В настоящее время по генеральному коллективному договору за апрель — июнь 1924 г. ставка 1 разряда русского фабрично-заводского рабочего составляет в среднем 11 р. 75 к. в месяц, что дает до 141 черв. руб. в год. По этой расценке наш неграмотный чернорабочий за всю свою жизнь (37 лет) заработал бы 37×2×141=10434 руб., а рабочий с одним годом школьного образования на 15%, или на 1.565 р. больше. Вот во что должен оцениваться первый год школы с точки зрения приходного бюджета рабочей семьи. Второй год школы дает уже меньше — всего 1.200 р., третий — 782 р., четвертый — 574 р., пятый — 470 р., шестой — 365 р., а седьмой и восьмой еще меньше — всего на круг по 208 р. Таково приходное значение школьной выучки в бюджете рабочего. Но в хозяйственном бюджете страны — оно несравненно больше. Дело в том, что рабочий не только вполне окупает продуктом своего труда свой заработок, но и создает сверх того и прибавочный продукт в пользу хозяина или — при государственном капитализме — в пользу государства. Этот прибавочный продукт, возрастающий вместе с ростом продуктивности труда и квалификации рабочего, по самым скромным расчетам составлял у нас в довоенное время не менее 100% от заработка [1]).

[1]) Проф. С. Г. Струмилин, Хозяйственное значение народного образования, изд. «Экономическая Жизнь», М. 1924 г., стр. 23.

В той же работе мы находим следующую таблицу, рельефно сопоставляющую выгоду и затраты, связанные с каждым годом начального обучения в черв. рублях.

Годы обучения.	Затраты.	Выгоды.	Баланс.
1-й	17 р. 80 к.	1.565 р.	1.547 р. 20 к.
2-й	28 » — »	1.200 »	1.172 » —
3-й	39 » — »	782	743 » —
4-й	41 » 20 »	574 »	532 » — »
5-й	44 » — »	470 »	426 » — »
1-й — 5-й	170 р. — к.	4.591 р.	4.421 р. — к.

Как видим, выгоды от повышения продуктивности труда превышают соответствующие затраты государства на школьное образование в 27,6 раза. При этом капитальные затраты казны окупаются с лихвой уже в первые же 1,5 года, а в течение следующих 35,5 лет государство получает ежегодно чистые барыши на этот капитал в размере 73% годовых [1]).

Итак, если рабочий поглощает для своей квалификации определенный капитал, то этот капитал дает достаточный хозяйственный эффект, оккупающий с огромным излишком затраты на него. Это положение относится в равной мере к рабочим труда физического и умственного. Как указывает проф. Струмилин, «на производство каждого окончившего высшую школу работника затрачивается в процессе обучения не свыше 13,2 года простого труда, чем повышается продуктивность этого работника — из расчета за весь его рабочий век — на 148 лет простого труда 1 разр., т.-е. в 11 раз больше трудовых затрат по обучению» [2]). Не подлежит сомнению, что труд работника умственного труда дает соответствующий хозяйственный эффект и вопрос о формах учета этого эффекта уже начинает разрешаться современной наукой.

Я думаю, что приведенными соображениями можно считать исчерпанным вопрос о паразитической якобы сущности интеллигентского «гонорара», и потому перейду к рассмотрению последнего, наиболее ходячего противопоставления работников умственного труда работникам физического труда, базирующемся на разнице в образе жизни тех и других.

М. И. Туган-Барановский выразил традиционное воззрение, когда сказал. что «умственный труд оплачивается настолько выше физического труда, и люди умственного труда по происхождению и условиям жизни так тесно примыкают к имущим классам, что присоединение их без всяких оговорок к классу н а е м н ы х р а б о ч и х было бы очевидным насилием над фактами» [3]).

Д-р М. С. Уваров, автор пособия по профессиональной гигиене, проводит грань между двумя основными видами в зависимости «от той обстановки,

---

[1]) Ibidem, 29.

[2]) Ibidem, 58.

[3]) Проф. М. И. Т у г а н-Б а р а н о в с к и й, Основы политической экономии, изд. 4-е, Петроград 1917 г., стр. 362.

в которой живет лучше оплачиваемый труженик так называемого умственного труда и хуже оплачиваемый труженик так называемого физического труда» [1]).

Для проверки изложенных суждений обратимся к фактам.

Уже к концу девяностых годов вопрос о материальном положении интеллигенции чрезвычайно обострился. Во Франции, напр., целый ряд авторов— Анри Беранже, Марсель, Леблон, Габильяр — выступает к этому времени со специальными работами, посвященными исследованию вопроса об интеллигентах-пролетариях. «Они, — пишет Беранже, — рассчитывали, что полученное ими образование окупает им кусок хлеба, и обманулись в своих ожиданиях. Они стремились на поприще свободных профессий приобрести независимость, а вместо того эти профессии обрекли их на занятия, требующие рабского прислужничества и угодничества. Бакалавры, кандидаты, приват-доценты — эти дети пролетариев — остались пролетариями подобно своим отцам — крестьянам, рабочим и приказчикам» [2]).

О положении французской интеллигенции, примерно к 1900 г., красноречиво свидетельствует ряд статистических данных, приводимых тем же автором. Вот некоторые из них по отношению к различным категориям интеллигенции.

Из 10.000 врачей. практиковавших во французской провинции, лишь половина зарабатывала достаточно на жизнь. То же самое относится к 2.500 врачам Парижа. Из 3.000 адвокатов Парижа преобладающая часть не могла существовать на свой прямой заработок и должна была прибегать ко всякого рода случайным источникам дохода: уроки, сотрудничество в газетах, посредничество и т. д. Положение народного учительства Беранже характеризует следующим образом: Работники на поприще начального образования представляют собой сплошной многочисленный пролетариат. Из 150.000 начальных учителей и учительниц, насчитывающихся во Франции, по меньшей мере 100.000 живет в нужде, граничащей с нищетой. Жалованье помощника учителя колеблется между 1.000 и 1.500 франков в год. Директора и директрисы получают больше (1.800 — 2.400). но большинство из них семейные люди и каково же их положение тогда? [3])...

Средний заработок инженера колебался между 2.000— 4.000 франков, т.-е. определяется цифрой, уступающей ставке высоко-квалифицированного рабочего. Существует даже особый тип бродячего инженера, так наз. «injénieur-chemineau», которого нанимают на маслобойных заводах на один сезон, а остальную часть года он сидит без работы.

О подавляющем большинстве французских чиновников Беранже говорит, что если они не владеют маленьким капиталом или не женятся на богатой невесте, они осуждены на вечную нужду. По его же подсчетам не менее 15.000 чиновников ведут образ жизни типичного пролетария.

---

[1]) Н. С. Уваров и Л. М. Лялин, Охрана жизни и здоровья работающих, М. 1907 г., стр. 24.

[2]) Интеллигентные пролетарии во Франции, перевод Певзнера, СПБ. 1902 г.

[3]) Ibidem, 12.

Касательно художников тот же автор указывает, что «от 4 до 5 тыс. пролетариев этой группы толкается на улицах Парижа; богатые лишь несбыточными планами и мечтами, они умирают с голода». Пьер Марсель так живописует образ жизни рядового парижского художника: «Он живет на Монмартре или Монпарнасе, в меблированных комнатах, в пятом этаже, где занимает крошечную каморку за 15 или 20 руб. в месяц. Он обедает в одной из скверных кухмистерских на улице Невер или Дофин, где подаваемое блюдо гармонирует с бедностью посетителей»...

На протяжении первых десятилетий XX века положение работников умственного труда в той же Франции, да и во всех странах Европы, не только не улучшилось, но даже ухудшилось.

В работе А. Лозовского «Французский народный учитель» приведен ряд цифровых данных, свидетельствующих о том, что в годы, непосредственно предшествовавшие войне, положение учительства во Франции было критическим [1]).

Накануне войны в парламенте выступал депутат Вебер со специальным докладом об «учительском кризисе», обусловленном тем материальным положением, в котором находились французские народные учителя.

В настоящее время положение учителя Франции еще значительно хуже, чем до войны. Система окладов, установленная в 1923 г., произвела значительное снижение заработной платы. Даже такой орган печати, как «Тан», по поводу новых учительских ставок заметил: «Когда читаешь подобные цифры, не приходится гордиться тем, что ты француз».

Совершенно то же имеет место в большинстве европейских стран. Приведем еще некоторые данные, сопоставляющие заработную плату работников умственного и физического труда.

Вот средняя величина довоенной месячной заработной платы для 16 профессий физического и умственного труда разных квалификаций по Белоруссии (в золотых рублях):

Агроном	. 150 р.
Врач	125 »
Ж.-д. машинис	125 »
Шоффер	65 »
Кожевник . .	70 »
Учитель средней школы	75 »
Бухгалтер . . .	60 »
Строительный рабочий	60 »
Юрист	50
Слесарь	42 »
Столяр . .	40 »
Народный учитель (сельский)	30 »
Конторщик	30 »
Грузчик	26
Пиш. машинистка	20
Кухарка	20

[1]) См. А. Лозовский, Французский народный учитель, изд. «Работн. Просв.», М. 1922 г., стр. 9—17.

Приведенная таблица показывает отсутствие резкой разницы в уровне заработной платы обеих рассматриваемых категорий. Если бы попытались на основе этой таблицы получить среднюю величину для каждой из них, то мы бы получили для работников умственного труда 67,5 и для работников физического труда — 58,5 рублей. Конечно, подбор 16 профессий сделан в приведенной таблице случайно. Но как показатель того, что отождествление работников умственного труда с лучше оплачиваемыми и работников физического труда — с хуже оплачиваемыми является противоречащим фактом, эти цифры, думается мне, могут служить вполне.

Следует также указать, что война империалистическая и гражданская, суживая хозяйственный базис общества и уменьшая тем самым спрос на культурные блага, отразилась на оплате умственного труда значительно пагубнее, нежели на оплате физического труда. Так, если мы возьмем заработную плату тех же профессий, довоенную норму которых мы приводили выше, на 1 апреля 1924 г., то мы получим среднюю величину для работников умственного труда в 37 и для работников физического труда в 55,4 зол. рубля [1]).

Еще одна справка того же порядка. Ставка 1 разр. по Союзу работников просвещения СССР в 1923 — 24 г. равнялась 4 р. 48 к., союзу текстильщиков — 6 р. 95 к., деревообделочников — 8 р. 83 к. и металлистов — 9 р. 03 к. Иначе говоря, ставка просвещенцев и ставка металлиста относятся как 1 2.

Говорить после этого о привиллегированной оплате умственного труда не совсем удобно...

Также ухудшилось положение работников умственного труда в Германии. Средняя заработная плата чернорабочего составляла в 1923 г. 80% той же довоенной платы, квалифицированного рабочего — 62% и государственного служащего — 44% [1]).

В четвертом номере журнала «Revue scientifique» за 1925 г. помещена очень показательная статья об экономическом положении ученых Франции — проф мед. ф-та Парижского университета Ch. Richet. — «В настоящее время, — пишет Рише, — его (ученого. *С. В.)* заработок достаточен только для того, чтобы не помирать с голоду». Профессор медицинского или естеств. ф-та, если он не занимается практикой, вынужден иметь побочный заработок на стороне. Характерна аргументация Рише, требующего увеличения премий, выдаваемых научным работникам за открытия и ученые труды: их сумма слишком незначительна в сравнении с призами, предназначенными для лошадей. «Сравним для примера, — говорит Рише, — недавнее открытие Д'Эрелля и победы Эпинара — кто из них: ученый или лошадь — лучше вознаграждены Францией?» (Поясним, что Д'Эрелль — известный французский бактериолог, получивший так называемую премию Левенгука, выдаваемую раз в 5 лет за наиболее выдающуюся работу в области медицины, а Эпинар — известная скаковая лошадь, получившая так наз. приз президента республики.) Добавлю к сказанному еще то, что приехавший из Парижа товарищ, д-р М., работав-

[1]) Данные тарифного отдела Белрабпроса.

ший там в Пастеровском институте, передавал мне, что проф. Б., — один из величайших бактериологов современности, — получает жалованье, равное ставке высоко-квалифицированного металлиста (в апреле 1925 г. — 1.200 франков, т.-е. 120 червонных рублей).

Думаю, что даже в свете приведенных, далеко не исчерпывающих, данных является ясным, что говорить о привилегированной оплате работников умственного труда, значит, пользуясь выражением Туган-Барановского, «совершать насилие над фактами».

Работнику умственного труда, существующему продажей своей рабочей силы, в полной мере сопутствуют те же явления, что и всякому другому пролетарию: перепроизводство, безработица, резервная армия и так далее. Об этом красноречиво свидетельствует современная статистика безработицы в различных государствах; рабочие умственного труда часто занимают первые места на биржах труда.

Перепроизводство в области умственного труда наметилось в капиталистических государствах еще задолго до войны. В речи, произнесенной в конце девяностых годов, Вильгельм II говорил: «Школа совершила нечто сверхчеловеческое и на мой взгляд создала чересчур большое количество образованных людей, больше того числа, которое может содержать нация... поэтому впредь я не буду разрешать открытия новых гимназий, если мне не докажут их абсолютную необходимость. У нас их довольно».

Цитировавшийся уже мною Анри Беранже приводит многочисленные данные касательно перепроизводства и хронической безработицы среди французской интеллигенции. Он указывает, что университеты Франции выпускают ежегодно приблизительно 1.200 врачей при 600 — 700 вакантных местах в году. На одну-две сотни преподавательских вакансий в лицеях и колледжах претендует ежегодно не менее 100 приват-доцентов и 1.000 кандидатов. За одно место воюет 10 человек. Еще острее положение с начальными школами. На 150 вакантных мест в школах Парижа приходится в среднем 15.000 кандидатов, т.-е. до 100 претендующих на каждое место.

Итак, мы можем считать, что те возражения, которые делаются против причисления работников умственного труда, существующих продажей своей рабочей силы, к пролетариям, являются в полной мере несостоятельными. Основываясь на тех данных, которые были приведены выше, мы имеем все основания назвать такого работника пролетарием. И если — для примера — пятьсот тысяч работников просвещения СССР об'являют себя в § 1 своего профессионального устава «одним из отрядов союзного и всемирного пролетариата», то это не фигуральное выражение, а констатирование факта, могущего быть доказанным с самой строгой научностью. Отсюда, однако, не следует делать вывода о том, что всякий работник умственного труда является пролетарием.

Я уже выше указывал, что интеллигенция представляет собой межклассовую группировку, в которую входят и пролетарский и кустарно-ремесленнический элемент. Вольнопрактикующему врачу, юристу, учителю, занимающемуся частными уроками, не противостоят как особая сила средства

производства и, следовательно, они не являются прямыми об'ектами капиталистической эксплоатации. Художник, изготовивший картину для заказчика (или для торговца), является ремесленником (или кустарем). Музыкант, организующий собственными силами свой концерт и непосредственно получающий сбор с него, — ремесленник (употребляю слово, конечно, исключительно в экономическом смысле). Все это — работники умственного труда, которых, по выражению Маркса, капитализм разрезает надвое. «Как владелец средств производства, — характеризует Маркс такой тип, — он является капиталистом, как рабочий — он свой собственный наемный рабочий [1]). Поясним это указание в отношении интересующей нас категории. Если писатель не в состоянии издать свою работу и вынужден продать свой труд издателю, то совершенно очевидно, что между ними устанавливаются отношения пролетария и капиталиста. Но если писатель сам издает свою книгу, о нем можно смело сказать словами Маркса, что «ему достается его собственный прибавочный труд, и таким образом он относится как свой собственный капиталист к самому себе, как к наемному рабочему». В таком же положении находятся врач, владеющий кабинетом [1]), учитель, владеющий — как это часто бывает в небольших немецких городках — школкой и т. д. и т. д. Рост капитализма, неумолимо вытесняющего ремесло и заменяющего его крупным производством, оказывает на интеллигента-ремесленника такое же влияние, как и на всякого другого ремесленника. Тот же самый экономический закон, который при появлении фабрики уничтожает ремесленную мастерскую, ведет к гибели частновладельческого врачебного кабинета рядом с «фабриками здоровья», которые создает современный Нью-Иорк, Лондон, Париж. И подобно тому как ремесленники физического труда ищут спасения от гибели, которую несет им капитализм, в производственных ассоциациях, артелях и т. д., ремесленники умственного труда пытаются спастись от низвержения в ряды пролетариата созданием «товариществ преподавателей», коллективов врачей и др. форм производственных ассоциаций.

Таким образом мы можем установить, что интеллигенция как социальная категория образуется из двух слоев работников умственного труда: пролетариев и ремесленников-кустарей. Каково количественное соотношение этих двух групп внутри той межклассовой группировки, которую они совместно образуют, об этом, к сожалению, в нашем распоряжении не имеется статистических данных. Можно, однако, с большой определенностью сказать, что это соотношение имеет неуклонную тенденцию к изменению в смысле увеличения пролетарского слоя и уменьшения ремесленного слоя, до сих пор остающегося преобладающим среди интеллигенции капиталистических государств... В государстве переходного времени, каким является СССР, мы имеем массовую пролетарскую интеллигенцию. Так, 1.600.000 интеллигентов — членов профессиональных союзов, о которых мы говорили выше, противостоят не более, чем десятки тысяч интеллигентов-ремесленников.

[1]) К. Маркс, Теории прибавочной ценности, Птг. 1923 г., ч. I, стр. 276.

Еще одно замечание по поводу интеллигенции как единой межклассовой группировки. Существование этой группировки иногда берется под сомнение из-за об'единения в ней работников совершенно различной квалификации. Признавая этот последний факт, мы, однако, считаем, что он ровно ни о чем не говорит. Квалификационная дистанция между отдельными членами интеллигенции может быть какой угодно, но все же, существуя продажей своего умственного труда, все они входят в одну социально-экономическую категорию. Квалификационная дистанция между академиком и конторщиком не может помешать отнесению их к одной межклассовой группировке, как та же дистанция между монтером и грузчиком не мешает относить их к одной классовой единице.

Подведем некоторые итоги.

Интеллигенцию как социально-экономическую категорию характеризует факт продажи ее членами своей умственной силы как источника существования. Ее нельзя распылять между отдельными общественными классами, превращая в умственно-квалифицированную, идеологическую верхушку каждого данного класса. Она не может быть также вкраплена в какой-либо из существующих классов. Интеллигенция существует как единая социальная группировка. Эта группировка не характеризуется классовой самостоятельностью: она межклассова. Место, которое она занимает в классовом спектре, находится меж пролетариатом и мелкой буржуазией. Количественное соотношение элементов, образующих эту группировку, — пролетариев и ремесленников — подвержено колебаниям с тенденцией в сторону пролетаризации.

Когда-то, на заре капитализма, одиночки — работники умственного труда гордо провозглашали: «Я мыслю, следовательно я существую». Теперь, на закате капитализма, миллионы работников умственного труда, образующих единую социальную группировку, должны в доказательство своего существования как классовой единицы заявлять: «мы продаем себя, следовательно существуем».

V

Определить экономическое положение, занимаемое интеллигенцией в обществе, еще не значит, однако, охарактеризовать ее как социальную категорию. Для этого необходимо также произвести анализ ее, так сказать, идеологической сущности. Говоря об идеологии какого-либо основного класса, надо иметь в виду процесс развития его классового самосознания, длительный процесс его превращения из «класса в себе» в «класс для себя». В отношении интеллигенции, как и всякой междуклассовой группировки, можно, конечно, лишь с большой натяжкой говорить о превращении ее из классовой единицы «в себе» в классовую единицу «для себя». Здесь последнее выражение допустимо лишь в условном смысле — для обозначения того, что данная межклассовая группировка достигает правильного понимания своих классовых интересов, т.-е. сознания того, с интересом какого из основных классов совпадает ее собственный классовый интерес.

Так вот, если мы зададимся целью проследить тот путь, который интеллигенция совершает раньше, чем достичь правильного понимания своих классовых интересов, превращения в единицу «для себя» — в том условном смысле, на который мы указали выше, — нам придется установить, что этот путь чрезвычайно извилистый, осложненный множеством сказывающихся на нем моментов.

Интеллигенция как самостоятельная группировка имеет не только свою историю — последняя очень молода, начинаясь примерно последней третью девятнадцатого века, — но и свою «доисторию». На всем протяжении этого длинного «доисторического» периода отдельные работники умственного труда существовали обслуживанием лишь наиболее имущих слоев общества. В штатах императорской и королевской свиты, среди герцогской и княжеской челяди на-ряду с придворными шутами и камердинерами значились придворные летописцы, врачи и философы. Как правильно заметил в своей работе «Der Sozialismus und die Intelektuellen» Макс Адлер, вся художественная и научная деятельность XVII и XVIII веков развилась под живительными лучами монаршего благоволения, и даже величайшие произведения эпохи, связанные с именами Канта и Гете, запятнаны смиренными и недостойными посвящениями умственным ничтожествам, носившим на своих пустых головах короны.

Конечно, работники умственного труда и в XVII и в XVIII веках не исчерпывались лейб-медиками и королевскими солистами. Жили тогда и Спиноза, и Руссо, и многие другие независимые мыслители. Но то были исключения, одинокие единицы, которые устами Декарта говорили о себе, что они бродят средь окружающих, как в пустыне. Как основное же правило можно установить, что работник умственного труда добуржуазной эпохи жил под эгидой дворянства и духовенства — господствующих классов общества. Лишь социальная верхушка нуждалась в этих работниках, лишь ей они поставляли свои знания, свои достижения, свое умение. Лишь она была потребителем культурных благ, заказчиком и господином работника умственного труда. Если мы выше опровергли подобное утверждение касательно нашего времени, то относительно XVII, XVIII и первой половины XIX веков в этом отношении сомнений нет.

Начавшееся с XIX веком господство буржуазии повело к быстрому росту образования. Буржуазии для развития производительных сил потребовались многочисленные кадры работников умственного труда. Она их создала и поставила себе на службу. Так начинает формироваться в недрах капиталистического общества, как особая социальная группировка, интеллигенция. Группировка эта в основном складывается уже к 60 — 70-м годам минувшего столетия, а с начала XX века приобретает значительный социальный вес.

Обслуживая буржуазию, прислуживая господствующим классам, интеллигенция в то же время рождает иллюзию своей собственной внеклассовости.

Понять происхождение этой иллюзии не представляет никакого труда. Она является прямым результатом того, что данная группа орудует исключительно с идеологическими сущностями, непосредственная связь которых с экономическим базисом в классовом обществе затушевана. Эти идеологические сущности начинают восприниматься как априорные категории. Работники

умственного труда выступают в сознании общества, как и в своем собственном сознании, в качестве жрецов отвлеченно мыслимой науки. Наука, воспринимаемая как рождающаяся вне общества, в надзвездных сферах человеческого интеллекта, представляется не имеющей никакого отношения к низменной борьбе интересов и страстей, клокочущих в человеческом обществе. Носитель научной истины окружается ореолом внеклассовости. Он выступает как хранитель священных начал знания и справедливости, супер-арбитр в классовых и сословных спорах. Жертвы жестокой аберрации, в своих корнях обнаженной еще Энгельсом, интеллигенты с пеной у рта отстаивают догмат своей классовой нейтральности.

Капитализм ловко использовывает эту аберрацию. Он всяческими путями пропитывает сознание интеллигента-пролетария мыслью о том, что он — художник, врач. учитель — и рабочий металлист или текстильщик не имеют ничего общего между собой. Капитализм лицемерно поддерживает в эксплоатируемом интеллигенте веру в его надклассовость. аристократизм. «Все 95% учительниц, — говорит Эптон Синклер об американских педагогах, — это «лэди». а все 5% учителей — это «джентльмены» [1]).

Учителя и учительницы принадлежат к классу людей, носящих крахмальные белые воротнички, они получают ежемесячный гонорар в закрытых конвертах. а не оскорбительное еженедельное жалованье в руки прямо деньгами, как рабочие. Раза два за всю их жизнь их приглашают на какой-нибудь банкет с избранным обществом и на этом банкете банкиры, коммерсанты или фабриканты красноречиво говорят о благородстве педагогической профессии и ее высшей цели [2]).

Расчеты капиталистов оправдываются. Дешево стоящие комплименты окупаются с лихвой. Я много и долго изучал психологию этих «лэди и джентльменов», — рассказывает Синклер, — и то близкое к ужасу отвращение, с которым они относятся к простым рабочим. то презрение, с которым они говорят об их грязных руках, об их рабочих куртках без воротничков или. что считается еще позорнее, «с воротничком из целлулоида».

Явление, приобревшее распространение в ту эпоху, когда интеллигенция складывалась как социальная категория, помогает обоснованию мысли ее о внеклассовости. Это явление, отмеченное уже в Коммунистическом Манифесте. заключается в том, что в период разложения какого-либо класса от него отрываются наиболее передовые, наиболее мыслящие элементы, становящиеся идеологами нового революционного класса, идущего на смену старому. одряхлевшему, сèбя изжившему. В Великую Французскую Революцию идеологами буржуазии нередко выступали представители господствующих сословий (аббат Сиэйс, граф Мирабо и др.). Идеологами пробуждения германского пролетариата был сын фабриканта Энгельс и сын купца Лассаль. Первый период российского революционного движения запечатлел ряд славных имен — выходцев

---

[1]) Американское учительство на 95% состоит из женщин.

[2]) Эптон Синклер, «Гусята». Народное образование в Америке. Перев. Фортунатова. Ленинград 1924 г., стр. 154.

из господствовавших верхов. Все это служило доказательством внеклассовой природы интеллигенции. Между тем имелся на-лицо факт совершенно иного порядка: переход интеллигентных единиц от класса исторически обреченного к классу будущего, переход, обусловленный пониманием об'ективного хода исторического процесса. Этот факт характеризуется не умением стать выше классов и над классами, а правильным учетом классовых отношений эпохи.

Следует указать, что, рядясь в тогу внеклассовости, интеллигенция в то же время находилась во власти класового инстинкта. Этот инстинкт внушал ей, что ее интерес связан с судьбами буржуазии. Буржуазия, экономический гегемон мира, главный потребитель культурных ценностей, создаваемых интеллигенцией. Она пред'являет спрос на рабочую силу интеллигенции. Она содержит интеллигенцию. Так между буржуазией и интеллигенцией протягиваются нити экономической солидарности. То солидарность лакея с интересами своего барина.

Служа буржуазии, интеллигенция дает научную санкцию ее господству, изобретает философские, юридические, этические и всякие иные оправдания его. Она боится, что с гибелью буржуазии исчезнет ее потребитель, заказчик и хозяин, она связывает мысль о крушениях буржуазного господства с исчезновением своей собственной экономической базы. Ведь буржуазии на смену придет масса темная невежественная, многомиллионный дикарь, которому не нужны ни книги, ни картины, ни газеты, ни академии. Типичнейший из руских интеллигентов Н. К. Михайловский уж пугливо задумывается над тем, как ворвется к нему в кабинет грязный и нечесанный мужик, который разобьет бюст его любимого писателя. Мережковский, трусливо озираясь по сторонам, слал бесплодные и бессильные проклятия «грядущему хаму». А покойный Гершензон в припадке страха, вызванного мыслью о приближении этого хама, изрек свою памятную фразу: «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, — бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной» [1]). Если одни из интеллигентов надеялись, что штыками и тюрьмами удержится власть насквозь прогнивших общественных классов, которых интеллигенция обслуживает и которым она служит, то другие из них понимали всю утопичность таких надежд. Они подчинялись неизбежному року истории, но так же, как и первые, считали, что с приходом к власти новых социальных пластов, интеллигенции как таковой больше делать будет нечего: ее знания, ее культурные блага, ее рабочая сила не нужна будет классу, который придет на смену буржуазии

Сожгите книги кострами,
Пляшите в их радостном свете,
Творите мерзость в храме
Вы во всем неповинны, как дети,
А мы мудрецы и поэты,

[1]) «Вехи». Сборник статей о русской интеллигенции. Изд. 4-е, М. 1909 г., стр. 89.

Хранители тайны и веры,
Унесем зажженные светы
В катакомбы, в пустыни, в пещеры.

(Валерий Брюсов).

Классы будущего считались способными лишь сжигать книги кострами и творить мерзость в храме. И потому интеллигенция как социальная категория цеплялась за классы отжившего, единственно которым, — думала она,—нужны ее «зажженные светы»... Вот почему, когда приход рабочего класса к власти стал в нашей стране реальным фактом политической действительности, словно раненая заметалась российская интеллигенция, в паническом ужасе повторяя вопли сытых из андреевского «Царя-Голода»: «Звери вышли из лесов! Орда варваров идет на нас! Горит национальная галлерея! Горит Мурильо, горит Веляскез, Рубенс, Джоржоне!»...

Блоковское перо увековечило образ такого испуганного интеллигента в первую полосу революции:

Длинные волосы
И говорит вполголоса!
Предатели!
Погибла Россия!
Должно быть писатель —
Вития...

(Ал. Блок, Двенадцать).

Испуганный интеллигент пытался как мог противодействовать исторической смене буржуазии пролетариатом. Он прибегал к саботажу, становился под белогвардейскую винтовку, бежал если не в катакомбы и пустыни, то в Берлины и в Белграды.

Этот процесс противодействия власти пролетариата оказался наиболее стойким в среде инженерно-технической интеллигенции, в своей большей части связанной тесными экономическими узами с иностранными капиталистами, владевшими половиной капитала русских банков и сорока процентами акций русской промышленности. Здесь саботаж был непосредственным рефлексом со стороны приказчиков иностранного капитала, колонизовавшего Россию, на удар, который революция нанесла этому капиталу.

Затем саботаж сменился работой «скрепя сердце», примирением с закрепившейся на завоеванных позициях рабочей властью, как с печальной необходимостью [1]).

Но большинство испуганных интеллигентов совершило несколько иной путь. Оно в результате довольно длительного и зигзагообразного процесса поняло, что новый класс — не варвар, не хам и не дикарь. Многомиллионные массы, жившие веками на цепи рабства и невежества, могли употребить на «цыгарки» одну, десятую, сотую помещичью библиотеку, могли превращать

---

[1]) Настроения и позиции этой группы интеллигенции хорошо охарактеризованы в брошюре Ю. Ларина «Интеллигенция и Советы, Гиз, М. 1925.

обивку музейных кресел в портянки, но в то же время они показали испуганным интеллигентам, что в них, в недрах народных, жива такая жажда культуры, знания, науки, которая способна подмыть многовековую стену невежества. Через ликпункты, рабфаки, газеты, кружки, клубы, студии, театры, через десятки других каналов начала раскрепощенная масса приобщаться к источникам знания, «грызть гранит науки». Тогда испуганный интеллигент понял, что и рабочему классу и широким массам трудящихся нужны те самые культурные блага, монопольным потребителем которых в своей наивности он считал буржуазию. Он воочию увидал, как из нищего бюджета разоренной страны диктаторствующий пролетариат отрывает крупные суммы на создание культурных ценностей, новых рассадников знания. Он понял, что может с таким же, а быть может и с гораздо большим успехом, нежели буржуазию, культурно обслуживать пролетариат. Это сознание родило сменовеховство. Сколько бы ни твердили Устрялов, Ключников и братия о коминтерновском «Третьем Риме», какими бы другими словесными побрякушками ни тешилось сменовеховское дитя, совершенно очевидно, что «смена вех» продиктована сознанием определенной части нашей интеллигенции того, что можно с успехом поставлять культурные ценности новому классу, что в его лице появился мощный покупатель интеллигентской рабочей силы. Такова обнаженная от идеологических покровов предпосылка сменовеховства.

Та техническая интеллигенция, относительно которой мы указывали выше, что тенденции противодействия новой власти в ее среде оказались наиболее живучими, изживала их по мере того, как убеждалась в том, что рабочий класс в состоянии выступить в роли организатора и строителя промышленности. «Сейчас, в 1925 году, на 8 год после Октябрьской революции, — говорил Ф. Э. Дзержинский на III Всесоюзном С'езде Советов, — в составе технического персонала, в его психологии, в его политическом настроении произошли огромные изменения и полный переворот. Наша интеллигенция, наши технические силы увидели, что рабочее государство открывает величайшие перспективы для науки, для знания, что только впервые при советском строе будет подведена твердая база для материального благосостояния страны»...

В свете нашей революции выступили особенно четко те моменты, которые характеризуют и интеллигенцию Запада, но которые там еще не проявились в полной мере. Поскольку германский, французский, английский пролетариат культурно растет, поскольку он пред'являет все более усиленные требования на интеллигентскую рабочую силу, постольку интеллигенция меняет идеологическую ориентацию в сторону от буржуазии к пролетариату.

Но в сказанном — далеко не полная характеристика идеологического облика интеллигенции. Говоря о последнем, надо иметь в виду еще следующее.

Уже в девяностые годы процесс пролетаризации интеллигенции зашел достаточно далеко для того, чтобы значительные кадры ее почувствовали все неудобства, сопряженные с классовым положением интеллигенции в капиталистическом обществе. Чрезвычайно быстрый численный рост интеллигенции

ведет к перепроизводству работников умственного труда в различных профессиях, к безработице, к резервной армии интеллигентского труда. Вместе с тем крепнет в среде интеллигенции и оппозиция к режиму буржуазного господства. Своим гнетом и эксплоатацией капитализм заставляет интеллигентов-пролетариев ступить на путь классовой борьбы. Вначале мы здесь сталкиваемся с чрезвычайно наивными и примитивными формами, вроде «индивидуальных забастовок», к которым вынуждены прибегать время от времени даже те «лэди и джентльмены», о которых с такой иронией говорит американский писатель. Мало-по-малу мелочная и крохоборческая борьба за пятачок на рубль начинает расширяться, и в многочисленных отраслях умственного труда разных стран, как мы уже видели, в настоящее время кипит совершенно обнаженная, острая, непримиримая, планомерная, организованная борьба труда с капиталом, эксплоатируемого с эксплоататором.

В то же время множество интеллигентов начинает ориентироваться на рабочий класс и вступает в социалистические партии. Здесь они часто делаются проводниками всяких ревизионистских и оппортунистических настроений.

Они вытравляют из социализма революционное содержание, делают его реформистским, приспособленческим, салонным, они вносят в него элементы буржуазной идеологии. В конце концов они или окончательно уходят из-под социалистического знамени, превращаясь часто в злейших врагов рабочего класса на манер Мильерана, Струве, Муссолини и тысяч других ренегатов или же, формально оставаясь под сенью этого знамени, отравляют социалистическое движение трупным ядом оппортунизма. Касательно таких «социалистов» Г. В. Плеханов в свое время писал: «Участие интеллигенции в рабочем движении полезно для пролетариата лишь при наличности известных условий, а когда эти условия отсутствуют, оно становится вредным, потому что тогда оно не ускоряет развития пролетарского самосознания, а замедляет его. В числе этих условий самое главное место занимает независимое, критическое отношение сближающейся с пролетариатом интеллигенции к идеологам господствующего класса» [1]).

Все же, было бы самым жестоким противоречием действительности огульно говорить об интеллигенции, как о рассаднике оппортунистической бациллы. Если мы, с одной стороны, должны учесть отрицательное влияние на социалистическую партию тех интеллигентов, которые, примыкая к пролетариату, продолжают оставаться под влиянием идеологии господствующего класса, то, с другой стороны, надо помнить и о тех многочисленных интеллигентах, которые, вступив в рабочую партию, отдают ей свои знания, свое умение, свою жизнь, многим содействуют прояснению классового сознания пролетариата. Нельзя забывать, что наиболее выдающиеся из идеологов международного рабочего движения, в подавляющем большинстве, являются интеллигентами.

---

[1]) Г. В. Плеханов, Энрико Леонэ и Иваноэ Бономи, — сб. «От обороны к нападению», стр. 308.

Часть же интеллигенции пытается противостоять все усиливающемуся натиску капитализма с его спутниками — перепроизводством, безработицей и т. д. путем монополизации интеллигентского труда, удержания в своих руках необходимых обществу знаний. Особенно сильна эта тенденция в высоко-квалифицированной верхушке интеллигенции — в ее так называемых академических кругах. В университетах капиталистических стран и в нашей дореволюционной высшей школе царствовала в полном смысле этого слова цеховая традиция, превращавшая профессуру в своеобразную касту. Проникновение в эту среду монополизаторов науки было сопряжено множеством препятствий. по отношению к которым часто оказывались бессильными талант, способности и знания.

«Ученые бюрократы не только не довольствуются существующими уже ограничениями научной свободы, но жаждут еще новых». — воскликнул незадолго до революции по адресу своих коллег профессор Варшавского университета А. Евлахов [1]).

Анатоль Франс, бывший, как известно, одним из 40 академиков Франции, ее «бессмертных», рассказывал своим друзьям о той академической стратегии, которую должен проявить всякий желающий попасть на этот Парнас французской науки:

«Меня так убеждали в необходимости попасть в академию, что я этому поверил, в конце концов. Галеви взялся ввести меня в бессмертные салоны. Он давал мне уроки академической стратегии. На каждое утро я получал программу, где было указано все: пойти туда, сюда, к графине такой-то... говорить о том-то, о графе де Шамборе, о Шатобриане, у госпожи П. прославлять Виктора Гюго... Мою кандидатуру было очень трудно сделать приемлемой. Я увлекся игрою, увидев препятствия. Трудно представить себе, до чего эти сорок, столь ничтожные в своих писаниях, влиятельны в жизни. Таков корпоративный дух... Эти олухи чрезвычайно хитры. когда кто-нибудь хочет проникнуть под их купол» [2]).

Стремясь монополизировать науку и оградить себя от проникновения «посторонних» элементов, верхушки интеллигенции выступают защитниками национальных и всяких иных ограничений в области высшего образования, а тем паче академической деятельности. До последнего времени университетская кафедра была почти недоступна женщине. Американцы закрывают двери высшей школы перед неграми, царская Россия, Румыния, Польша, Венгрия — перед евреями. А сверхклассовые академики и внеклассовые профессора нелицеприятным авторитетом науки освящают numerus clausus. Таким образом крупные ученые нередко становятся в ряды реакционеров и мракобесов. Это бывает тем чаще. чем лучше капитализм осуществляет в отношении этих квалифицированнейших десятков свое любимое правило «divide et impera», т.-е. ставя их в резко отличные от всей ин-

---

[1]) См. проф. А. Евлахов, Бюрократическая наука (к вопросу о замещении университетских кафедр), Ростов-на-Дону 1915 г.

[2]) Жан Жак Брюссон, Анатоль Франс в халате, изд. «Время», Ленинград 1925 г., стр. 74.

теллигентской массы материальные условия, применяя здесь организованный подкуп верхушки, что, впрочем, имеет место и в применении к работникам труда физического. Капитализм умеет превращать работников науки в своих ландскнехтов. Даже старый Каутский недоуменно замечает в одной из своих последних работ, что «в области науки Германия шествует во главе народов, а верхи ее науки, большинство профессоров и студентов, ряд судебных деятелей, педагогов и т. п. в жестокости и политической слепоте не имеют себе равных» [1]).

Однако наука плохо мирится с сервилизмом режиму эксплоатации и порабощения труда. Люди науки и искусства должны раньше или позже почувствовать, в какое унизительное положение ставит их капитализм. И тогда они, подобно Эйнштейну, Франсу, Ролану, открыто становятся в ряды его врагов. Характерно в этом отношении выступление великого английского физика Содди, который недавно вызвал большую сенсацию речью, смысл ко торой сводился к следующему. Работники науки организуют жизнь, люди физического труда создают материальные ценности, к чему же тогда существование какого-то придатка в виде капитализма? Этот придаток не только лишен, но и вреден...

Колебания интеллигенции между трудом и капиталом становятся особенно роковыми в моменты революционных бурь. В большинстве состоящая, как мы указывали выше, из лиц, занимающих положение кустаря-ремесленника, интеллигенция и реагирует на события так же, как мелкая буржуазия. Все те блестящие характеристики маятникоподобных колебаний мелкой буржуазии, которые даны классиками марксизма, нашли свое лишнее подтверждение в поведении интеллигенции всех почти стран, которые озарялись в нашу эпоху заревом революции.

В числе факторов, влияющих на интеллигентскую идеологию, надо иметь в виду и следующие.

То исключительное влияние, которое оказала на развитие идеологии рабочего физического труда машина, по отношению к работнику умственного труда является чрезвычайно слабым, или, точнее говоря, почти отсутствует. Машина с момента ее появления оказывала на рабочего физического труда высоко революционизирующее влияние. Этого влияния не испытывал на себе работник умственного труда, ибо сфера этого труда почти не поддается механизации. В этом обстоятельстве надо искать один из ключей к об'яснению того факта, что интеллигент в массе идеологически более консервативен, нежели рабочий физического труда. Правда, технический прогресс сказывается в некоторой степени и в области приложения умственного труда. В последнее время труд, например, конторских служащих сильно механизируется. Где недавно работало четыре бухгалтера, в современном американском банке теперь работает один бухгалтер, вооруженный всякими счетчиками, автоматами и другими механическими приспособлениями. Но все же это очень слабое, еле заметное вторжение машины на территорию умственного труда.

---

[1]) К. Каутский, Пролетарская Революция, Берлин 1923 г., стр. 53.

Далее, умственный труд по самому характеру своему индивидуалистичен. Ценности, которые вырабатывает интеллигент, создаются единицей, а не коллективом, они создаются вне трудовой кооперации. Отсюда проистекает интеллигентский индивидуализм, стремление замкнуться в себе, уйти в келью своих переживаний и настроений. Опять-таки и здесь в последнее время имеются большие изменения. Трудовая кооперация, коллективистический принцип все сильнее внедряется в сферу умственного труда. Ученый, который когда-то — по известному слову Маркса — хранил все разгадки тайн мира в ящике своего письменного стола, вынужден все чаще вступать в общение с работниками своей области. Конгрессы, с'езды, конференции становятся одной из важнейших форм научной работы. Ценные научные результаты сплошь и рядом достигаются в наши дни путем совместных усилий группы научных работников. Трудовая кооперация подчиняет себе умственный труд: он — в определенных, конечно, пределах — коллективизируется. Это обстоятельство, вне сомнения, скажется и на идеологии интеллигенции, направляя, ее в сторону от индивидуализма к коллективизму.

Линия идеологического поведения интеллигенции в основном зависит от соотношения образующих эту межклассовую группировку элементов: ремесленного и пролетарского. Рост последнего имеет своим следствием, если можно так выразиться, пролетаризацию интеллигентской идеологии. Интеллигенция Советского Союза, после долгих шатаний и колебаний, в настоящее время влилась в ряды рабочего класса. Квалифицированнейшая верхушка нашей интеллигенции—работники науки—впервые организовалась в профессиональную единицу, связавшись с многочисленной армией производственно-организованного пролетариата. Идеологический сдвиг в среде учительства, агрономов, врачей, свидетелями которого мы являлись на протяжении последнего трехлетия, является фактом исключительного значения.

Общественное сознание какой-либо социальной группы может в силу тех или иных, в конечном счете классовых причин развиваться окольными, зигзагообразными путями. Но как бы искажено ни было классовое сознание какой-либо социальной группировки, в конце концов ее общественное бытие выпрямит ее общественное сознание.

В одной из своих статей В. И. Ленин подчеркивал, что «инженер придет к признанию коммунизма не так, как пришел подпольщик-пропагандист, литератор, а **через данные своей науки**, что по-своему придет к принятию коммунизма агроном, по-своему лесовод и т. д. [1]).

Эта об'ективная неизбежность вовлечения интеллигентской идеологии в русло пролетарского миросозерцания вырисовывается с каждым годом отчетливее.

Интеллигент должен стать в ряды рабочего класса не только в силу теоретического понимания той истины, что пролетариат самый революционный из классов человечества, который, раскрепощая себя, одновременно раскрепо-

---

[1]) В. И. Ленин, Об едином хозяйственном плане, т. XVIII, ч. 1-я, стр. 87.

щает и общество. Его к этому толкает и непосредственный классовый и терес, как мы видели, в основном являющийся интересом пролетария.

По мере того, как растет агрессивность капитализма, чем более экспло таторским и хищническим он становится, интеллигенция получает наглядні уроки смертельной враждебности ее интереса интересу капитал Интеллигентская иллюзия внеклассовости исчезает вместе с проникновение в интеллигентское сознание понимания того факта, о котором австрийски коммунист Иосиф Штрассер в своей статье «Путь интеллигенции» говори что «пред лицом капитала все рабочие равны, и что каждому из них, будь т инженер или подмастерье, портной, профессор университета или уборщиц поэт или углекоп, — капитал уделяет лишь столько, сколько вынуждает ег необходимость».

Наша эпоха воочию показывает, что против рабочего класса, п мимо рабочего класса интеллигенция действует и вопреки своему собствен ному классовому интересу. Этот интерес требует от нее понять, что она сам частица рабочего класса.

История, как говаривал Плеханов, хватает за шиворот сопротивляю щихся ей. Интеллигенция наших лет уже почувствовала прикосновение к себ руки истории.

Георгий Гапон.

(Окончание).

Д. Ф. Сверчков.

VIII. За границей.

Еще в Женеве, поняв, что никакой крупной роли в существующих партиях ему без знаний и подготовки играть не придется, Гапон придумал себе роль явиться об'единителем всех революционных партий для создания единого фронта против самодержавия.

Стремясь к об'единению всех революционных и либерально-буржуазных сил, Гапон именно этим стремлением об'яснял тот факт, что социал-демократам он говорил, что разделяет их программу, а социалистов-революционеров убеждал, что всегда был с ними.

Социалистам-революционерам такая терпимость и «разнопартийность» Гапона, конечно, не нравилась, и они употребляли все средства, чтобы отвлечь его от социал-демократов. Это сделать было тем легче, что никто из руководителей социал-демократической партии не держался за Гапона, понимая, что его роль сыграна и что после кровавого воскресенья 9 января рабочие массы переросли и Гапона, и его организации.

На одном из совещаний в Женеве, устроенных социалистами-революционерами с Гапоном, ему показали прокламацию, изданную комитетом социал-демократической партии в Поволжье. В этой прокламации о Гапоне говорилось, как о «нелепой фигуре обнаглевшего попа». Гапон прочитал прокламацию и побагровел. Он стукнул кулаком по столу.

«Я их с лица земли сотру, этих дрянных людишек, я покажу всем рабочим их лживость и наглость, они носятся со своим Плехановым, который в практике революционного движения ни чорта не понимает и мнит себя каким-то непогрешимым папой, я им покажу, как нужно делать революцию, они у меня узнают «обнаглевшего попа»...»

Социалисты-революционеры слушали этот набор слов и восхищались способностями Гапона. Савинков утверждал, что из этой его речи он понял, чем Гапон завоевывал массы, и увидел в ней истинный ораторский талант.

Гапон развертывал план создания «боевого комитета», — особой организации, которая должна была ведать всеми видами террора, развивал идею террористического движения в крестьянстве, при чем встретил в этом энергич-

ную поддержку со стороны «бабушки» Брешковской и старого эмигранта анархиста князя Д. А. Хилкова.

«Разнопартийность» Гапона, как я сказал уже, крайне не нравилась его политическим опекунам — социалистам-революционерам, и они придумали для него совершенно особую роль. В. Ленуар (В. Чернов) рассказывает в статье «Личные воспоминания о Гапоне» (сборник «За кулисами охранного отделения», Берлин 1910 г., стр. 157 и след.):

«Гапону, видимо, казалось в высокой степени безразличным — быть гласно приписанным по социал-демократическому департаменту и в то же время войти в какую-угодно организацию социалистов-революционеров. Он готов был легко переменить организацию. Но ему было сказано: «Не торопитесь выбором партии. Лучше оглядитесь хорошенько. Не имеет смысла входить для того, чтобы, может быть, завтра же выйти. Наш вам совет — не связывать себя организационно. Беспартийное положение имеет свои преимущества. Вас больше привлекает практическая сторона дела, а не теория. Не связывая себя организационно, вы можете как угодно много работать в смысле практических соглашений. Момент исключительный, боевой. Как ни заело социал-демократию сектантство и фракционный фанатизм, быть может, и она окажется расположенной с этим считаться. Идея практического соглашения всех партий носится в воздухе. Оставаясь вне партий, вы, может быть, легче всего сможете помочь ее осуществлению. Этим вы удовлетворите обуревающей вас жажде дела и в то же время не свяжете себя преждевременными партийными обязательствами, которых вы потом не сможете выполнить, что поведет к совершенно нежелательным недоразумениям».

Гапон с восторгом ухватился за эту мысль... Гапон обратился в интернациональное социалистическое бюро с письмом, в котором, во избежание недоразумений, сообщал, что под влиянием событий 9 января переходит в социалистический лагерь, сохраняя внепартийную позицию по отношению к различным борющимся между собою в России социалистическим фракциям и от всей души желая их возможно скорейшего об'единения.

Письмо имело неожиданные последствия. Интернациональное бюро и вообще весь западно-европейский социалистический мир был давно озабочен распрями среди русских социалистов. Влияние, которое оказывали на общеевропейское политическое положение судьбы русской революции, не давало возможности отнестись безучастно к этому страшному тормозу движения. (В настоящее время мы очень хорошо понимаем, почему Вандервельде, Каутский, Гендерсон и др. прислужники капитала, находившиеся тогда в бюро II Интернационала, так беспокоились об этом. Разногласия—особенно с большевиками, конечно—создавали тогда и окончательно создали в октябре 1917 г. «страшный тормоз» к переходу в России власти в руки буржуазии. *Д. С.*) «Интернациональное бюро решило воспользоваться, как удобным поводом, письмом сделавшегося мировой знаменитостью священника-революционера. И оно разослало это письмо ко всем партиям при циркуляре, приглашавшем по возможности немедленно сделать попытку к желанному об'единению, или, по крайней мере, соглашению. Таким образом Гапон оказался как бы инициа-

тором попытки к международному соглашению. Он ревностно взялся за дело и, опираясь на моральный авторитет международного социалистического бюро, разослал всем партиям приглашение [1]) прислать к определенному сроку на конференцию своих делегатов для совещания».

Открытое письмо к социалистическим партиям России.

Кровавые январские дни в Петербурге и в остальной России поставили лицом к лицу угнетенный рабочий класс и самодержавный режим с кровопийцей-царем во главе. Великая русская революция началась. Всем, кому действительно дорога народная свобода, необходимо победить или умереть. В сознании важности переживаемого исторического момента, при настоящем положении вещей, будучи прежде всего революционером и человеком дела, я призываю все социалистические партии России немедленно войти в соглашение между собою и приступить к делу вооруженного восстания против царизма. Все силы каждой партии должны быть мобилизованы. Боевой технический план должен быть у всех общий. Бомбы и динамит, террор единичный и массовый, — все, что может содействовать народному восстанию. Ближайшая цель — свержение самодержавия, временное революционное правительство, которое немедленно провозглашает амнистию всем борцам за политическую и религиозную свободу — немедленно вооружает народ и созывает Учредительное Собрание на основании всеобщего, равного, тайного и прямого избирательного права. К делу, товарищи! Вперед на бой! Повторим же лозунг петербургских рабочих 9 января — свобода или смерть! Теперь всякая проволочка и неурядицы — преступление перед народом, интересы которого вы защищаете. Отдав все свои силы на службу народу, из недр которого я сам вышел (сын крестьянина), бесповоротно связав свою судьбу с борьбой против угнетателей и эксплоататоров рабочего класса, я, естественно, всем сердцем и всей душой буду с теми, кто займется настоящим делом настоящего освобождения пролетариата и всей трудящейся массы от капиталистического гнета и политического рабства.

Георгий Гапон.

Конференция состоялась в Женеве 2 апреля 1905 года. Социал-демократы (большевики, меньшевики, латышская, армянская и польская социал-демократические партии и «Бунд») не приняли в ней участия. Прибыли: партия социалистов-революционеров, польская социалистическая партия, армянская революционная федерация, грузинские социалисты-революционеры-федералисты, финляндская «партия активного сопротивления» и белорусская «революционная громада». Председателем конференции был выбран Гапон.

Секретарем конференции был тот самый А. С., который рассказывал в «Русском Богатстве» об увлечении Гапона детским пистолетиком с гуттаперчевой палочкой.

Хотя Чернов удостоверяет, что представители партий, участвовавших на этой конференции, «пришли к некоторым ценным практическим результа-

---

[1]) Письмо это заимствую из книжки «Священник Гапон». Изд. Берлин 1906. *Д. С.*

там», но в чем эти результаты выразились — остается покрытым до сих пор полнейшим мраком неизвестности.

Любопытные моменты резких разногласий, происшедших у участников конференции с председателем ее Гапоном, привожу, с одной стороны, по статье секретаря конференции А. С. в «Русском Богатстве» за 1909 г. (кн. I), а с другой, по книге бездарного бульварного фельетониста Н. Симбирского — «Правда о Гапоне», представляющей некоторую ценность только из-за приведенных в ней документов.

«Конференция, — пишет А. С., — в которой теперь участвовали организации, более или менее примыкавшие к тактике и отчасти к программе социалистов-революционеров, прошла мирно и спокойно. На первую очередь был поставлен вопрос о национальных правах окраин. Гапон был этим недоволен и требовал немедленного перехода к тактическим соглашениям. Но когда представители окраинных организаций об'явили ему, что без согласия по национальному вопросу нельзя приступить к тактическому соглашению, он примирился с этим и даже сам принял участие в дебатах. При этом произошел довольно характерный инцидент. После речей представителей польской социалистической партии и армянской федерации о национальной автономии, Гапон вдруг взволновался и попросил слова. Как все свои речи, он начал довольно бессвязно, путался, не находил слов и повторял по нескольку раз одни и те же фразы. Сначала никто не понял, что он хочет сказать, но все слушали его с напряженным вниманием. Наконец, выяснилась причина его волнений. Здесь на конференции все говорят о правах окраин и никто не говорит о правах России. Выйдет, что Россию разорвут на части. «Все заботятся только о себе, а о России никто не думает! говорил он с волнением, надо и о ней подумать».— Короче, получилась патриотическая речь, по меньшей мере, в духе октябристов (партия крупных промышленников во главе с Гучковым. *Д. С.)*. Однако представитель социалистов-революционеров, чистокровный великоросс успокоил его, об'яснив, что разрывать Россию никто не собирается и никто не посягает на национальные и даже суверенные права великороссов: каждая национальность стремится лишь по возможности оградить свои национальные права. Однако, — как пишет Симбирский, — «Гапон оказался упрямым, как только может быть упрям настоящий хохол и... к немалому конфузу соединенного конгресса, в протокол конгресса по этому вопросу было внесено «особое мнение председателя конгресса».

«Еще бóльший скандал, — рассказывает Симбирский, — произошел при обсуждении следующего вопроса: об устроении аграрных отношений крестьян России.

Председатель Гапон, к немалому ужасу собрания, заявил, что экспроприация всех земель и бесплатная раздача их крестьянам внесут лишь разврат в крестьянскую среду и совершенно дезорганизуют их и обратят в сообщество и даже кучу анархистов; что надо внушить крестьянину уважение к собственности; что если наделять их землей, — а это чрезвычайно необходимо,— то отнюдь не бесплатно, дабы не приучать их к мысли, что все можно получить даром.

И под протоколом по аграрному вопросу появилось особое мнение председателя конгресса».

После этого, — говорит Гапон, — я увидел, что мне лучше передать председательство кому-нибудь другому. К тому же я устал от всех этих передряг и хотел отдохнуть. Тогда я сказал конгрессу, что я очень рад, что они собрались сюда моим именем, что я сказал то, что имел сказать, теперь же желаю им дальнейшего успеха в делах. Звание же председателя с себя складываю».

«После моего ухода, — повествует Гапон, — как говорили, поднялась жестокая грызня» (Симбирский, Правда о Гапоне, С.-Петербург 1906, стр. 173).

Если все это Чернов называет «ценными практическими результатами», то, конечно, это его дело.

«Через несколько недель после конференции, в день русского 1 мая, — рассказывает А. С., — местная группа социалистов-революционеров устроила вечером в одном кафе нечто вроде банкета, на котором собралось человек 40. Был здесь и Гапон. Говорились речи, произносились тосты. Говорил что-то и Гапон. Во время банкета он протянул мне свою рюмку и с загадочно-лукавой улыбкой предложил:

— Выпьем, выпьем за одно дело? А?

— За какое?

— За хорошее дело, за хорошее! Можете смело выпить!.. — продолжал он меня интриговать.

— За нового товарища по партии социалистов-революционеров,—подсказал сидевший рядом один из представителей партии.

На лице Гапона разлилась торжествующая улыбка.

— Ну, теперь выпьете?

— Когда же вы вступили в партию? — удивился я.

— Сегодня, несколько часов тому назад! Ну, давайте же выпьем!

— За это я неохотно буду пить, — ответил я. — Вы знаете мое мнение, что вам не следует вступать ни в какую партию... Да и сами вы много раз высказывали то же самое.

— Ну, ну, ничего, ничего! Так надо, так надо! Увидите! — ответил он торопливо, точно оправдываясь, и в то же время в его тоне звучала уверенная нотка человека себе на уме.

Однако пребывание Гапона в партии социалистов-революционеров продолжалось очень недолго. Чуть ли не с первого абцуга он потребовал, чтобы его ввели в центральный комитет и посвятили во все конспиративные дела. Ему в этом, конечно, было отказано, хотя и в мягкой форме. Он некоторое время сильно настаивал, не будучи в состоянии примириться с мыслью, чтобы он числился членом партии и не состоял в центральном комитете, во главе партии. Кончилось тем, что ему совсем не двусмысленно дали понять, что он может выступить из партии. «Можешь чувствовать себя совершенно не связанным своим участием в партии и поступать, как знаешь», — заявила ему дипломатически тов. Б. (Брешко-Брешковская), ведшая с ним переговоры и

возмущенная его претензиями. Из партии он официально, кажется, не выступил, но между ним и представителями партии наступило полное охлаждение» (стр. 184).

Такое отношение со стороны революционных партий совсем не нравилось Гапону, самомнение которого разраслось еще больше вследствие огромной популярности, которую создала ему европейская печать, следившая буквально за каждым его шагом и сообщавшая о нем самые невероятные сведения. Корреспонденты различных газет не стеснялись приводить о Гапоне небылицы вроде следующей, цитируемой из одной бельгийской газеты А. С.: журналист сообщал, что он встретил в Брюсселе ночью Гапона на тайном студенческом собрании. «Когда все уже были в сборе—вдруг открывается дверь, и входит поддерживаемый с обеих сторон двумя студентами высокий священник в сутане (ряса). Медленно и торжественно приближается он к эстраде, благословляя на пути движением рук молодых революционеров. Когда он сел, студенты и студентки стали поочередно подходить к эстраде и с благоговением целовали протянутую им руку пастыря... Когда эта церемония окончилась, Гапон произнес речь, в которой давал наставления, как заниматься революционными делами. По окончании собрания корреспондент был представлен Гапону, и тот очень любезно сказал ему по-французски с чуть заметным акцентом: «Можете заявить, что наши отношения к Европе, в особенности к Франции и Бельгии — самые дружеские».

Гапон был в восторге от этого рассказа и долго после этого вспоминал о своем «благословении молодых революционеров» и «чуть заметном акценте» («он ни слова не знал по-французски»), — прибавляет А. С.

Гапон получал со всех сторон предложения написать свои воспоминания или отдельные статьи, при чем ему давали за них бешеные деньги.

Огромный гонорар Гапон получил за свою автобиографию, напечатанную в английском журнале и вышедшую отдельной книгой на французском языке под заглавием «Мемуары попа Гапона», из которой я выше делал выписки.

За Гапоном ходили повсюду, его портреты печатались в журналах всех стран. Слава, которой пользовался Гапон за границей, сказки о нем, которыми были наполнены столбцы газет и журналов всей Европы, желания познакомиться с ним, которые высказывались повсюду (Гапон с гордостью рассказывал, что свидания с ним добивалась английская принцесса), — все это совершенно вскружило ему голову. Он стал так себя вести, что даже партия социалистов-революционеров предложила ему покинуть ее ряды. Однако связи с ним социалисты-революционеры не прерывали, видя все же в нем некоторый козырь, который может пригодиться в дальнейшем.

Выход из партии социалистов-революционеров Гапона нисколько не беспокоил, тем более, что как раз в это время приехала к нему какая-то дама, которая удостоверила, что петербургские рабочие его помнят, готовы итти куда угодно по первому его призыву и даже собирают между собою деньги на постановку ему памятника. Последнее обстоятельство особенно понравилось ему, и он всюду стал рассказывать об этом, прибавляя:

«Вы понимаете? Памятник при жизни!.. Как никому!»

Он послал в Россию своего человека, чтобы привезти от рабочих формальные полномочия быть их представителями. Кроме того, он выписал к себе рабочего гапоновца Петрова, председателя Невского отдела, раненого 9 января. Тот приехал, и Гапон широко пользовался им для подтверждения своих слов о влиянии и авторитете, которым окружено его имя в Петербурге среди рабочих. Ослепив Петрова роскошью своей жизни, он без особого труда добился, что тот подтверждал все слова Гапона.

Характерную картину из жизни Гапона за границей в это время рассказывал Рутенберг:

«Парижский кабак. За столом — охмелевший и загрустивший Гапон. Кругом содом. Гапон с помутившимися глазами подымает голову и зовет гарсона.

— Гарсон! «Реве тай стогне»...

Французский гарсон, конечно, не понимает.

Гапон сердится, бьет кулаком по столу, настаивает на своем. Его стараются понять и удовлетворить. В оркестре отыскивается интернациональный скрипач, понявший, чего от него требуют.

Плачет скрипка... Плачет Гапон. Мысли его далеки от окружающего его кабацкого, обратившего на него внимание, хаоса. Гапон плачет и подтягивает:

> Реве тай стогне Днипр широкий,
> Сердитый витер завыва.
> До долу вирбы гне высоки
> Горами хвылю пиднима...

Скрипач кончил и расшаркался с изысканной любезной улыбкой.

Гапон брезгливо запускает пальцы в жилетный карман и швыряет скрипачу золотой...».

Однако план организации «боевого комитета» не был оставлен. Идея массового вооружения народа и устройства для этого специальной организации была принята центральным комитетом партии социалистов-революционеров при самой активной поддержке Азефа и Гоца.

Особая организация была создана, и во главе ее стал Рутенберг, который взял на себя подготовку квартир для складов оружия в Петербурге, изыскание возможности приобретения оружия в России, связь с армянской партией «Дашнакцутюн», которая обещала уступить социалистам-революционерам целый транспорт бомб, выяснить возможность экспроприации оружия в арсеналах. К этим же мероприятиям относятся и покупка и посылка в Россию груженого оружием парохода «Джон Крафтон».

Все эти намеченные меры скорее указывали на безвыходность положения партии социалистов-революционеров в деле вооружения широких народных масс. Конечно, ни одна из партий не располагала возможностью сколько-нибудь серьезно поставить перед собой такую задачу. Все планы в этом отношении носили характер чистейшего авантюризма, ибо вопрос мог единственно решаться так, как он был разрешен в 1917 году.

Тем не менее дело было начато.

Член финляндской партии «активного сопротивления» Кони Цилиакус предложил центральному комитету партии социалистов-революционеров принять от «американских миллиардеров» пожертвование в миллион франков для вооружения народа, при чем сообщил, что американцы ставят условием принятия этих денег распределение их между всеми существующими в России революционными партиями. Социалисты-революционеры приняли предложение, прежде всего выделили из этих денег 100.000 франков своей боевой организации, руководимой Азефом и Савинковым, а на остальные деньги решили купить и отправить в Россию с грузом оружия целый пароход. Пароход этот «Джон Крафтон» был приобретен в Англии, нагружен оружием и пошел к берегам Балтийского моря. Предполагалось, что он выгрузит оружие на Прибалтийском побережьи и в Финляндии. Но пароход сел на скалу в Ботническом заливе у острова Кеми и был взорван своей командой. Часть оружия была выгружена на острове и там найдена впоследствии русской пограничной стражей. Николай II на докладе об этой попытке провоза оружия в Россию собственноручно начертал: «Скверное дело»...

Из записок Рутенберга, между прочим, выясняется, что летом 1905 г. перед поездкой в Финляндию, Гапон получил от некоего Сокова 50.000 фр. «Соков», повидимому, псевдоним вождя финляндской партии активного сопротивления, Кони Цилиакуса. Как рассказывает Рутенберг, Гапону показывали фотографические снимки с собственноручных писем Сокова к японскому посланнику в Париже, которому Соков давал отчет в израсходовании полученных от него денег (Россия находилась тогда в войне с Японией).

«Показывают и говорят, — рассказывал Рутенбергу Гапон: — Вот какие вы, революционеры! На японские деньги революцию в России разводите. Как увидал — весь затрясся. Слава тебе, господи, думаю (широко крестится), что не касался этих денег. А там написано: «с.-р. 100.000».

— Но ведь ты получил от Сокова 50.000? Как же ты говоришь, что не касался этих денег?

Гапон смутился. Он думал, что я не знаю этого. Деньги он получил летом, когда меня за границей не было.

— Нет, я получил их не от Сокова, а от американки из рук в руки. Соков к этим деньгам никакого касательства не имел» («Былое № 11 — 12).

«Есть ли у этого дыма об японских деньгах, дыма очень едкого и во многих местах прорывающегося, какой-нибудь огонь или нет, — трудно сказать, — пишет В. А. Поссе (стр. 99). — Но там, где руководящую роль играют провокаторы вроде Азефа, все возможно. Во всяком случае, я чувствовал, что гапоновские деньги жгутся, хотя они и темные; держать их в руках было неприятно, и, право, лучше, что Гапон тратил их не на освобождение рабочего класса, а на удовлетворение своих прихотей».

Факт этот очень характерен. Думаю, что исчерпывающие об'яснения могли бы дать лица, находившиеся во главе партии социалистов-революционеров, например, В. Чернов и Савинков, тем более, что сумма «социалистам-революционерам 100.000» удивительно совпадает с суммой 100.000, выделен-

ной социалистами-революционерами для своей боевой организации из миллиона франков, предложенного центральному комитету партии социалистов-революционеров финляндской партией «активного сопротивления» Кони Цилиакусом, как пожертвование от «американских миллиардеров», неожиданно почувствовавших симпатии к русской революции... Мы в этом деле не участвовали. Сам В. Ленуар (Чернов) говорит, что в этом «предприятии» участвовали «финляндские активисты» и русские социалисты-революционеры» («За кулисами охранного отделения», стр. 170).

Им и книги в руки...

Из Финляндии Гапону сильно хотелось пробраться в Россию. Но он не решился. Он сильно волновался вопросом, что его ждет в случае ареста в России, — как рассказывает А. С. («Русское Богатство», 1909, кн. I, стр. 195). «Обращался он с этим вопросом и к С., и тот с большой уверенностью ответил ему:

«— Повесят, поп! И не сомневайся даже! Без разговоров вздернут!»

«И этот ответ, — по словам С., — произвел на Гапона самое удручающее впечатление».

Гапон вернулся в Женеву. «Враждебное отношение к существовавшим революционным партиям, — говорит там же А. С. (стр. 190), — а в особенности к «интеллигентам», руководителям партий, обострилось до крайности. Он уже открыто об'явил войну «интеллигентам», прибегал к самым демагогическим приемам и развивал «теорию», которая, как две капли воды, была похожа на пресловутую «зубатовщину».

Он метался из стороны в сторону, говорил о тесных связях, которые поддерживает с петербургскими рабочими, собирался издавать газету, для чего ездил в Лондон, заводил знакомства, при чем всюду говорил о своей теории:

«Все средства хороши... Цель оправдывает средства... А цель у меня — святая: вывести страждущий народ из тупика, избавить рабочих от гнета... Выстрадал я это собственной душой, это мои мысли, моя идея, а пока что, — я живу здесь и жду часа...» (Сизов, «Мои встречи с Г. Гапоном», «Историч. Вестник», февраль 1912 г., стр. 565).

Одному из своих друзей, Петру Пильскому, Гапон как-то формулировал эти свои взгляды еще более красочно:

«Если б мне пришлось ради достижения моих целей и ради рабочих сделаться не только священником или чиновником, а даже проституткой, я, ни минуты не задумываясь, вышел бы на Невский» («Георгий Гапон», ст. Пильского, «Одесские Новости» от 12 января 1910 г.).

IX. После 17 октября 1905 года.

18 октября в женевских газетах был отпечатан текст манифеста о свободах, подписанного Николаем II 17 октября:

Гапон приехал в Россию. Все страхи преследования со стороны русского царского правительства, которые он обнаружил за границей, перед

от'ездом из Швейцарии, повидимому, были предназначены «для наружного употребления», ибо в Петербурге Гапон немедленно вступил в переговоры с Витте, которого только что хотел, как говорил, убить, об открытии отделов «Собрания».

Вот как писал он сам, графу Витте, о своих настроениях и планах после 17 октября («Огни» № 1,19 марта 1906 г. «Делю Георгия Гапона» — статья Н. Строева, стр. 6—7):

«...Манифест 17 октября дал новое направление моим мыслям: правительство пошло на уступку, надо использовать положение в интересах пролетариата. Когда я приехал в Россию в октябре, поговорил с рабочими, я понял, что проводить мысль о вооруженном восстании — настоящее преступление в данное время. Это было бы напрасной жертвой тысячи жизней, или в лучшем случае натиском народа воспользовалась бы буржуазия для захвата власти. Пролетариат я застал не организованным, не сплоченным. (Это в ту эпоху, когда уже существовал и действовал Совет Рабочих Депутатов, об'единивший свыше 200.000 петербургских рабочих и являвшийся — по признанию даже органов царской власти — действительным правительством!! *Д. С.).* Та же пылкая молодежь, отвечающая на первый призыв, та же кучка сознательных, беспартийных и социал-демократов, та же огромная масса еще темная, жаждущая света, горячего участливого слова, в которое можно поверить от души. Рабочих охватило революционное настроение, и его поддерживали партии. На долго ли хватит этого пыла? И не есть ли обман говорить рабочим, что стоит сделать еще одно усилие — и победа в руках, и настанет царство божие на земле?.. Мои впечатления в России убедили меня, что надо действовать совсем иначе. Надо воспользоваться первым успехом и возвещенной свободой собраний и союзов для организации пролетариата, для сплочения его в один союз беспартийной программы, надо заняться культурно-просветительной работой и осуществить идею самопомощи рабочих... Пролетариат должен быть силен сам по себе, организован, сплочен и могуч ясным сознанием и действительной помощью, всегда готовой к его услугам. Пойдет ли он драться, будет ли вести борьбу забастовками или останется равнодушным к политическому движению привилегированного общества покажут обстоятельства и ход событий, решат сами рабочие, обдумав и взвесив, что им надо делать. В единении и сознании сила, в решающем голосе самих рабочих залог успеха всякого выступления пролетариата. Диктовать ему никто не имеет права, и никто заранее не может решить, что надо сделать. Воля народа — воля божья. Я решил, что не надо задаваться сейчас никакими планами политической борьбы и только организовать рабочих и сплотить их в союз для целей культурных и для борьбы и творчества в области улучшения материального и условий труда. Будущее покажет само, что делать, но теперь надо отдохнуть пролетариату и воспользоваться «свободами 17 октября». Нужна реальная политика, а не теория...».

«...Я не видел другого исхода, — передает дальше Строев слова Гапона, — как легальный путь для открытия отделов, а для этого надо было

обещать, что никакой революции мы не затеваем. Витте, видимо, мне придавал большое значение, и его чиновник еще раньше спрашивал у нашей депутации: «А вы не повторите 9 января, если вам разрешат открыть отделы?».

С таким багажем Гапон выступил вновь на арену политической жизни рабочего Петербурга. Нет ничего удивительного, что за ним никто не пошел, кроме незначительной кучки.

Уже цитированный мною Павлов пишет:

«В это время русский рабочий люд об'единился под одним общим знаменем, но уже не гапоновским, и в гапоновской демагогии никто не нуждался, и даже правительство не нашло возможным и нужным войти в настоящее соглашение с Гапоном, считая, очевидно, это бесполезным ввиду того, что Гапоновские идеи этого времени не собирали вокруг себя мало-мальски заметного количества сторонников. Лишь один маленький кружок, каким-то фуксом образовавшийся, об'явил себя наследником идей Гапона. Но в него не вошел почти никто, даже из самых преданных Гапону бывших его сотрудников. Этот кружок зачах и тихо умер. Вся же масса бывшего «Собрания» признала для себя более подходящими другие лозунги», — осторожно (ввиду цензурных условий 1908 года) говорил Павлов в кн. 4 «Минувшие Годы».

Как видно всякому, прочитавшему приведенную мною выдержку из письма самого Гапона, заграница ничему не научила его, кроме разве попадания в цель из игрушечного детского пистолетика, любезно купленного ему социалистами-революционерами. Говорить о неорганизованности и отсутствии сплоченности у петербургских рабочих, только что проведших небывалую октябрьскую забастовку и об'единившихся под руководством впервые созданного ими своего органа пролетарской власти — Совета, — утверждать, что политическую борьбу ведет «привилегированное общество» и что пролетариат только присоединяется или не присоединяется к этой «привилегированной» борьбе, что не надо совсем иметь никаких планов на будущее, а следует заниматься исключительно культурно-просветительной работой, что вооруженное восстание приведет лишь к захвату власти буржуазией, — да разве это не те старые теории Зубатова, говорившего, как я уже приводил выше, что при самодержавии рабочему классу легче добиться улучшения своего положения, что самодержавный режим не есть классовый, что он «уравновешивает» классовую борьбу и является «нейтральным» по отношению к ней, и т. д., и т. д. Для кого это все? Кто поверит этому хоть на секунду после 9 января, после всех событий бурного 1905 года, после октябрьской забастовки, после вырванного ей манифеста 17 октября, после создания рабочими небывалого дотоле, мощного и открытого органа своей классовой революционной борьбы в лице Совета? Для Витте? Очевидно, да, ибо самое изложение связано с переговорами с Витте, является как бы об'яснением причин, почему Гапон прежде всего обратился к милостивой благосклонности этого царского временщика.

Витте в то время, чувствуя себя на революционном вулкане, хватался за каждую соломинку, чтобы удержать колеблющийся трон. Он обращался

к Струве, к Милюкову и к другим «общественным деятелям» за поддержкой. Он не упустил из виду и Гапона, руководствуясь, очевидно, правилом, что в большом хозяйстве и всякая дрянь на что-нибудь пригодится.

Витте обещал Гапону открыть отделы, возместить понесенные ими от закрытия убытки, которые Гапон исчислял в 30.000 рублей, но под условием немедленного от'езда его за границу, где он должен был ожидать амнистии. Витте дал даже Гапону на поездку 1.000 рублей денег.

В переговорах с Витте участвовали — со стороны Гапона — всякие большие и малые проходимцы вроде Матюшенского, Манусевича-Мануйлова и т. д.

Гапон получил деньги от Витте, но за границу пока не уезжал.

Во время ноябрьской забастовки, об'явленной С.-Петербургским Советом Рабочих Депутатов с требованием отменить назначенный над кронштадтскими солдатами и матросами военно-полевой суд за участие в восстании, в зале Вольно-Экономического Общества происходило заседание Совета.

В боковой комнатке, в полутьме, сидели Рутенберг и Гапон и разговаривали. Гапон вспоминал 9 января, заграничную жизнь.

Рутенберг рассказывает:

«Наклонившись ко мне, он тихо говорит:

— Вот что... У тебя есть связи... Не можешь ли похлопотать, чтобы мне дали амнистию?»

Рутенберг отвечает, что Гапону при его роли в революции неприлично поднимать вопрос об амнистии.

«— Пойди, попроси у председателя слова, скажи собранию: «Я — Георгий Гапон и становлюсь, товарищи, под вашу защиту». И тебя никто не посмеет тронуть».

Гапон отрицательно покачал головой.

— Ты ничего не понимаешь, — сказал он».

Рутенберг, действительно, ничего не понимал. Разве мог Гапон, связавшись уже с Витте и получивши от него деньги, открыто обращаться к Совету Рабочих Депутатов?

В половине ноября 1905 года Рутенберг взял справку у прокурора судебной палаты о том, что все привлекавшиеся к делу 9 января, и Гапон в том числе, амнистированы, и сказал об этом Гапону, предлагая ему прекратить подпольный образ жизни.

Гапон отнесся к этому совершенно безучастно. Ведь он только делал вид, что «скрывается» от полиции, а на самом деле местопребывание его великолепно было известно полиции, хотя бы через того же Витте.

Гапон до такой степени отстал от темпа жизни, все его старания возродить отделы так мало встречали сочувствия со стороны рабочих, что ни я, ни другие участники Петербургского Совета Рабочих Депутатов даже не можем припомнить появления его в Совете и пред'явленного не то им, не то кем-то из шедших еще за ним единиц требования о представительстве в Совете Депутатов от его «Собрания» или помощи в организации «отделов»...

Смутно помнится, что какие-то разговоры были, но предложение, не поддержанное ни одним из депутатов, безнадежно провалилось и даже не вызвало обсуждения...

Рутенберг передает так свой разговор с Гапоном об его переговорах с Витте:

«Февраль 1906 года. Москва. В одной из комнат квартиры Рутенберга сидит Гапон. Он в дорогом костюме от хорошего портного, но вид у него неловкий, несколько растерянный. Смотря в сторону, он рассказывает:

«— Видишь ли, я никак не могу понять революционеров. Все они какие-то узкие, ничего не видят дальше своей программы, буквоеды... Из всех я ценю одного тебя. Ты меня всегда понимал и ты идешь прямой дорогой, куда нужно, не стесняясь условностями. С тобой я хочу поделиться одной большой тайной. Ты понимаешь, что когда лес рубят, — щепки летят, и в революции нельзя обойтись без жертв. Всякий поступок революционера прежде всего надо оценивать по результатам, которые он принесет, и нельзя останавливаться перед тем, что, может быть, он покажется многим некрасивым и нехорошим...

«Гапон помолчал, нервно шевеля пальцами.

«— Помнишь, когда я приезжал в Петербург после манифеста 17 октября? Струве, Матюшенский и другие хлопотали у Витте за меня и просили об открытии 11 отделов. Доказывали, что открытие моих отделов ничего кроме пользы для правительства не принесет, ибо рабочие будут отвлечены от революционных партий. Особенно хлопотал Матюшенский. Но Витте отказал.

«Матюшенский познакомил меня с чиновником особых поручений при Витте, Мануйловым. Он сказал мне, что Витте очень беспокоится о моей судьбе. Витте знает мои способности и очень ценит меня. Дурново хочет меня непременно арестовать, и Витте просит меня уехать из Петербурга, так как мой арест принесет большой вред рабочему делу.

«Мануилов был раньше агентом Плеве в Париже. После переговоров со мной сошлись на следующем: Мануйлов получит для меня заграничный паспорт, и я уеду, а за это правительство: 1) откроет отделы, 2) возместит причиненные закрытием отделов убытки в размере 30.000 рублей и 3) через шесть недель легализирует меня, так что я смогу вернуться в Петербург. Решение это было принято мною не единолично, а после совещания с моими рабочими».

В своем уже цитированном мною письме, приведенном Н. Строевым в журнале «Огни» за 1906 г., Гапон дальше пишет:

«От'езду моему придавали очень большое значение, боялись, не принял бы я участия в восстании и даже не организовал бы его. Меня могли арестовать, но выгоднее было не делать шума. Я, как вам уже говорил, не верю в вооруженное восстание, а товарищи рабочие уговорили меня согласиться и уехать. Если бы сказали: «останься жить нелегально» — я бы остался. Я не вижу ничего позорного в переговорах с правительством ни для себя, ни для рабочих. Никакого дурного дела ни я, ни они сделать не собираются,

да и надо быть слепым, чтобы верить в возможность организовать среди рабочих контр-революцию. Так могут думать только люди, совсем не знающие рабочих и думающие, что ими можно командовать по желанию одного лица. Если бы я даже обещал что-нибудь в этом роде, то не в силах был бы выполнить. Деньги я тоже считал вправе взять. Я брал их не для себя, а для рабочих. Каждая копейка на счету, и пойди все дело спокойно, никакого протеста среди рабочих факт получения денег не вызвал бы. Спросите любого рабочего, следовало ли взять при этих условиях? Они ответят, что следовало, потому что деньги наши, народные, а мы их употребим не на дурное дело. Общество смотрит иначе, чем рабочие. Там думают о достоинстве, основанном на том, что скажут в свете, в интеллигенции, в газетах, не потерять бы роли, значения, не потерять бы славы или карьеры, здесь рабочие верят только в себя самих и знают, что их не запачкают деньги, откуда бы они ни были взяты, верят, что никакое дурное дело, затеянное правительством, не удастся в их среде. Рабочим нечего бояться этих денег, а поражены они нападками общества, той легкостью, с которой газеты позорят людей, ничего хорошенько не зная...».

Из этой части письма ясно, что разговор с Витте был о получении денег на организацию среди рабочих контр-революционного движения, что Гапон деньги взял и работать в этом направлении обещал, а теперь оправдывается в том, что, во-первых, деньги не пахнут, а во-вторых — все равно, дескать, среди рабочих никакого контр-революционного движения создать невозможно. Письмо это нельзя рассматривать иначе, как оправдательный документ человека, подозревающего, что обвинителям известно все о его переговорах с Витте и что имеющиеся данные надо так или иначе опровергнуть... Тем более, что письмо, как видно из его последних слов, написано после разоблачений, сделанных председателем Невского отдела, рабочим Петровым, о котором Гапон пишет в конце: «Они (рабочие) очень дурно смотрят на поступок Петрова и думают, что он кем-то подкуплен. Сам рабочий этого не сделал бы, не предал бы рабочего дела на позор и растерзание интеллигенции. Думают рабочие, что весь поход предпринят какой-нибудь партией, чтобы сорвать «Собрание» и опозорить его в целях партийной агитации...».

Словом, — с больной головы на здоровую, оправдание принятия денег от Витте тем, что подкуплен не тот, кто их взял, а тот, кто возмутился этим поступком Гапона. Но о Петрове после.

Попытки Гапона провести в жизнь в рабочей среде взгляды, так красочно изложенные им в своей записке к Витте, не могли не встретить резкой оппозиции со стороны печати. При этом интересно, что партийные газеты: «Новая Жизнь», «Начало», «Сын Отечества» и «Русская Газета», насколько я помню, вовсе не уделяли на своих страницах места для полемики с Гапоном; слишком ясно было для всех, работавших среди пролетариата, что Гапоновские планы и программа не встретят ровно никакого сочувствия в рабочей среде. За Гапона принялись газеты, обслуживавшие мелкую буржуазию и мещанство: «Русь», «Биржевые Ведомости» и т. п., описывавшие

поведение Гапона за границей, игру его в рулетку в Монте-Карло и другие подробности бульварно-скандального свойства.

Подчинившись в конце концов требованию Витте, Гапон в начале декабря 1905 года вновь уехал в Париж, оставив своим доверенным для получения обещанных Витте в возмещение убытков от закрытия отделов 30.000, некоего Матюшенского, принадлежавшего к группе бездарных фельетонистов провинциальной печати и хвалившегося тем, что он уже 23 года участвует в революционном движении, при чем доказательств такого его участия, кроме его собственных слов, никаких не было.

Приехав в Париж, Гапон поместил в газете «Матэн» свое интервью, в котором подверг резкой критике левые партии и высказался дружелюбно по адресу правительства Витте-Дурново (Е. Семенов, В стране изгнания, СПБ. 1911 г.: «Встреча с Гапоном», стр. 163).

Это интервью произвело ошеломляющее впечатление на публику. Как? Известный революционер, «вождь рабочих», «герой 9 января» и прочая, и прочая, в момент начавшегося разгула дикой реакции восхваляет Дурново?!

Гапон, об'яснивший свой приезд в Париж совсем не заключенным с Витте условием, а желанием войти в «личные отношения с Европой», был смущен таким результатом его первого выступления в печати и поместил следующее письмо в редакции социалистической газеты «Юманите», редактировавшейся Жоресом (Интервью было перепечатано и в «Юманите»):

«Париж, 3/16 декабря 1905 года.

«В сегодняшнем номере уважаемой газеты было помещено интервью со мной. К сожалению, благодаря незнанию французского языка, в нем вкрались некоторые неточности, которые могут повести к разным недоразумениям и кривотолкам, поэтому прошу вас поместить нижеследующее: Всякий угнетенный и обездоленный народ, в том числе и великий русский, может и должен быть готов к освобождению из-под ярма насилия и произвола, но не всегда тот или иной народ униженный и оскорбляемый в среде богатых и сильных может быть готовым сбросить с себя петлю немедленным вооруженным восстанием. Поменьше надо лить братской крови. Он должен сначала хорошенько приготовиться к этому героическому последнему усилию в своем стремлении к свободе и совершить его только в крайности, иначе петля может еще сильнее затянуться и сделаться мертвой петлей. Великий русский народ, по моему убеждению, еще не готов ни технически, ни внутренно, — сознанием к освобождению посредством немедленного победоносного вооруженного восстания, на что толкают его, к чему взвинчивают его мои самоотверженные товарищи-революционеры. В этом состоит первая их тактическая и, может быть, пагубная для дела революции ошибка.

Относительно г. Витте, — было бы слишком много называть этого человека с лисьим хвостом единственным ценным человеком в обширной России. Есть фигуры, без сомнения, побольше Витте; я хотел здесь указать на вторую тактическую ошибку революционеров (??).

Именно, что нельзя быть слишком односторонним и твердить, задраı хвост и все по одному напеву. Нужно всматриваться в соотношение борю щихся сил. Авось нашлись бы некоторые точки соприкосновения, которые можно было бы использовать для дела революции(?).

В этом отношении (?) Витте, действительно, ценный человек, несомненно умный и бесспорно прогрессивный. И не дай бог, конечно, чтобы он был единственным. Может быть, скоро наступит время, когда все лагери, не исключая и придворного, не раз почешут свои затылки, что не могли во-время использовать г. Витте и положение вещей.

Я не мог быть брошен революционными вождями, так как стоял и стою вне партий. Они только несколько против меня, не понимая того, что я и не думаю руководить революцией, иду не против идей, исповедуемых ими, а против их тактики, что я восстаю против отсутствия у них политического чутья, против отсутствия у них иногда настоящей жалости-любви к самому пролетариату.

Нельзя же в самом деле так часто испытывать пролетариат стачками и нищетой, попыткой преждевременно ввести восьмичасовой рабочий день революционным путем, выбрасывая тысячи на улицу с детьми.

И так он много умирал, голодал и холодал; пора бы ему отдохнуть, собраться с силами.

Маршал Ойяма, разбив Куропаткина, два месяца отдыхал, и армия его не только не сделалась деморализованной, а, наоборот, более энергичной и самоотверженной. Наши же доморощенные маршалы применяют уж очень скоропалительную тактику. Боюсь, как бы массы, которые еще недостаточно сорганизованы и недостаточно проникнуты революционным сознанием, в конце концов не обратились бы против своих спасителей — и последнее, как сказано в Евангелии, будет горше первого.

Подчеркиваю здесь, что я остаюсь таким же революционером, каким был, которому дороги принципы международного социализма. Только я, соприкоснувшись непосредственно с русской действительностью, узнавши положение масс и соотношение сил, — бью в набат предостережения: героический русский пролетариат в опасности! Берегись, пролетариат, своей кровью добывший свободу! Берегись приготовить богатство и славу своему врагу!

Имеющий уши слышать — да слышит!

Георгий Гапон».

Того же третьего декабря 1905 г. Гапон написал еще более откровенное письмо в американскую газету «Нью-Йорк Геральд»:

«Я уехал из России в декабре месяце, по желанию моих верных товарищей-рабочих, членов организационного комитета.

Подчиняясь их воле, я нелегально, тайком, крадучись, в третий раз оставлял в тяжелом раздумьи, с грустью в сердце, дорогую для меня родину.

(Это ложь. На самом деле Гапон уехал, как я говорил выше, по соглашению с графом Витте, от которого получил деньги и паспорт для выезда за границу на чужое имя. *Д. С.)*

Мне так хотелось броситься в роковой, быть может, для меня водоворот жизни для блага народа.

Хорошо ознакомившись на месте с русской действительностью, узнавши соотношение борющихся сил и настроение крестьянских и рабочих масс, я прозревшими глазами духа взглянул за пределы настоящего в грядущее, и у меня сжалось сердце при виде представившейся моему духовному взору картины хаоса с широкими кровавыми полосами. Я сознал свою ошибку в тактике ведения борьбы за хлеб, за желанную свободу. Я сознал, что если кровавое воскресенье 22 (9) января было громадным решительным толчком русскому освободительному движению, то моя пропаганда после январских скорбных дней идеи вооруженного восстания с единичным и массовым террором с целью добиться осуществления демократической республики в России скорее была под влиянием возмущенных чувств гнева и мести за неповинную кровь народных мучеников-героев, чем под влиянием истины и разума, сообразующегося с положением и ходом вещей. Я сознал, что пропаганда идеи немедленного вооруженного восстания для данного момента в России есть обоюдоострый меч, который может скорее пронзить сердце России, чем дать настоящую победу пролетариату. Пролетариат еще далеко не подготовлен ни технически, ни внутренне сознанием к вооруженному восстанию с максимальной для себя пользой. В низах же его, вследствие часто повторяющихся стачек и безрезультатных кровавых восстаний, замечается брожение даже враждебное революционному движению в крайней его степени. Это настроение пока еще мало выливается наружу до поры до времени. Но не сегодня — завтра голод, холод и безработица могут это настроение вынести на свет.

Крестьянские массы хотя и волнуются вследствие безземелья и бесправного своего положения, но в общем держатся еще за идею царизма. Если они и настроены враждебно против помещиков и чиновников, то они также начинают сильно озлобляться против революционеров, — по их преобладающему мнению, безбожников и смутьянов, стремящихся погубить великую Россию. Не нужно здесь выпускать из виду, что пропаганда идеи немедленного вооруженного восстания и частичное фактическое его осуществление пробудили под страхом надвигающегося темного духа анархии общественные силы, стоящие за правовой порядок, и в настоящее время, как грибы после дождя, начинают организовываться монархические и либеральные союзы. Войско же еще верно, в большинстве, присяге, так что солдатские пули и пулеметы не скоро, пожалуй, еще перестанут действовать против восставших за демократическую республику. Все это меня убеждает, что пролетариат своим неуместным вооруженным восстанием в данное время может привести к страшно убийственной гражданской войне, которая зальет братской кровью улицы города и поля моей родины, разорит вконец страну, надолго ослабит пролетариат и, главное, вызовет реакцию и, пожалуй, военную диктатуру. Одним словом, вооруженное восстание в России в данное время есть тактическое безумие. Вот почему я, будучи в Петербурге в ноябре, в кругу своих товарищей, высказался против всеобщей стачки и

против всеобщего вооруженного натиска пролетариата на царизм. Вот почему я счел своим нравственным долгом, мужественно сознавая свои прежние тактические ошибки, выступить смело и открыто в ближайшем будущем с новыми словами: «Стой, пролетариат, и осторожней — засада! Ни шагу вперед! Резким шагом вперед не вызывай темного и озлобленного реакционного чудовища... Избегай крови... Жалей ее... И так ее достаточно пролито... Смотри, не повтори ошибки 1871 года коммунаров-героев французского пролетариата... Шагом назад не задерживай освободительного святого движения. Укрепляй лучше теперь завоеванные позиции, душой и телом всецело отдавшись организационно-созидательной работе. Собирайся с силами, требуй пока от правительства выполнения программы, намеченной манифестом 17 октября и немедленного созыва Думы с самым широким участием народа и рабочих.

Конечно, сейчас у меня не особенно весело на душе. И если в России в данный момент жарко от дымящейся крови человеческой, а на южном берегу тепло от светлых лучей солнечных, то в душе у меня температура не низкая и даже не средняя, — в ней кипение... Во всяком случае я полон решимости и энергии действовать согласно своему внутреннему убеждению и не боюсь прослыть изменником народному благу. Пусть за меня само дело свидетельствует. Все же инсинуации, которые начнут, без сомнения, распространяться относительно меня лицемерами недоброжелателями, заранее заявляю — буду презирать, как презирал и до 22 (9) января.

Георгий Гапон».

X. По старой дороге.

В половине января 1906 г. Георгий Гапон написал министру внутренних дел Дурново следующее письмо:

«Вам хорошо должно быть известно, как беззаветно я отдавал себя на службу пролетариату до 9 января. И результат сказался скоро: не прошло года, как из небольшой кучки преданных мне рабочих, без всякой материальной поддержки со стороны правительства, несмотря на все нападки с.-д. и с.-р., несмотря на все недоверие со стороны интеллигенции, буквально на гроши рабочих выросло сравнительно большое общество, так называемые 11 отделов собрания рабочих.

Ключем била в них жизнь, потому что в основе общества правда, потому что в них была «душа жива», оно исключительно преследовало цели, намеченные в уставе, и не помышляло итти вместе со мной против существующей династии. Наоборот, как для меня, так и для членов рабочего общества личность его императорского величества всегда была священна и неприкосновенна во всех отношениях. Признаюсь, что в своих частных кругах мы допускали иногда критику бюрократического режима, но постольку, поскольку это касалось рабочего дела и народного блага. Будь со стороны правительства вообще и в частности со стороны министерства финансов и высшей инспекции должное внимание к обществу, как барометру

настроения рабочих масс, собрание русских фабрично-заводских рабочих явилось бы прочной базой для разумного профессионального рабочего движения в России.

9 января — роковое недоразумение. В этом, во всяком случае — не общество виновно со мною во главе. Я за полтора месяца, различая значение времени, указывал печатно («Русь») и словесно (г. Фуллону) на сгущенную и наэлектризованную атмосферу настроений рабочих масс, я говорил г.г. Фуллону и Муравьеву о необходимости хорошо разрядить эту атмосферу, использовав в благо государства и в благо обездоленного русского народа. Я, далее, все сделал, чтобы не совершилось пролития неповинной крови, чтобы не было кровавого исхода. Так, между прочим, за несколько дней до 9, я вошел в сношение с крайними партиями и потребовал, чтобы не выкидывали красных флагов во время шествия и чтобы это мирное шествие народа к царю не обращали в демонстрацию, к протесту «красных». Я, действительно, с наивной верой шел к царю за правдой, и фраза «ценой нашей собственной жизни гарантируем неприкосновенность личности царя» (см. письмо к царю, подписанное мной и товарищами) не была пустой фразой, но, если для меня и моих верных товарищей особа государя была и есть священна, то благо всего русского народа для нас дороже всего. Вот почему я, уже зная накануне 9, что будут стрелять, пошел в передних рядах, во главе, под пули и штыки солдатские, чтобы своею кровию добиться обновления России на началах правды.

9 января совершилось. К сожалению, не для того, чтобы послужить исходным пунктом обновления России мирным путем, под руководством государя, с возросшим сторицею его обаянием, а для того, чтобы послужить исходом к уничтожению, к началу революции.

Естественно, я скорее под влиянием возмущенных чувств гнева и мести за невинную кровь народных мучеников, нежели под влиянием истины и разума, впал в крайность и первый провозгласил вооруженное восстание и «временное революционное правительство», из всех сил старался привести к соглашению существующие в России (партии).

Густой туман, окутавший было мой ум и мое сердце, начал рассеиваться.

Разум входил в свои права, к концу революционной конференции меня взяло сомнение, да хорошо ли я поступил? Куда иду я, принесет ли все это пользу бедному нашему народу? И я, несмотря на просьбы участников конференции, не подписал ее деклараций, ее постановлений.

Познакомившись хорошенько с партиями, я, не войдя ни в одну из них, разочаровался в них, повидавшись же со своими товарищами-рабочими, соприкоснувшись непосредственно с русской действительностью, я понял свою грубую ошибку и мужественно, открыто сознался в ней.

Ранее, чем начались какие-либо сношения с представителями г. Витте, я мужественно и открыто шел против вооруженного восстания (см. многие беседы за границей, интервью, а также письмо в организационный комитет рабочих) и против стачки (см. телеграмму своим товарищам рабочим), прежде

чем началась последняя стачка или вооруженное восстание в Москве. Все это я сделал по глубокому убеждению, что единственный исход, гарантирующий теперь благо России, есть закономерное устройство России на началах свободы (провозглашенных) с высоты престола манифестом от 17 октября. В этом убеждении я остаюсь и останусь в духе такого своего убеждения — я готов работать на пользу родины.

Георгий Гапон» [1]).

За время отсутствия Гапона из России было получено разрешение на открытие 11 отделов «Собрания», а кроме того, министр торговли и промышленности Тимирязев выдал уполномоченному Гапона А. И. Матюшенскому в возмещение убытков, понесенных «Собранием» от закрытия его после 9 января — круглую сумму в 30.000 рублей. Однако Матюшенский соблаговолил передать «Собранию» только 7.000 рублей, заявив, что получена именно эта сумма, а с остальными 23.000 рублей в кармане удрал в Саратов.

Обнаружив такую резвость Матюшенского в выполнении порученного ему дела, Гапон послал за ним погоню из рабочих Кузина и Черемухина, которым и удалось отобрать от Матюшенского почти целиком эту украденную им сумму, за исключением растраченных им 2.000 рублей. Гапон, впрочем, хорошо знал натуру своего доверенного и в напутствии участникам погони говорил, что можно предложить Матюшенскому оставить у себя даже 10.000 рублей, лишь бы он вернул остальные.

Сам Матюшенский в своей «исповеди», напечатанной Амфитеатровым в издававшемся им за границей в 1906 г. журнале «Красное Знамя» (№ 2, май, стр. 89 и следующие) пытался об'яснить, что 23.000 рублей он взял у Тимирязева не для гапоновского «Собрания», а... на организацию контрреволюции, — специальное поручение создать которую в широком масштабе он принял от департамента полиции и, конечно, хотел воспользоваться этими деньгами для «революционных целей» (а пока что играл на них в карты и кутил), но веры Матюшенскому может быть еще в несколько раз меньше, чем Гапону.

Почему Гапон поручил получить 30.000 рублей Матюшенскому, а не председателю «Собрания» Иноземцеву или заместителю председателя Варнашеву, — неизвестно.

Сведения о получении денег от Витте (1.000 руб.—на от'езд за границу и 30.000 рублей, выданных в возмещение убытков «Собрания» от закрытия после 9 января) стали известны в гапоновской организации, вызвали там огромный скандал и проникли в печать.

Гапон оправдывался, говорил о своей готовности организовать «суд чести» по этому вопросу, но сам же сорвал работу этого суда после первого же заседания, обругав в газетах приглашенных им самим судей.

Впоследствии за границей в журнале «Былое» появились воспоминания Рутенберга об этом последнем периоде жизни Гапона. Рутенберг подробно

---

[1]) Симбирский, «Правда о Гапоне и о 9 января», СПБ, 1906, стр. 222—224.

рассказал, как Гапон вошел в сношения с охранным отделением, встречался в отдельных кабинетах ресторанов с Рачковским, познакомился с начальником петербургского охранного отделения Герасимовым и соблазнял самого Рутенберга поступить на службу к Рачковскому, который обещает платить ему по 25 тысяч за каждое «дело». Рутенберг о своих переговорах с Гапоном писал подробные доклады члену ЦК партии социалистов-революционеров Азефу. В результате решено было убить Гапона.

Для этого в Озерках Рутенбергом была нанята дача. Свидание с Гапоном было назначено на 28 марта в 4 часа дня.

«В 2 часа дня, как рассказывает Рутенберг, несколько рабочих были спрятаны в соседней комнате с той, в которой должно было происходить свидание.

Гапон ничего не подозревал. Он прошел в указанную комнату и сейчас же начал разговор на те же темы.

— Соглашайся, — говорил он Рутенбергу, — 25.000—хорошие деньги. И это за одно только дело. А за четыре дела можешь заработать и сто тысяч.

— А если узнают товарищи?

— Ничего они не узнают. Рачковский сумеет все устроить. На его можно положиться.

— И как ты сам не боишься? А если про тебя все узнают?

— Откуда узнают? Ерунда...

— А если я тебя выдам? — сказал Рутенберг.

— Кто же тебе поверит? Какие у тебя доказательства? Тебя же сочтут провокатором или сумасшедшим... Ну, да бросим об этом, перейдем к делу.

— Завтра повидайся с Рачковским и расскажи про покушение на Дурново. Он — не обманет. Уверяю тебя, что он — человек порядочный. А товарищей можно предупредить...

— Ведь Рачковский сразу приставит к ним по два сыщика, и они провалятся!

— Ну, что же поделаешь! Некоторыми и пожертвовать можно, ради дела. Ведь посылал же ты Каляева на смерть, не смущался? Лес рубят — щепки летят, — успокаивал Рутенберга Гапон.

После долгого разговора на ту же тему, Гапон вышел из комнаты на лестницу и... столкнулся с одним из рабочих. Он бросился на него, прижал его к стене и, нащупав у него в кармане револьвер, пытался вытащить его, шепча Рутенбергу: «Он все слышал, его надо убить...».

Рутенберг тогда распахнул двери в соседнюю комнату, где сидели слушавшие рабочие. Они выскочили из засады, вцепились в Гапона и потащили его внутрь комнаты. Гапон оцепенел от ужаса. Рутенберг вышел в другую комнату, закрыл лицо руками, зажал уши и оставался в таком положении, пока ему не сказали, что все кончено.

Гапон плакал, умолял пощадить его ради прошлого, бормотал, что он все делал ради идеи. Его не слушали, накинули ему на шею петлю и потащили

к вбитому над вешалкой железному крюку. Через несколько секунд он был вздернут вверх.

Гапона обыскали, отобрали содержимое карманов и переслали впоследствии поверенному Гапона, адвокату Марголину».

Впоследствии выяснилось, что Азеф предупредил охранку о подготовляющемся убийстве Гапона, что полиция была осведомлена о назначенном Гапону свидании в Озерках. Но труп Гапона обнаружили только через несколько недель. Пропавшего Гапона искали всюду, кроме Озерков. Повидимому, правительство было заинтересовано в возможно позднем раскрытии убийства.

Последние месяцы жизни Гапона, а равно и несколько недель после его смерти полны таинственными событиями, раз'яснения которых пока еще не сделано.

У Гапона были какие-то весьма важные документы, которым он придавал исключительно серьезное значение.

«Когда они будут опубликованы, многим не поздоровится, а в особенности... (он назвал одно громкое имя, с которым тесно связана история появления манифеста 17 октября). Им всем хотелось подымать и опускать рабочую массу по своему усмотрению; об этом мечтал еще Плеве, но они ошиблись в расчетах...», — передает В. М. Грибовский слова Гапона («Исторический Вестник», март 1912 г.).

Что именно содержали в себе эти документы, можно только подозревать. Из заявления Гапона видно, что они касались Витте и других сановников тогдашнего правительства. Гапон пытался передать их на сохранение разным лицам, но в конце концов вручил их присяжному поверенному Марголину.

Марголин вскоре после смерти Гапона поехал за границу, при чем услужливые «Биржевые Ведомости» сообщили во всеобщее сведение, что он везет с собой для опубликования вне пределов России гапоновские документы. По дороге он скоропостижно умер, а документы бесследно исчезли... Витте, Рачковский, Герасимов и другие лица, имевшие с Гапоном тесные сношения, сумели принять меры к тому, чтобы документы эти не увидели света...

Обстоятельства смерти Гапона опубликованы Рутенбергом и одним из участников в казни рабочих под инициалами NN в №№ 11—12 «Былого» и в сборнике «За кулисами охранного отделения», вышедшем в Берлине в 1910 году.

19 апреля 1906 г. в редакции газет был прислан следующий документ из Берлина:

«Суд рабочих имел неопровержимые доказательства того, что:

1. Георгий Гапон, вернувшись в декабре 1905 г. в Россию, вступил в сношения через чиновника особых поручений при гр. Витте, Мануйлова, имел ряд свиданий с бывшим директором департамента полиции Лопухиным, с товарищем директора департамента полиции Рачковским и с начальником петербургского охранного отделения, полковником отдельного корпуса жан-

дармов Герасимовым. Они обещали ему содействие по открытию отделов, если он расскажет все, что знает про революцию и революционеров.

2. Около 15 января 1906 года Георгий Гапон написал министру внутренних дел Дурново письмо, в котором каялся в своей прошлой революционной деятельности и событиях 9 января. Письмо передано через Рачковского.

3. Георгий Гапон взял на себя специальное поручение Рачковского и Герасимова узнать и выдать заговоры против царя, Витте и Дурново. Для этого он взял на себя «соблазнить» одного из близких ему людей в провокаторы. Гапон уговаривал его получить «25.000 руб. за выдачу только одного дела, а за четыре дела можно будет заработать сто тысяч рублей». От имени Рачковского Гапон гарантировал ему личную безопасность на случай, если узнают про предательство. Георгий Гапон уговаривал не смущаться предстоящими жертвами предательства и не колебаться, так как «25.000 рублей— большие деньги».

4. Георгий Гапон был амнистирован 21 октября 1905 г. и знал об этом, но вступил в сношения с правительством, получил от него деньги и паспорт на имя П. Н. Гребницкого, уехал на короткое время за границу, а, вернувшись в декабре 1905 г., жил по этому паспорту в Петербурге, об'ясняя рабочим, что вынужден жить нелегально, так как правительство его преследует.

5. Пользуясь своим влиянием на рабочего Черемухина, Георгий Гапон взял с него клятву и дал ему револьвер, чтобы убить рабочего Николая Петрова за опубликование в печати про сношения Гапона с правительством. 18 февраля, во время заседания центрального комитета под председательством Гапона, Черемухин сам застрелился из этого револьвера.

6. Кроме 10.000 руб., полученных за напечатанный в Англии рассказ про события 9 января 1905 года, Георгий Гапон получил летом 1905 г. от частного лица для дела рабочих пятьдесят тысяч франков. Деньги эти рабочим не переданы.

Застигнутый на месте преступления Георгий Гапон сам все признал, но об'яснил, что все это делалось ради имевшейся у него идеи.

Принимая во внимание все вышеизложенное, суд постановил:

Георгий Гапон — предатель-провокатор и, растратив деньги рабочих, он осквернил честь и память товарищей, павших 9 января 1905 г.

Георгия Гапона предать смерти.

Приговор приведен в исполнение.

Члены суда.

Подробные протоколы по этому делу будут опубликованы в свое время».

Однако до сих пор в печати ничего не появилось, хотя прошло уже 19 лет... Неизвестны также имена судей, фамилии присутствовавших при этом рабочих, — все это погребено в тайниках архивов, как я думаю... партии социалистов-революционеров, один из руководителей которой — оказавшийся

потом тоже провокатором — Азеф — сносился от имени центрального комитета этой партии с Рутенбергом и давал ему указания, как вести себя с Гапоном...

Правда, партия социалистов-революционеров тогда же опубликовала в печати, что она не имела никакого отношения к этому делу, но мы теперь хорошо знаем, что это — обычная тактика В. М. Чернова и его сподвижников.

«Члены суда» заявили в разосланном приговоре, что «черновые записки по делу предательства» и две записные книжки «суд оставил в своем распоряжении», — но и эти документы канули, как в воду, и никому не известны...

Что Гапон имел в последние дни своей жизни связи с охранкой, подтверждает и Симбирский («Правда о Гапоне», стр. 217), заявляя: «за последние две недели Гапона часто видели с представителями охранки», давая этому, по своему обыкновению, совершенно нелепое об'яснение, будто Гапон был откомандирован боевой организацией социалистов-революционеров в охранку для осведомления о планах полиции...

С другой же стороны, в архивах департамента полиции, находящихся теперь в нашем распоряжении, никаких документов о Гапоне не найдено. Последнее обстоятельство, впрочем, не может служить опровержением его службы в охранке, ибо, поскольку я знаю, нет никаких документов и об Азефе, в долголетней службе которого в роли провокатора нет никаких сомнений.

*

Гапон умер. Он пережил политическую смерть созданных им «отделов» своего собрания. 9 января, вынесшее на поверхность жизни имя политически безграмотного священника, настолько подняло сознание рабочего класса, настолько ясно поставило перед ним путь чисто революционной борьбы, что вчерашний вождь мирного массового шествия к царю оказался сзади всех и истратил остаток своей никчемной больше жизни в бесплодных попытках заставить рабочих забыть «уроки 9 января», задержать мощное пролетарское революционное движение, отклонить его от революции.

Конечно, этого сделать была не в состоянии никакая сила. Рабочий класс перешагнул через Гапона и выделил из своей среды многотысячный «призыв 9 января» в свою революционную пролетарскую партию, под руководство которой стал навсегда и бесповоротно.

Новый подход к изучению эпидемий.

Проф. О. И. Бронштейн.

Можно думать, что болезни так же древни, как само человечество. Более того, — как животный мир, вообще говоря. Эпидемические же заболевания, т.-е. массовое поражение людей (или животных, тогда это — эпизоотии), могли возникнуть лишь с той поры, когда и человек — очевидно уже вслед за животными, — стал «Zôon politikôn».

Но и это явление, бесспорно, весьма древнего происхождения. Не говоря уже о том, что дошедшие до нас письменные памятники и устные предания седой старины сплошь и рядом переполнены описаниями страшных народных бедствий, вроде поголовного вымирания от «моровой язвы» целых племен и их скота; но мы знаем теперь, что и так наз. доисторический человек в своих зачаточных общественных ячейках поражался эпидемиями. Мы видим, наконец, ту же картину на диких народностях, сохранившихся поныне в уединенных местах крайнего севера или в глубине, скажем, африканского материка. Там царит множество заразных заболеваний, большею частью местного происхождения и реже завозных, которые время от времени разражаются страшными эпидемиями.

Интересно, что взгляды на сущность эпидемических болезней, на способы их передачи и даже на приемы борьбы с ними точно совпадают и у дикаря и у первобытного человека и даже мало чем отличаются по существу от современных научных взглядов на этот предмет.

В самом деле, какой-то инстинкт, что-то вроде подсознательного чувства подсказывает человеку, что зараза гнездится в организме заболевшего в виде чужого ему постороннего существа; что оно может оставлять больное (либо мертвое уже) телю и переходить на здоровое; что нужно поэтому сторониться больных, уничтожать падаль, бежать подальше от места катастрофы.

Будет ли это «оно» злым духом первобытного и современного невежественного человека, мельчайшими животными удивительно проницательного Лукреция Кара (римского поэта I века до нашей эры) или низшими растительными микроорганизмами, уже доступными нашему вооруженному глазу — смысл остается тот же: мы «знаем» то, что только предчувствовали те.

Нет сомнения, наши научные знания об этом предмете дали человечеству неизмеримо много, и здесь не место останавливаться на грандиозных успехах микробиологии как науки именно об этих болезнетворных возбудителях. И распознавание болезней заразного происхождения и выработка мер предохранительных и лечебных — все это стоит в наше время на достаточно твердой почве и достигло большой высоты. Доказательством этому может служить то, что таких губительных эпидемий, от которых вымирало еще в средине века население целых стран, мы ныне уже не знаем. Некоторые болезни, например проказа, потеряли свой эпидемический характер и встречаются лишь изредка в виде так наз. спорадических случаев. Чума и холера — две страшные некогда «азиатские гостьи» — могут считаться также побежденными: их визиты оказываются кратковременными, так как отразить непрошенное вторжение мы умеем. Так же искусно справляемся и с эпизоотиями домашних животных. И если еще в силе всякие тифы, скарлатина, корь и пр., то недаром не покладая рук работают бактериологи всех стран, чтобы соединенными усилиями побороть и этих врагов.

Все это так, но при всем том, когда поднимаются в науке вопросы, касающиеся, казалось бы, самой сущности эпидемий, вроде, например, таких: почему эпидемия возникла? почему она имеет определенный характер течения? почему поражает одних и щадит других? почему и как происходит угасание эпидемии? и т. д. и т. д., — то на эти вопросы ответов у нас нет...

И это не оттого, что этими вопросами не занимались. Напротив, они и составляют основу самой науки эпидемиологии. Вся беда лишь в том, что наука-то эта (в общем не слишком юная, так как эпидемиями медицина интересуется с давних пор) доселе работала методами, исключавшими возможность разрешить именно эти «больные» вопросы. Методы были: описательно-исторический, статистический, за последние полвека к ним прибавился бактерологический (и вообще лабораторный).

Накоплялись наблюдения и факты, так сказать, вширь, (пространственно) и вглубь (во времени); огромный сырой материал обрабатывался согласно законам статистики; лабораторный метод раскрывал самые неожиданные перспективы и разрешал запутаннейшие проблемы. Достижений опять-таки получилось немало, но не хватало существеннейшего условия, без которого эпидемиология не могла занять подобающего ей места в ряду биологических наук. Это именно — эксперимента.

В самом деле, раз нет возможности ставить опыт, по своему желанию варьируя его условия, устраняя одни моменты и вводя другие, ученый всегда будет находиться во власти обстоятельств, которые не всегда даже в силах учесть. Но какой же эксперимент мыслим в эпидемиологии?

Нужно сказать здесь, что на голову бактериологов сыпалось всегда немало упреков в том, что они-де «оторваны от жизни», «замкнулись в своих лабораториях» и т. д. Считается положительно признаком хорошего тона твердить устно и в печати, что бактериологи за своими микробами проглядели «макро-организм», а между тем в последнем-то вся суть. Упреки эти, конечно, совершенно несправедливы и незаслужены. Начать с того, что, открыв мир

микробов, ученые не могли не погрузиться в изучение их, и материал этот настолько обширен, что и доселе не может считаться исчерпанным. Но и здесь бактериологи никогда не ограничивались микроскопом и пробиркой — изучение живого организма (больного и здорового, человека и животного) всегда ставилось во главу угла. Только не нужно забывать, что это неизмеримо труднее и сложнее, чем работа с микроорганизмами. И все же эксперимент на животном давно уже в обиходе лабораторной работы. Мало того, бактериологи не так уже редко прибегают к опытам и на человеке. Тут, разумеется, по понятным причинам об'ектом эксперимента служит в первую голову сам экспериментатор, а затем те немногие лица, которые добровольно из'являют согласие подвергнуться опыту, будучи вполне предуведомленными об его сути; но выбираются, опять-таки по понятным причинам, опыты более безопасные, не причиняющие вреда здоровью и не могущие закончиться смертельным исходом. Немало интересных проблем патологии было разрешено таким путем, но все же это далеко не те проблемы, которые ставит себе эпидемиология. А опыт, как таковой, эпидемиологу недоступен: нельзя вызвать эпидемию искусственно уже по одному тому, что нельзя ее будет по желанию сделать безопасной и прекратить по воле экспериментатора. Вот почему до недавней поры эпидемиология довольствовалась вместо опыта одним наблюдением. Но последние 4 — 5 лет внесли в эту область много нового. Народилась экспериментальная эпидемиология, с приемами и достижениями которой мы решили познакомить читателя.

Само собой разумеется, массовые эксперименты производятся над животными, а не над людьми. Занялись этим делом одновременно в Англии и в Соединенных Штатах Сев. Америки. Цель опытов — искусственное воспроизведение массовых заболеваний среди животных, поставленных в различные условия, по возможности близкие к естественным и имитирующие возникновение и ход эпидемий у людей.

С этой целью английский эпидемиолог Топли (Topley) устраивал довольно обширные общежития белых мышей, получившие название «мышиной деревни». Мыши либо помещались большой массой в одну обширную клетку, либо расселялись более мелкими партиями, и таким образом изучались пути и ход инфекции. Опишем для наглядности один такой эпидемиологический опыт. Всех их было множество на протяжении 5 лет. Взято всего 782 мыши. В одну клетку посажено 47 мышей, 14 из них заражено скармливанием культуры так наз. бацилла мышиного тифа, который довольно распространен и у нас для борьбы с грызунами. Начались заболевания и падеж мышей, число которых быстро уменьшилось, но, дойдя до некоторого предела, эпидемия (будем ее так называть для простоты, хотя на самом деле это эпизоотия) остановилась. Во второй части опыта, поставленного по началу тождественным образом, к заболевшим мышам начали подсаживать ежедневно по 2 — 3 свежих здоровых мыши. Здесь проделаны всяческие варианты: то давали основному «населению» вымирать почти до конца и тогда, когда эпидемия останавливалась, добавляли свежих; то делали это регулярно небольшими партия-

ми; то соединяли вместе две-три мышиных деревни, снимая между ними перегородки, и т. п.

В общем и целом выяснилось крайне интересное явление, повторявшееся регулярно во всех вариантах. А именно. Если население с господствующей в нем эпидемией предоставлено самому себе, то болезнь постепенно угасает, и в конце концов устанавливается как бы состояние равновесия между животными и болезнетворными микробами, паразитирующими в кишечнике хозяев, не принося последним никакого вреда. Подобное «микробоношение» мы наблюдаем у людей, выздоровевших или даже совсем не болевших, во время и по окончании некоторых эпидемий, особенно азиатской холеры, брюшного тифа, дизентерии. О причинах этого эпидемиологического явления поговорим ниже.

С другой стороны, если имеется приток свежих восприимчивых пришельцев, то установившееся было равновесие нарушается: сперва заражаются и гибнут именно эти пришельцы, а потом как бы оживает и вновь вспыхивает эпидемия среди уцелевшего коренного населения. Так, в конечном итоге первого большого опыта Т о п л и из 782 мышей осталось всего-на-всего в живых 46 мышей — и это были именно подсаженные здоровыми.

Теперь о причинах этого явления. Они не раз'яснены до конца, но все же бактериологические исследования крови и содержимого кишечника заболевших мышей, а также органов трупов, показали следующее. Установившееся равновесие в мышином населении при затихании эпидемии сопровождалось выработкой невосприимчивости при одновременном микробоношении. От этих микробоносителей сразу и заражаются восприимчивые свежие мыши. Микроб, пройдя через неподготовленный организм, усиливается в своей ядовитости — это явление так наз. пассажа уже давно применяется в лабораторной практике именно для освежения вирулентности микробов. Но повышенная вирулентность оказывается уже способной прорвать барьер невосприимчивости у старых бациллоносителей — отсюда вспышка заболевания среди них.

Эти мышиные эпидемии до-нельзя точно имитируют эпидемиологические явления среди людей. Так, во время недавней империалистической войны многократно на разных фронтах наблюдалось такое явление: прибудет здоровая воинская часть в местность, где давно уже угасла та или иная эпидемия — например, холеры, дизентерии, тифов — и вот, точно буквально подсыпали горючего материала, вспыхивают вновь заболевания сперва среди прибывших, а потом вновь начинает перебирать уже, казалось, забывших все местных жителей. Нечто подобное, хотя и с иной подкладкой, известно относительно эпизоотий среди крупных животных. Сап, как острая губительная болезнь лошадей, почти неизвестен в странах восточной Азии, но стоит туда привезти партию лошадей европейских и среди них немедленно вспыхивает острый сап и изводит всех до единой. Откуда же он берется? Оказывается, что туземные лошади почти все поголовно заражены хронической формой сапа, который там уже давно ослабел и не дает массового падежа животных, успевших выработать стойкую к нему сопротивляемость. А вот попадут свежие, неподготовленные экземпляры, и ядовитость вируса обостряется.

Аранжировка следующих экспериментов английских эпидемиологов была сложнее. Приведем опять-таки один из многих примеров для иллюстрации. Из большой мышиной деревни было выхвачено 24 носителя тифа и смешаны с 305 нормальными мышами. Через неделю успело погибнуть из последних всего одиннадцать. Остальные 294 (внесших заразу снова выделили) рассадили по отдельным клеткам — деревням: в одной сто мышей вместе, 94 — поровну в четырех, сто по 10 в отдельных небольших. К концу второго месяца в пяти больших поселениях перемерло 90 — 95% «народонаселения», а среди рассаженных десятками осталось в живых 55; когда же последних снова уплотнили в одну «деревню», то из них в 3 месяца погибло еще 31. Само собой разумеется, что при всех этих опытах приняты были самые тщательные меры против занесения эпидемии извне и переноса из одной клетки в другую, а также к остальным лабораторным животным. Клетки были металлические, хорошо поддающиеся чистке; ухаживающий за мышами служитель соблюдал идеальную асептику при кормлении животных: мыл руки, как хирург перед операцией, надевал стерилизованные резиновые перчатки и т. д.

Выводы из этого эксперимента крайне поучительны. Они прежде всего демонстративно обосновывают правильность тех мер, которые доселе принимались и рекомендовались нами, если можно так выразиться, вслепую. Вспыхивает среди школьников скарлатина, корь, дифтерия — мы закрываем школу и разбиваем тем самым детей на мелкие домашние ячейки. Разве это не то же рассаживание по клеточкам мышей, в среду которых внесен микроб? Расчет при этом, конечно, тот, что не успевшие заразиться уцелеют, а среди зараженных эпидемия угаснет за недостатком горючего материала. Правда, могут образоваться группки бациллоносителей, которые потом, по воссоздании снова «деревни» (школы, приюта и т. п.), пойдут по типу первого опыта освежать вирус переносом его на здоровых. Но тут к нам приходит на помощь бактериология, которая уже владеет методами вылавливания носителей, распознавания восприимчивых, их иммунизирования и пр.

Американские авторы (Флекснер и его ученики: Амосс, Клара Линч, Уэбстер и др. из Рокфеллеровского института в Нью-Йорке) ставят свои эпидемиологические опыты по типу английских, но разнообразнее и богаче.

Они стараются прежде всего ближе подойти к общежитейским условиям внедрения и распространения эпидемий. Так, в одном опыте сотня мышей рассажена по 5 штук, и клетки расставлены по противоположным стенам большого вивария. Ухаживающий за ними служитель, прежде чем подойти к этим «квартирам» от других животных, должен мыть руки 10 минут мылом и 2 минуты раствором дезинфицирующего вещества. И все же он занес к ним инфекцию от зараженных мышей и за два месяца эпидемии погибло 33 мышки.

Вот как трудно, стало быть, уберечь население от заразы.

В дальнейшем были варьированы известные уже нам комбинации с подсаживанием свежих мышей, и в общем наблюдалось то же, что и у англичан; только тут обыкновенно «ветераны» давали меньшую смертность, и после

обострения среди них эпидемии уцелевал бóльший процент, тогда как свежие за год перемерли сплошь. Это уже более согласуется с наблюдениями эпидемиологов среди людей: население, часто подвергавшееся нашествиям той или иной заразы, вырабатывает защитную невосприимчивость более стойкого характера; наоборот, совершенно в этом смысле девственное — гибнет и вымирает от легкой инфекции вроде гриппа, кори и т. п.

Давно уже из книги в книгу цитируются яркие примеры этого рода. На Ферререских островах с 1781 года не было кори; когда она была завезена в 1846 г. — все жители переболели за исключением стариков свыше 65 лет. На островах Фиджи корь вообще впервые появилась в 1875 году и из полутораста тысяч неподготовленных туземцев 40.000 умерло от эпидемии, у нас не особенно страшной даже маленьким детям. Пример с туберкулезом также набил уже оскомину: тогда как он протекает в затяжной и довольно ослабленной форме среди притерпевшихся к нему ветеранов-европейцев, свежее население (вроде инородцев калмыцких и бурятских степей) он косит беспощадно. На ряду с этим в игру вмешивается, понятно, еще немалое количество факторов помимо индивидуальной и расовой устойчивости населения. Тут и вирулентность данного микроба, и склонность его к вариабельности, и влияние массовой инфекции и многое другое. Отчасти кое-что было выяснено ранее бактериологическими изысканиями, отчасти к этому подошли путем эпидемиологического эксперимента.

Вот как, например, американцы пытались выявить влияние предохранительных прививок.

Взято по 90 мышек свежих и привитых предохранительной вакциной мышиного тифа. Вакцина эта представляет собою совершенное подобие тем прививкам против холеры, брюшного тифа и паратифов, которые получили у нас повсеместное распространение во время минувшей империалистской войны и послевоенного эпидемического периода. Они были рассажены по 6 клеткам, при чем по 60 привитых и не привитых сидело отдельно — каждая партия в двух клетках, — а в двух находилось поровну смешанное население: 10 привитых плюс 20 не привитых и 20 привитых плюс десять здоровых. Спустя меньше месяца в клетке с 60 нетронутыми мышками (им, само собой разумеется, постарались внести заразу того же тифа) осталось всего две, 96,7% погибло. Среди смешанного населения смертность через промежуток времени в 34 дня достигла свыше 60 процентов. Но и в клетке с вакцинированными мышами за два месяца убыль достигла почти такой же высоты (56,5%). Этот исход нельзя считать неожиданным, ибо привитое население абсолютной невосприимчивости не получает — в биологии не бывает непреложно-математических законов. Однако еще один опыт, поставленный для проверки совершенно аналогично первому, дал результаты почти тождественные: клетка с 30 здоровыми мышами — 96,7% смертности, клетка с 30 привитыми предохранительно — 66%, а в клетке с 30 смешанными (15+15) — погибли все. Над этим явлением стоило призадуматься. Что вакцина все же предохраняет, хоть и не наверняка, — не требует доказательств. Но вот — средняя клетка... Выходит так, как будто смешивать привитых с непривитыми

даже вредно — гибнут все. Нарушают ли свежие животные своими заболеваниями барьер невосприимчивости, созданный прививкой, как это мы видели уже ранее? Или же здесь играют роль какие-то другие обстоятельства, в сущность которых проникнуть покамест не удалось? Авторы опытоз оставляют этот трудный для разрешения вопрос покамест открытым. Нужно добавить, однако, что подобные наблюдения над животными, особенно при спорных исходах экспериментов, нельзя так-таки целиком, безоговорочно переносить на человека. Между прочим, как раз в деле предохранительных прививок имеются многочисленные наблюдения над людскими массами, проведенные в различных странах во время войны, при чем условия мало чем разнились от искусственно созданных экспериментаторами в мышиных поселках.

Никем в литературе не отмечено этого пагубного действия от сожительства привитых с нетронутыми.

Напротив, везде выявляло себя с очевидностью благотворное действие прививок, хотя и не абсолютное — не на все 100%. Привитые войсковые части, вкрапленные среди окружающего непривитого населения, либо оставались совершенно пощаженными эпидемией (холерой, тифом), либо платили ей дань небольшим процентом заболеваемости и еще меньшим % смертности. Не нужно при этом упускать из виду еще и то, что солдаты, особенно иностранных войск, везде и всегда находились в лучших условиях в смысле санитарно-гигиеническом: представим себе, например, германский корпус, расположенный в деревнях белорусских крестьян. Ведь последних косила холера не хуже, чем мышей в их деревнях, да вдобавок никакие служители в резиновых перчатках их не кормили...

Вообще, само собой разумеется, эпидемиологические явления в жизни неизмеримо сложнее искусственно создаваемых экспериментаторами; как бы ловко лаборатория ни имитировала жизнь, всегда найдутся обстоятельства, совершенно не уловимые и не поддающиеся учету. Они, обстоятельства эти, касаются с одной стороны населения с его колеблющейся невосприимчивостью, с его изменчивыми социальными условиями, особенностями быта и труда. Ведь все это не остается без влияния на отдельного индивидуума (и медицина научилась расценивать эту сторону дела), все это должно сказываться и на эпидемичности в массах. Повторяем, это далеко не аналогично мышиным деревням с их тепличной жизнью. С другой стороны, имеется ряд условий, касающихся микроорганизмов. Здесь уже упомянутые выше колебания вирулентности микробов — от полной потери ее до внезапных обострений, которые дали некоторым ученым право говорить даже о так наз. мутациях, т.-е. резких переходах совершенно невинного микроба в расу высоко-болезнетворную.

Здесь обрисовывается еще немаловажный один фактор, который уже легче поддается учету как лабораторному, так и эпидемиологическому путем статистики. Это именно — влияние массы, количества микробов.

В сущности, и бактериологи и медики-практики давно привыкли считать, что это количество почти никакой роли не играет, что важно одно — заразить (или заразиться), а там уже микроб возьмет свое. И на самом деле,

ежедневный опыт и в клинике и в лаборатории учит, что как будто это так и есть. Стоит ребенку побыть пару часов, а то и меньше, с коревым, скарлатинозным и т. п. (в тесной, разумеется, близости), — и он неминуемо заразится, если, конечно, не перенес этой болезни раньше. С оспой, легочной чумой и некоторыми другими болезнями дело обстоит еще хуже, тут заражение в некоторых случаях бывает совершенно молниеносным. Получается впечатление, точно подышать одним воздухом с больным опасно — заразишься. Мы знаем хорошо, что дело не в самом воздухе, но в тех мельчайших капельках, брызгах слюны больного, которые носятся вокруг него и сеют находящихся в них микробов иной раз на большое расстояние. В других случаях выступают на сцену насекомые — переносчики болезни. Но и тут, — по внешности по крайней мере, — количество микробов, вводимых при заражении, минимально: ну, что, в самом деле, внесет при одном укусе сыпнотифозная вошь? Много-много, если несколько десятков микробов. А заражение готово. Еще резче это сказывается в лаборатории. Мы наверняка заражаем свинку, введя ей одну стотысячную долю кубического сантиметра какой-нибудь стрептококковой разводки. Даже для туберкулеза, более медленно протекающей инфекции, достаточно бывает одной стомиллионной ($\frac{1}{100000000}$ куб. см.) доли куб. сантиметра для искусственного заражения свинки через глаз. Тут уж даже спорят, сколько бацилл при этом вводится — 6 или только одна? И уж ясно само собою, что число их ничтожно. Но это опять-таки в условиях эксперимента или при особенно остро-заразных болезнях, бьющих, если можно так выразиться, наповал без промаха.

Зато при обычных житейских условиях количество микробов остается далеко не безразличным. Вовсе не все равно, сколько их поступает в организм, особенно при таких путях внедрения, как пищеварительный тракт, как свободные слизистые оболочки рта, носа, верхних дыхательных путей и т. д.

На этот счет имеются любопытные наблюдения английских врачей Флака и Гловера над распространением среди солдат заболевания цереброспинальным менингитом. Микроб этой болезни, так наз. менингококк, гнездится нередко у совершенно здоровых людей в носовой полости, не причиняя никакого вреда. Болезнь же собственно начинается, когда менингококк проникает сквозь отверстия так наз. решетчатой кости в полость черепа и затем уже распространяется по оболочкам головного и спинного мозга, вызывая их воспаление, нередко смертельное. Эти «менингококко-носители» могут, разумеется, передавать микроб здоровым людям, бывшим до того свободными от него, а у этих уже (смотря по обстоятельствам, слабости организма, внезапному усилению вирулентности кокка и т. д.) может возникнуть менингит. Словом, рассеяние менингококков вне тела носителей его само по себе является эпидемиологическим фактором высокой важности. Так вот. Франк и Гловер производили поголовное бактериологическое обследование носовой слизи солдат в казармах на присутствие менингококков. Оказалось следующее. Если в казармах имеется всего 2 — 5 % «носителей» — эпидемия менингита не развивается; если число их доходит до 10 % — это

подозрительно; но когда больше 20% солдат имеют в носу менингококка, это уже тревожный сигнал: эпидемия неминуема. Вот до чего важна роль количества опасных микробов, которыми окружен здоровый человек. Более того, оказалось, что достаточно раздвинуть койки в казармах на 2½ фута, чтобы число «менингококко-носителей» упало до ¼ — $^{1}/_{10}$ прежнего числа, а вместе с тем снизилась бы и опасность угрожающей эпидемии.

Центром тяжести тут служит, конечно, не одна только масса микробов (в смысле количественной разницы), попадающая в угрожаемый организм и наводняющая его, или же, наоборот, оказывающаяся недостаточной для заражения. Большую роль играют еще пути внедрения микробов и состояние защитительных приспособлений организма. Но, как бы то ни было, все, что проделано по поводу менингококков, вполне приложимо и к ряду других инфекций, где способом передачи служит так называемый «капельный» момент.

Передача брызгами слюны и носовой слизи совершается при дифтерии, скарлатине, всякого рода ангинах, воспалениях легких и бронхов (особенно гриппозных), при чуме, оспе и даже туберкулезе (особенно гортани). Ясно, что, перенося на эти болезни сказанное выше, мы должны в первую голову заботиться о возможно максимальном разрежении людской массы вообще, а не только о раздвижении кроватей больше, чем на 2½ фута. Другой вопрос, насколько это осуществимо в реальных условиях быта — скажем, при нашей современной переуплотненности. Но многое мы не в состоянии еще немедленно проводить в жизнь; от этого, однако, не ослабляется значение научных требований. Если вдуматься в то толкование, которое дается сейчас приведенным и им подобным наблюдениям и опытам в деле борьбы с эпидемиями, то увидим, что здесь, как и в иных медицинских областях, мы все более и более становимся на путь чистого здравоохранения, которое решительно начинает преобладать над врачеванием болезней.

Предупреждать болезни важнее, дешевле и продуктивнее, нежели заниматься их лечением. Этот лозунг входит в умы и в жизнь уже не только у нас, — а мы в этом отношении безусловно опередили Западную Европу.

Проф. Н е й ф е л ь д, выдающийся авторитет в области бактериологии и эпидемиологии (нынешний директор знаменитого Коховского института в Берлине), в статье, посвященной именно интересующей нас теме, говорит даже с плохо скрываемым раздражением: «Нужно укоренить убеждение, что вовсе не необходимо стремиться к уничтожению всех бактерий до единой, или, например, всех вшей и т. п. Это отклоняет нас от практически-важного, а именно — от разрежения и изолирования очагов инфекции».

Действительно, в своем увлечении погоней за микробами, мы не раз рискуем уподобиться барыне из «Плодов просвещения» Льва Толстого, приказывающей лить карболку на каждое место, куда ступала нога заразного, по ее мнению, мужика. Можно пойти еще дальше Н е й ф е л ь д а в этом нигилизме, можно вспомнить примеры тех изолированных от наших эпидемий островитян и степных кочевников, которые не выносят и первого столкновения с завозной заразой и массами гибнут от нее.

Истина здесь, как всегда и везде, посредине. Не следует перегибать палку ни в ту, ни в другую сторону.

Необходима радикальная борьба с микробными очагами там, где они открываются нами; но нельзя забывать и фронта эпидемиологического, строго учитывающего всю совокупность условий, без которых невозможно возникновение настоящей эпидемии. Среди этих условий фигурирует обыкновенно и пресловутая восприимчивость (либо наоборот — невосприимчивость) населения. Говорим «пресловутая», так как весьма принято выдвигать ее в качестве аргумента при разрешении сложных эпидемиологических проблем.

А между тем эта невосприимчивость сама по себе есть явление настолько сложное, что только тщательнейшее бактериологическое изыскание и эпидемиологические эксперименты последних лет позволили ближе подойти к его познанию.

Самое загадочное в этом отношении — это иммунитет естественный, к нему же относится и так наз. расовый. Почему при совершенно одинаковых условиях жизни (климата, питания, труда и т. д.) одни становятся жертвою эпидемии, другие — нет? И обратно, что́ создает повышенную чувствительность отдельных лиц и целых народов к одной и той же инфекции? Примеров того и другого такое великое множество и они настолько общеизвестны, что их и перечислять здесь не стоит. Скажем лишь, что словом «естественная невосприимчивость» (или, обратно, повышенная восприимчивость) далеко еще не все сказано.

Да и не всегда вовсе это естественное, другими словами, — врожденное состояние организма: оно может быть и приобретенным в продолжение жизни и даже далеко не благо-приобретенным, а дорогою ценою купленным.

Вот, например, весьма верили в то, что малярия неизменно поражает приезжающих в тропические страны европейцев (стало быть, якобы восприимчивых от природы), но щадит туземцев, негров (стало быть, якобы обладающих расовым иммунитетом). А после африканских экспедиций Коха выяснилось, что иммунитет негров об'ясняется тем, что у всех у них малярия с детства, и кто уцелел, дожил до зрелого возраста,—не заражается больше наново, ибо является носителем малярийных паразитов в крови и органах. Европейцы же отлично и без осечки могут себя предохранить от заражения мерами механической защиты от укусов москитов или же профилактическими регулярными приемами хинина.

К естественному иммунитету приходится относиться еще с бо́льшим недоверием после того, как вышеприведенные опыты с мышами показали, что он неизменно преодолевается при усилении вирулентности, при повышении массы микробов и др. неблагоприятных для организма обстоятельствах.

Вот поэтому-то повсеместно стали возлагать больше надежд на поднятие этого иммунитета мерами профилактических прививок. Мы уже говорили, как оправдали себя эти прививки против холеры, тифа (брюшного), паратифов; к этому нужно добавить без колебания дифтерию и скарлатину. Если принять во внимание успешные опыты и с дизентерией и даже с детскими поносами; если к тому же вспомнить, что медленно, но верно под-

бираются и к туберкулезу и другим хроническим болезням, то увидим, что этот путь активных мероприятий сулит в будущем не меньше успеха, чем оздоровление населения санитарно-гигиеническими способами, поголовной диспансеризацией и прочими достижениями новейшей эпохи, рациональность и прочность которых нуждается еще в доказательствах и во всяком случае требует подтверждения и проверки временем.

Но нужно ли примера лучше в этом смысле, чем оспа?

Уже целое столетие с четвертью оспопрививание практикуется в цивилизованных странах, и мы видим, что эпидемии оспы, как таковые, остались только в виде оазисов на северо-восточных и южных окраинах, при чем, к сожалению, немалая часть этой территории выпадает на долю республик нашего Союза. Мало того, появилась даже особая разновидность натуральной оспы, получившая название а л а с т р и м, со смертностью ниже одного процента. Появление этого аластрима и об'ясняют тем, что несколько поколений поголовно привитого населения Европы коренным образом изменили природу самого вируса, создали своего рода новую мутацию возбудителя оспы.

Так или иначе, мы видим уже из сказанного (а примеры при желании можно бы сильно умножить), что эпидемия как социально-биологическое явление есть феномен до чрезвычайности сложный, многогранный. Изредка более резко выступает та или иная грань, удается путем длительных наблюдений, тщательных статистических подсчетов и сопоставлений выявить роль и значение главных факторов: свойств микро- или макроорганизма. И вот тут-то и нельзя в достаточной степени оценить значение экспериментального метода, на который стали с недавнего времени эпидемиологи, преимущественно английские и американские. Расчленяя свои опыты применительно к заданиям, они успели уже, как мы говорили, воспроизвести среди животных некоторые отдельные факты из области возникновения, развития и угасания эпидемий.

В большинстве это, правда, осталось лишь именно воспроизведением, не более, чем подражанием природе, тогда как само толкование добытых данных еще до некоторой степени ускользает от нас.

Особенно это относится к вполне еще загадочному явлению замирания или полного угасания эпидемий. Все теории, построенные ad hoc и привлеченные из области иммунитета, об'ясняют часто лишь одну какую-либо сторону дела, но бессильны целиком обнять это крайне сложное явление.

Здесь уместно будет упомянуть о вкладе, сделанном в область экспериментальной эпидемиологии русской наукой. Нужно сказать, кстати, что вообще эпидемиология разрабатывается у нас давно и достаточно успешно уже по той простой причине, что мы, к сожалению, богаты инфекциями, уже изжитыми на Западе. В самом деле, из пяти-шести мировых очагов чумы на долю нашего Союза приходится два. Холеру еще сравнительно недавно всерьез предлагали переименовать из азиатской в r o s s i c a. О сыпняке и других тифах и говорить не приходится. А все еще расползающаяся малярия? Мало кто может похвастаться таким «обилием сырого материала» для наблюдений. И наблюдаем мы, повторяю, давно и успешно. Теперь даже вступили на путь эксперимента и тоже чрезвычайно успешно.

На состоявшемся в конце мая этого года IX с'езде бактериологов и эпидемиологов в Москве известный профессор Д. К. Заболотный сделал крайне интересное сообщение на тему «об угасании эпидемий». Он работал отчасти по типу других авторов, но с оригинальным материалом — на лягушках. Их заражали особым микробом, открытым автором в Ленинграде же при самостоятельно развившейся лягушечьей эпизоотии. Микроб оказался весьма заразительным и при искусственном введении без промаха губил «лягушечьи поселки» в больших аквариумах. Заболотному удалось даже сделать лягушек невосприимчивыми к своему бациллу при помощи предохранительных прививок убитых его культур. И вот тут-то с необыкновенной четкостью выявилось значение массовой иммунизации населения в деле угасания эпидемий: в течение длительного и повторного наблюдения, неизменно вымирали свежие особи и оставались пощаженными привитые вакциной. Автор, давно известный за горячего сторонника предохранительной вакцинации, находит в этом эксперименте подтверждение своих взглядов.

Можно думать, в общем, что новый подход к изучению эпидемий экспериментальным путем окажет еще много услуг науке и разрешит не одну запутанную проблему. Можно предвидеть также, что вскоре уже обособится новая научная дисциплина — экспериментальная эпидемиология со своей специально разработанной методикой, со своими институтами и «спецами». И можно пожелать, чтобы наш СССР, крайне заинтересованный в преуспеянии этой отрасли медицины и гигиены, опередил и в этом отношении другие страны: если мы не распологаем таким неистощимым обилием средств, как какой-нибудь Рокфеллеровский институт в Америке, то все же умеем изыскивать и средства и людей, а главное—богаты энергичным стремлением к научной истине.

Крестьянское движение в Европе.

А. Мартынов.

I. Русско-американский и прусско-европейский путь.

Маркс в 50-х годах неоднократно высказывался о значении союза пролетариата и крестьянства для успеха революции, и в печати, и в дружеской переписке с Энгельсом, и в споре с Лассалем. В своей книге «18-е Брюмера», написанной в 1852 году по свежим следам февральской революции во Франции, он писал о Наполеоне III: «Бонапарт представляет не то деревенское население, которое направляет свою энергию вместе с городами на разрушение старого порядка, но то, которое, бессмысленно набившись в рамки этого старого порядка, требует, чтобы тень империи спасла его и покровительствовала ему... Ясно, что все наполеоновские идеи суть *идеи неразвившейся, юношески-свежей крестьянской собственности*. Но они становятся абсурдом, раз эта собственность пережила самое себя... И при Наполеоне интересы крестьянства находятся не в гармонии, а в противоречии с интересами буржуазии. *И крестьянство находит себе естественных союзников в городском пролетариате, задачей которого является уничтожение буржуазного строя*» (курсив мой. *А. М.*). И по отношению к Германии Маркс писал несколько позже, в 1856 году, в письме к Энгельсу: «Все дело в Германии будет зависеть от возможности подкрепить пролетарскую революцию своего рода вторым изданием крестьянской войны. Тогда дело будет отлично».

Маркс понимал, что союз пролетариата с крестьянством имеет огромное значение для революции. *Но он выводил это главным образом из опыта отрицательного*: на его глазах крестьянство, в известный момент игравшее революционную роль и во Франции и в Германии, после 1848 г. превратилось в орудие победоносной контр-революции, потому что город не хотел или не сумел заинтересовать его в революции и связать его с ней. Исходя из этого обоюдоострого значения крестьянства, Маркс писал в первом издании «18-го Брюмера»: «Если пролетарское соло не будет поддержано крестьянским хором, то это может стать лебединой песней пролетариата».

Ленин был счастливее Маркса. Он мог оценить роль крестьянства в революции на основе положительного опыта: он наблюдал восходящую линию крестьянского движения и в эпоху первой русской революции и в 1917 году. Поэтому он вскользь брошенные мысли Маркса о союзе пролетариата с крестьянством превратил в подробно разработанную революционную стратегию, которую он гениально применял на практике в России.

Но Ленин понимал, что крестьянский вопрос имеет огромное значение для пролетарской революции не только в российском, но и интернациональном масштабе, хотя он очень далек был от мысли, что российский опыт можно пересадить на западно-европейскую почву без изменений. Ленин был, конечно, прав. Достаточно хотя бы познакомиться с распределением земельной собственности в западно-европейских странах, чтобы понять, какие возможности открываются для крестьянского движения в революционной обстановке. Возьмем для примера Францию — страну в известном смысле типичную для Европы, ибо она, имея 40% деревенского населения, занимает серединное положение между чисто промышленными и чисто аграрными странами. Принято считать, что Франция есть страна мелких рантье, страна более или менее уравнительного мелкого землевладения. Это большое заблуждение. Во Франции числится 148 тысяч крупных землевладельцев, 745 тысяч крестьян середняков и 4.611.000 мелких крестьян. Огромное большинство сельского населения (83,8%) — мелкие крестьяне. Но эта масса мелких крестьян владеет только 29% земельной площади, а крупные землевладельцы, составляющие только 2,5% сельского населения, владеют 37,1% земельной площади. В общем 52% земельной площади обрабатываются во Франции не собственниками, а наемными рабочими или мелкими арендаторами!

Ленин с полным основанием извлек из российского опыта общие выводы о тактике международного пролетариата по отношению к крестьянству в эпоху социалистической революции. Эти выводы он изложил в тезисах, принятых на втором конгрессе Коминтерна, которые вошли в железный фонд Коммунистического Интернационала, как одна из существенных составных частей коммунизма.

Тезисы второго конгресса Коминтерна по крестьянскому вопросу ни в одной компартии не вызвали сомнений и возражений. И все-таки, надо сказать, наши западные товарищи до последнего времени слишком мало претворяли их в жизнь, несмотря на то, что пренебрежение или неправильный подход коммунистов к крестьянскому вопросу уже не раз облегчали победу фашизму и в Венгрии во время падения советской власти, и в Италии во время революционного кризиса 1920 года, и в Болгарии во время переворота Цанкова. Как плохо у нас еще ведется работа в деревне на Западе, показала конференция мелких и средних крестьян в Веймаре, заседавшая в конце ноября 1924 г. О настроении делегатов крестьян можно судить по тому, что председателем конференции был выбран сочувствующий коммунистам, а вторым председателем — коммунист. В порядке дня конференции стояли жгу-

чие для крестьян вопросы — о налогах, о неурожае, об охране арендаторов, о хлебных пошлинах, об об'единении кооперации, об учреждении центрального комитета всех германских союзов мелких крестьян. К сожалению, присутствовавшие на конференции товарищи знакомы были с работой только в пролетарской среде. Они выступали с речами, не предусмотренными порядком дня, которые говорились в таком тоне, как если бы аудитория состояла из революционных пролетариев; они обнаружили незнакомство с перечисленными вопросами, непосредственно интересовавшими крестьян. В результате, крестьяне-делегаты стали понемножку расходиться, и положение было спасено лишь тем, что принята была резолюция, поручающая находящемуся под нашим влиянием «трудовому крестьянскому союзу» призвать все германские организации мелких крестьян и арендаторов создать центральный комитет, который сам выработает себе программу работы, но инициатива создания которого будет все-таки принадлежать «Трудовому союзу».

Западно-европейские коммунистические партии, если не в теории, то на практике, еще слишком мало уделяют внимания крестьянству. Это об'ясняется не только пережитком идеологии II Интернационала и недостаточным проникновением идеями ленинизма. Это об'ясняется прежде всего тем, что само западно-европейское крестьянство гораздо медленнее и труднее втягивается в революцию, чем русское крестьянство в 1905 и 1917 г. г. Ключ к пониманию различия между нашим крестьянством и современным западно-европейским нам дал Ленин.

В эпоху первой буржуазно-демократической революции в России Ленин утверждал, что аграрный вопрос составляет ее основу и что он в России может быть решен двумя путями: «Остатки крепостничества могут отпадать и путем преобразования помещичьих хозяйств, и путем уничтожения помещичьих латифундий, т.-е. путем реформ и путем революции. Буржуазное развитие может итти, имея во главе крупные помещичьи хозяйства, постепенно становящиеся более буржуазными, постепенно заменяющие крепостнические приемы эксплоатации буржуазными; оно может итти также, имея во главе мелкие крестьянские хозяйства, которые революционным путем удаляют из общественного организма — «нарост» крепостнических латифундий и свободно развиваются затем без них по пути капиталистического фермерства». Первый путь есть долгий и мучительный для крестьянства, это путь «прусский»; второй путь — быстрый и решительный, по своим результатам, — «американский».

От чего зависел в России выбор между этими двумя путями? *От соотношения сил в революции между пролетариатом и буржуазией*. В России это соотношение сил сложилось благоприятно для пролетариата, имевшего безусловную гегемонию в революции. Поэтому русское крестьянство уже в 1905 г. пошло по второму пути, и в 1917 г. аграрный вопрос был решен в России «по-американски».

В Западной Европе в 1848 г. аграрный вопрос тоже стоял весьма остро. Но в западно-европейских буржуазных революциях, завершившихся путем национальных войн об'единением Германии и Италии в прошлом веке (а на Бал-

канах — войной 1912 г.), соотношение сил было благоприятно для буржуазии. Поэтому там аграрный вопрос был решен в общем и целом половинчато, «по-прусски», в результате сделки буржуазии с помещиками, и это наложило глубокий отпечаток на западно-европейское крестьянство, хозяйство которого медленно и мучительно вырастало в капитализм, осложненный остатками крепостничества. Ставши юридически «свободными» мелкими собственниками, но экономически зависящими от соседних крупных помещиков или от банковского капитала, западно-европейские крестьяне тысячью нитей связались с помещиками и капиталистами и подчинились в массе влиянию и руководству буржуазно-феодальных партий почти всюду, независимо от пестроты и разнообразия аграрных отношений в разных европейских странах.

Значит ли это, что западно-европейское крестьянство стало безнадежно консервативным? Отнюдь нет. Ведь «прусский» путь тем и характерен был, что он дал лишь половинчатые решения аграрного вопроса, притом решения, затянувшиеся на десятки лет. При таких условиях консерватизм западно-европейского крестьянства, обусловленный постепенным врастанием крестьянского хозяйства в капиталистическую систему, мог быть прочен лишь пока сама капиталистическая система была прочна и устойчива. Не удивительно поэтому, что когда разразилась мировая война, расшатавшая европейский капитализм до самых его основ, крестьянский вопрос в его острой форме,—вопрос об экспроприации помещиков и крупных землевладельцев,— вновь воскрес на Западе и уже не сможет быть там похоронен, пока судьба европейского капитализма не будет решена в ту или иную сторону.

Но «мертвый хватает живого», как гласит французская пословица. Вновь зашевелившееся западно-европейское крестьянство в отличие от политически девственного и малосознательного русского крестьянства 1905 года имеет путы на ногах, имеет уже весьма прочные консервативные традиции, имеет во многих странах уже весьма старые экономические и политические организации, в которых тон задают кулаки, помещики, попы и буржуазная интеллигенция. Поэтому западно-европейское крестьянство очень медленно революционизируется под влиянием революционного движения пролетариата, поэтому на Западе на верный путь начинают выбираться лишь наиболее придавленные слои крестьянства и то только в последнее время. Но важно то, что лед тронулся и что ничто уже не в силах будет его остановить, если наши западно-европейские товарищи сумеют применить принципы ленинской тактики к западно-европейским условиям, которые, впрочем, по отношению к аграрному вопросу очень сильно отличаются от страны к стране, и даже от местности к местности.

II. В плену у помещиков и капиталистов.

Чтобы правильно оценить положение в деревне в Западной Европе, нужно не только нащупать направление развития движения западно-европейского крестьянства в последнее время, но и оглянуться на тот длинный хвост, который оно тащит за собой, оглянуться на пройденные им этапы. Это мы

и постараемся сделать в настоящей статье. Мы отдаем себе в полной мере отчет в крайней пестроте аграрных отношений в Европе и в соответственном разнообразии западно-европейских крестьянских движений. Не надо забывать, что мы имеем в Европе страны промышленные и аграрные, страны и области с преобладанием крупного или мелкого землевладения, с крестьянским хозяйством экстенсивным или интенсивным в смысле агрикультуры. Но мы уже говорили, что есть общие черты, отличающие обстановку западно-европейского крестьянского движения от обстановки движения русского крестьянства. Постольку можно говорить и об общих этапах, пройденных западно-европейским крестьянским движением в целом.

Первый импульс к организации дал западно-европейскому крестьянству, стоявшему на почве условий, созданных на Западе буржуазными революциями и национальными войнами середины прошлого века, аграрный кризис 80-х и 90-х годов.

Этот кризис разразился в эпоху бурного развития капитализма. Он вызван был падением цен на хлеб в результате удешевления транспорта и усиления заокеанской конкуренции. Этот аграрный кризис сильнее всего отразился на крупных землевладельцах, ибо получаемая ими рента была зафиксирована в своем размере ипотечными долгами, тяготевшими над их имениями, и поэтому не могла безболезненно приспособиться к новым рыночным условиям. Кризис крупного сельского хозяйства был, однако, в конце концов преодолен отчасти путем его технического приспособления к новым условиям — путем развития скотоводства и пастбищного хозяйства за счет зернового, путем удешевления зернового производства и развития побочных отраслей сельского хозяйства, — главным же образом, путем введения аграрного протекционизма: «социалистическая опасность» и «патриотическая» необходимость ограждения «отечественного земледелия», как гарантии независимости и безопасности при грядущих империалистических войнах, облегчили образование реакционного протекционистского блока между крупными аграриями и представительством тяжелой индустрии.

Крестьянское хозяйство в целом было меньше затронуто аграрным кризисом, чем помещичье, ибо в его доходы вообще не входила рента. Однако, поскольку крупные и средние крестьяне производили на рынок, они тоже пострадали от падения цен на хлеб, а это в условиях их экономической и идеологической зависимости от помещиков или буржуазии дало импульс их движению в трех направлениях: большинство крупных и средних крестьян, отчасти оставаясь распыленными, отчасти об'единяясь в союзы или вступая в союзы аграриев (например, в Bund der Landwirte в Восточной Пруссии), оказывало активную поддержку протекционистской политике помещиков, становясь тем самым в резкий антагонизм к пролетариату, как покупателю хлеба. Часть крупных и средних крестьян, приспособляя свое хозяйство к падению цен на хлеб путем усиленного развития скотоводства, птицеводства, молочного хозяйства за счет зернового хозяйства, попадала в сферу влияния либеральной буржуазии. И та и другая категория крестьян реагировала на аграрный кризис усиленным развитием кооперации, в которой руко-

водящая роль сплошь и рядом принадлежала богатому крупному крестьянству и которая постольку часто служила опорой для реакции, напр., в Бельгии, где деревенская кооперация служила опорой для клерикальной партии. В Германии в 1890 г. числилось 300.000 крестьян, организованных в кооперации, в 1915 г. — 2,8 миллионов крестьян. Во Франции в 1890 г.— 234.000 крестьян, в 1914 г.—1.029.720 крестьян, т.-е. одна треть крестьянства.

Мелкое, парцеллярное крестьянство, мелкие арендаторы, половники и безземельные крестьяне нисколько не заинтересованы были в аграрном протекционизме; они больше выигрывали, чем теряли от удешевления хлеба. Поэтому аграрный кризис не ставил их в антагонистические отношения к пролетариату. Благодаря этому мы уже в то время в странах с сильными пережитками феодализма (Италия, Венгрия, Румыния) наблюдали борьбу мелких крестьян и половников против помещиков. Такое же движение мы наблюдали тогда там, где экономический гнет осложнялся национальным (Норвегия, Галиция, Кроация). Но и в Германии и Франции мелкие крестьяне, поскольку они в том или другом месте не были организационно и идеологически в плену у клерикалов и у буржуазно-феодальных партий, в 90-х г. начали местами поддаваться влиянию социал-демократических партий. Ввиду того, однако, что европейский капитализм в то время был прочно стабилизован и сильно шел в гору, настоящее революционное движение в мелком крестьянстве возникнуть не могло. Наоборот, сами социал-демократические партии — французские гедисты после Нантского конгресса и южно-германские социал-демократы после Бреславльского партейтага — покупали свои первые успехи в мелком крестьянстве ценой оппортунистической политики, ценою принципиальной защиты мелкого хозяйства, как такового, при чем гедисты это делали вопреки своему теоретическому ортодоксальному марксизму, а южно-германские и австрийские социал-демократы — в связи с теоретической ревизией марксизма.

Мировая война вызвала резкое изменение в положении крестьянства. Крестьяне, с одной стороны, всюду понесли относительно бо́льшие жертвы людьми на фронтах, чем другие классы населения, более квалифицированный труд которых был необходим для обслуживания тыла. Во Франции, например, из общего числа активного мужского населения — 12.644.000 — крестьяне мужчины составили значительно меньше половины 5.237 тысяч из общего числа мобилизованных — 7.935 тысяч — мобилизованные крестьяне составляли почти половину — 3.586 тысяч, а из общего числа жертв войны — 1.363 тысячи — крестьяне принесли жертв ровно половину — 673 тысячи. И опустошения на театре военных действий были всюду сильнее в деревнях, чем в городах. С другой стороны, война создала для крестьянства выгодную экономическую кон'юнктуру: постепенное обесценение бумажных денег привело к почти полному аннулированию задолженности крестьян, а увеличение спроса на хлеб, вызванное продовольственными нуждам армии и сокращением или прекращением ввоза хлеба из стран экспортирующих, привело к значительному повышению хлебных цен, которое крестьяне почти в полной мере использовали и в период нормировки хлебной торговли,

прибегая всюду в широких размерах к «мешочничеству». Это увеличило экономический удельный вес крестьянства во всех странах.

Обе причины — крупные «патриотические» жертвы, принесенные крестьянами, и увеличение их экономического удельного веса, а кроме того страх буржуазных правительств перед опасностью надвигающейся революции и местами интересы национальной борьбы, — все это вместе взятое дало возможность крестьянам по окончании войны вновь после полувекового затишья — поставить вопрос о земле, о расширении их землевладения за счет помещичьего. В одних странах, например, во Франции, этот вновь пробудившийся у крестьян земельный голод был до некоторой степени утолен усиленной покупкой земли у крупных землевладельцев, очутившихся в затруднительным положении благодаря вызванному войной сокращению и вздорожанию рабочих рук в деревне. В ряде стран (Эстония, Финляндия, Латвия, Польша, Румыния, Болгария, Чехо-Словакия) земельный вопрос был решен в законодательном порядке, путем частичного принудительного отчуждения земли крупных землевладельцев за выкуп.

Ни в одной европейской стране за пределами нашей советской республики земельный вопрос по окончании войны, в 1918—1919 г.г., не был, однако, решен революционным путем, по причинам, на которые мы уже отчасти указывали. Если европейское крестьянство уже задолго до войны было в идеологическом плену у господствующих классов, то патриотический угар, вызванный войной, и связанные с «освободительной» войной иллюзии еще значительно усилили это идеологическое пленение западно-европейского крестьянства. Крестьяне после войны посягали на землю помещиков, но эти посягательства смягчались, во-первых, тем, что крестьяне питали неприязнь не только к помещикам, но и к городу, который, дескать, «лодырничает» и живет за счет крестьянского труда, и специальную неприязнь к революционному пролетариату и к коммунистам, которые, как им внушили, посягают-де на крестьянскую частную собственность. Борьба крестьян с помещиками, во-вторых, парализовалась тем, что крестьянство верило в единство интересов всех крестьян, начиная от безземельных, хуторян и холупников и кончая кулаками, в единство интересов всего «крестьянского сословия». Эти сословные предрассудки, усиленно внедрявшиеся в головы крестьян буржуазно-феодальными и клерикальными партиями, умело эксплоатировали в своих интересах зажиточные крестьяне, которые, как наиболее политически развитые элементы в деревне, играли в ней руководящую роль. Реакционные иллюзии и предрассудки крестьян предрешили почти всюду плачевную судьбу послевоенной земельной реформы, которая свелась к слабо прикрытому обману мелко-крестьянских масс. Чтобы в этом убедиться, достаточно бегло обозреть земельные реформы, проведенные в разных странах в 1918—1919 г.г.

В Румынии крестьяне имели свою партию, сложившуюся во время войны, — «Крестьянскую партию Румынии». Эта чисто парламентская партия, которая вначале была правительственной, требовала экспроприации крупных имений свыше 100 гектаров в пользу трудового крестьянства. Но ее требования парализовались тем, что партия стояла за примирение классов и за мо-

нархию и находила, что рабочие фабрик должны в общем итти за крестьянами, как более многочисленным классом и лучше способным к борьбе с ростовщическим капиталом, «благодаря тому, что они имеют землю». Под руководством этой партии крестьяне добились того, что у помещиков после реформы осталась громадная площадь земли под флагом «культурных имений», что большая часть экспроприированной земли перешла к новой сельской буржуазии (из чиновников, священников, купцов, офицеров и унтер-офицеров) и что там, где живут национальные меньшинства (как в Новой Добрудже), третья часть земли была отнята у местных крестьян и предназначена для румынских колонизаторов, на что местные крестьяне реагировали непрекращающейся партизанской войной.

В Чехо-Словакии чисто крестьянских партий нет. Здесь середняки и даже мелкие крестьяне входят заодно с крупными землевладельцами в аграрные партии. Такова существующая с 1896 г. «Республиканская партия земледельческого и крестьянского народа», внутри которой мелкие и безземельные крестьяне имеют особые организации — «домовины»; таковы — клерикальная «Чехо-Словацкая народная партия», немецкий «Союз сельских хозяев», словацкая клерикальная «Людова партия». Крестьянство, таким образом, после войны во всей Чехо-Словакии (кроме Прикарпатской Руси). находилось под прямым руководством помещиков. Неудивительно поэтому, что обещанные правительством земельные реформы свелись там к обману крестьян: из 432.500 гектаров земли, предназначенных к разделу, до 1924 г. разделены были только 206.000 гектаров. Из 189.000 бедных крестьян, имевших право на прирезку земли и заявивших на это притязания, только 71.000 были удовлетворены. В Венгрии кулацкая «Партия мелких сельских хозяев» входит как составная часть в «Партию христианского об'единения». Хотя в программу этой партии входит, между прочим, требование выкупа латифундий, партия, однако, входя в правительственный блок, добивалась у Антанты займа под условием отсрочки проведения аграрной реформы. В Польше после войны крестьянством руководили две партии: 1) более влиятельная в сейме кулацкая партия «Пяст», во главе с Витосом, отколовшаяся в 1913 г. от «Польской народной партии». Это — партия шовинистическая, антисемитская, требующая колонизации восточных окраин, являющаяся одной из основоположниц «Зеленого Интернационала»; 2) сравнительно менее реакционная, но и менее влиятельная в сейме партия, партия крестьян-середняков «Вызволение», выступившая под этим именем в 1918 г. и выросшая из «Товарищества земледельческих об'единений защиты и сбыта». Эта партия, руководимая сторонниками Пилсудского, колеблется между буржуазией и пролетариатом. Обе партии ввиду настроения польского крестьянства стояли в сейме за земельные реформы, за принудительный выкуп помещичьей земли. Но пястовцы, отражая интересы кулаков, смотревших на себя, как на наследников помещиков, стремились к тому, чтобы реформа оградила их от будущих посягательств бедноты. Поэтому они стояли за временное сохранение значительного числа имений у помещиков и за их выкуп по «справедливой» оценке, т.-е. по до-

статочно высокой цене. Имея таких руководителей и защитниц своих интересов, крестьянство, конечно, было обмануто. Постановление сейма 1919 г., дополненное законом 1920 г., предписывало постепенную парцелляцию имений в известной очереди, по крайней мере до 200.000 гектар ежегодно. На деле же парцелляция коснулась немного более трети этого количества. За три года подверглось парцелляции всего 260 тысяч гектаров, при чем земля попала исключительно в руки богатых крестьян. Правительство даже с циничной откровенностью выдвинуло лозунг продажи земли только покупателям, обладающим значительными средствами. Так оправдались мечты польского малоземельного крестьянства! С таким же успехом и с такими же последствиями была проведена земельная реформа и в Латвии, где крестьяне-собственники находились в сильном антагонизме с революционным батрачеством и где реформы проводились кулацким «Союзом крестьян» совместно с социал-демократами, откровенно заявлявшими, что цель реформы — «насадить мелкое крестьянство и выполоть сорную траву коммунизма». Такой же обманный характер имела земельная реформа в Финляндии, проведенная после того, как революция там была подавлена при участии крестьян-собственников, очень националистически настроенных, относившихся одинаково враждебно и к революционным рабочим, и к революционным торпарям (мелким арендаторам-земледельцам). В Болгарии, где крупных землевладельцев было вообще мало, правительство Стамбулийского, стоявшего во главе «Болгарского народного земледельческого союза», провело аграрную реформу, которая принудительно отняла у крупных землевладельцев землю сверх нормы в 40 десятин. Но «Болгарский народный земледельческий союз», об'единявший всех крестьян, безземельных одинаково, как и богатых, выступавший на защиту общих «сельских интересов» и бывший одним из инициаторов «Зеленого Интернационала», относился одинаково враждебно и к крупным землевладельцам и крупной буржуазии, с одной стороны, и к революционному пролетариату и коммунистическому «Союзу земледельческих рабочих»—с другой. Это его изолировало и дало возможность Цанкову совершить фашистский переворот, после которого и аграрная реформа в Болгарии была ликвидирована. В Италии земельная реформа была проведена в долине р. По в 1920 году при революционной ситуации, во время захвата фабрик рабочими, но проведена была фашистами с контрреволюционной целью. Демобилизованные мелкие крестьяне испытывали сильный земельный голод. Социалисты-реформисты это игнорировали и, идя по проторенной дорожке II Интернационала, стремились прикрепить их к организациям сельско-хозяйственных рабочих, отстаивавших только пролетарские профессиональные требования и считавших раздел земли делом реакционным. Фашисты это прекрасно использовали с демагогической целью. Во вторую половину 20 года развивается аграрный и военный фашизм, который, опираясь на мелких крестьян, начинает свое контр-революционное наступление, захватив вначале Болонью и Феррару и затем постепенно захватывая провинции по долине По. Опору в мелком крестьянстве фашисты купили себе тем, что вынудили крупных землевладельцев парцеллировать

часть своих имений, одновременно терроризируя сельско-хозяйственных рабочих, разрушая кооперативы, которые помогали им в стачечной борьбе с помещиками, вынудив затем правительство удержать батраков на земле путем приискания им общественных работ, вынудив самих сельско-хозяйственных рабочих записаться в фашистские профессиональные организации, что являлось необходимым условием приема их на работу землевладельцами. В результате земельная реформа проведена была там при содействии одураченных крестьян против интересов мелкоземельных крестьянских масс, против интересов сельско-хозяйственных рабочих, в интересах средних помещиков и контр-революции. В Эстонии экспроприация крупных землевладельцев была проведена наиболее радикально по мотивам национальным, ради освобождения от засилья немецких баронов. Но так как реформа здесь проводилась под руководством реакционной кулацкой партии «Земельная лига», которую поддерживали также реакционеры из лагеря банкиров, фабрикантов и высшей бюрократии, то помещичьи земли достались преимущественно зажиточным крестьянам, а живой и мертвый инвентарь помещичьих имений был расхищен. В результате около 75% хозяйств новых поселенцев («колонистов»), поселившихся на развалинах образцовых помещичьих имений, очутились в критическом положении: без капитала, без удобрения, без инвентаря, без всяких сельско-хозяйственных построек.

Надежда крестьянских масс, что они получат землю в награду за те огромные «патриотические» жертвы, которые они понесли во время войны, нигде не оправдалась. Они были обмануты. Это должно было сразу поколебать доверие крестьян к тем кулацким партиям, которые ими руководили и которые их приковали к колеснице господствующих классов. Но крестьяне упрямо держатся за свои предрассудки. Их традиционное недоверие к городу, их убеждение в противоположности интересов города и деревни мешало им разглядеть гораздо более глубокий антагонизм — между всеми трудящимися и всеми эксплоататорами, который достаточно ярко выступил наружу при решении земельного вопроса после войны. Поэтому когда на них обрушилась новая беда — аграрный кризис, они первоначально, в большинстве случаев, пошли по уже проторенной дорожке и вновь бросились в об'ятия аграриев.

Послевоенный аграрный кризис выразился в растворении «ножниц» — в сильном под'еме цен на промышленные изделия и в падении цен на хлеб. Эти ножницы были результатом послевоенного распада капитализма. Цены на промышленные изделия относительно сильно поднялись, потому что крупная промышленность с ее высоким органическим составом капитала относительно больше пострадала от войны, чем сельское хозяйство, и еще потому, что капиталисты против этого боролись усиленной картеллизацией промышленности. Цены же на сельско-хозяйственные продукты сильно понизились благодаря обеднению города и уменьшению емкости городского рынка. На эти «ножницы» крестьяне могли реагировать двояко: либо вступить в революционную борьбу против монополистского капитализма, против

промышленных картелей и трестов, либо вступить в борьбу за аграрный протекционизм. Они пошли в большинстве случаев по второму, более легкому пути, по которому они шли во время старого аграрного кризиса 80-х и 90-х гг., и вновь очутились в тесном союзе с аграриями.

III. На революционную дорогу.

Аграрный протекционизм был мнимый выход из трудного положения для крестьян, ибо послевоенный аграрный кризис имел только внешнее сходство с аграрным кризисом 80-х и 90-х годов прошлого века. Абсолютное падение цен на хлеб в то время было вызвано развитием земледелия в заокеанских странах и удешевлением транспорта. Относительное падение цен на хлеб (по сравнению с ценами на промышленные изделия) после войны наступило вопреки общему сокращению запашки и, что еще важнее, вопреки упадку сельского хозяйства в Европе и уменьшению его интенсивности в результате войны.

Тов. Осинский в своей книге «Мировой кризис сельского хозяйства» показывает, что «посевная площадь после войны по всей Европе (без старой России) в среднем ниже, по сравнению с той, которая была во время войны», что урожайность по пяти важнейшим хлебам в среднем в Европе, без России и выделившихся из нее территорий во время войны, понизилась, а после войны в 1919—1921 г.г. еще более понизилась. По сравнению с 1909—1913 г.г. она в 1914—1918 г.г. понизилась до 86%, а в 1919—1921 г.г. до 85,8%. И интенсивному сельскому хозяйству война нанесла удар, от которого оно в течение многих лет не сможет оправиться. «До войны интенсивное животноводство в ряде стран Европы (Германия, Дания, Голландия, Бельгия, Южная Швеция, Англия и т. д.) и в отдельных районах других стран, тесно связанное с определенной системой земледелия, работало на привозных кормах, производимых в Аргентине, Придунайских странах, России. Последнее звено наполовину выпало из цепи. База под интенсивным животноводством расшаталась, что также отражается и на земледелии, с ним связанном... Продукция сахарной свеклы в Европе тоже разрушена войной... А она, в свою очередь, была сильнейшей опорой интенсивного животноводства» и т. д.

Этот производственный кризис сельского хозяйства гораздо опаснее для крестьянина-середняка и особенно для мелкого крестьянина, чем «ножницы», ибо он труднее может быть изжит, чем «ножницы», против которых в последнее время хлеботорговцы стали бороться путем образования картелей. И в политическом смысле производственный кризис влияет на крестьянство в направлении противоположном, чем «ножницы», ибо он приближает положение западно-европейского крестьянина, давно привыкшего к интенсивному хозяйству, к положению русского крестьянина, ведущего первобытное экстенсивное хозяйство и потому искони страдавшего земельным голодом и искони боровшегося за землю.

В связи с производственным кризисом у крестьян росла нужда в деньгах. Чтобы хоть сколько-нибудь восстановить свое хозяйство, разрушенное войной, западный крестьянин нуждался в средствах. Но падение валюты которое во время войны сослужило ему службу, ликвидировавши его задолженность, вскоре по окончании войны обернулось к нему оборотной стороной медали. Первые же затраты на восстановление хозяйства выкачали из карманов крестьянина те денежные сбережения, которые он накопил в «счастливые» времена войны и высоких цен на хлеб. Когда после этого в центральной Европе стабилизовывалась валюта, кредитная нужда еще более стала угнетать крестьян. Задолженность крестьян вновь начала расти. В Чехо-Словакии, например, задолженность земли в 1924 г. по сравнению с 1920 г возросла на 18%. Одновременно чрезвычайно усилился и налоговый гнет в интересах реставрации капитализма и подготовки новых войн. Ко всем этим бедам присоединилось перенаселение деревни, которое вызывалось с одной стороны, тем, что сократившаяся промышленность не могла в такой мере, как до войны, оттягивать свободные рабочие руки из деревни, с другой стороны, тем, что С.-Американские Штаты поставили преграду для иммиграции.

Все это особенно сильно придавило мелкое крестьянство. Когда же ко всему этому присоединился в 1924 г. неурожай в целом ряде европейских стран — в Польше, Венгрии, Германии, Чехо-Словакии, Англии, Италии и Испании — повысивший цены на хлеб и уничтоживший раствор «ножниц», в европейском крестьянстве, наконец, явно обнаружился перелом настроения. Логика фактов эпохи упадка капитализма, в конце концов, начинает брать верх над традиционной логикой западно-европейского крестьянства, сложившейся в последние десятилетия прошлого века, в эпоху наибольшей стабилизации капитализма. Пресловутое единство интересов всех крестьян сейчас начинает явно распадаться. Мелкое крестьянство во многих местах зашевелилось, освобождаясь от влияния кулаков, и начинает прислушиваться к голосу коммунистов, во многих местах начинается раскол в старых крестьянских партиях или по крайней мере кристаллизуются левые течения в них.

В Хорватии республиканская крестьянская партия (Радича), отказавшаяся выступать единым фронтом с «Независимой рабочей партией» против реакционной сербской буржуазии, теперь поворачивается лицом к Советской России. В Сербии в «Союзе земледельцев» в 1924 г. на V конгрессе обнаружилось сильное левое течение. Конгресс подтвердил, что интеллигенты не являются полноправными членами союза, высказал неудовольствие по поводу посылки президиумом телеграммы королю, потребовал проведения аграрной реформы и немедленного восстановления сношений с Россией. В Болгарии в «Земледельческом союзе» образовалось левое крыло, высказывающееся за единый фронт с коммунистами. В Чехо-Словакии аграрные партии распадаются. Чешские «Домовины», входившие в чешскую аграрную партию, выделились и образовали организацию «Независимых домовин». Точно так же в чехословацкой клерикальной партии выделились части «от-

чин» и образовали «Самостоятельную крестьянскую партию». И в словацкой «Людовой партии» нарастает левая оппозиция. В крестьянской Прикарпатской Руси компартия Чехо-Словакии получила на выборах 40% голосов. В Польше партия «Вызволение» переживает кризис. В ней образовались правое крыло, центр и левое. Из нее выделились группы, образовавшие «Независимую крестьянскую партию», за которой стоят крестьяне, настроенные революционно и сочувствующие компартиям Польши. В Германии, в Тюрингии и в Восточной Пруссии развернулось сильное крестьянское движение, которым впервые прямо или косвенно руководит компартия и т. д., и т. д.

Все эти процессы в деревне на Западе, конечно, еще слабы. Но ведь надо иметь в виду, что это только начало перелома в крестьянском движении, вызванного не случайной кон'юнктурой последнего года, а постепенно подготовлявшегося всей экономической и политической жизнью деревни на Западе за последние 6—7 лет. Крестьянство начинает подытоживать опыт этих лет. Мы можем поэтому надеяться, что если наши компартии сумеют теперь теснее связаться с зарождающимся сейчас движением мелкого крестьянства и взять его под свое руководство, если они сумеют вместе с тем углубить раскол в старых крестьянских партиях, играющих такую же реакционную роль по отношению к крестьянству, какую партии II Интернационала играют по отношению к пролетариату, то при возникновении вновь революционной ситуации в Европе они будут иметь крестьянские массы не против себя, а за собой.

Тут есть ряд «если». Чтобы овладеть движением мелкого крестьянства и нейтрализовать крестьян-середняков, наши западно-европейские товарищи должны научиться подходить к крестьянству с чисто ленинской гибкостью революционной тактики. Они должны научиться поддерживать или выдвигать частичные требования в пользу малоземельных крестьян, связывая их с революционной целью, избегая Сциллы оппортунизма (прирезка земли за выкуп) и Харибды революционной фразы, которой трезвого крестьянина не привлечешь. Независимо от поддержки уже существующих крестьянских партий (что редко может иметь место), или левого крыла в них (что будет частым явлением), наши западно-европейские товарищи должны научиться сами строить или помогать строить крестьянские организации, которые содействовали бы укреплению союза пролетариата и крестьян и не выродились бы в такие «самостоятельные» крестьянские партии, которые до сих пор неизменно шли в хвосте за помещичьи-буржуазными партиями, предавая интересы деревенской бедноты. Весь опыт истории европейских крестьянских и аграрных партий должен быть использован для того, чтобы раз'яснить крестьянским массам несомненную истину: они могут итти либо за буржуазией, либо за пролетариатом; третий путь им не дан; он может существовать только в их воображении.

Молоканский раскол.

Ал. Ракитников.

Далеко позади остались теплые долины, по-весеннему влажные речные проталины, где уже пышно расцвел белый миндаль и бледно-оранжевый персик. Отовсюду подступали порошные, смачные пласты снега, дули горные, холодные ветры, вдоль дороги путался волчий след, ущелья становились угрюмей и светлей от снегов, туго таящих даже летом.

Мы держали путь на Воронцовку, сектантское село. Пол-пути, до самого города Степанована, бешено кружились с горы на гору, забираясь все выше и выше — туда, где ледяная близость вечного снега создавала картину покойной величавости и мерзлой, просторной тишины.

Набегали разбитые домишки, крутосклоны, стародавние, заваляющие церковки, полукурные стоянки, где поили тощих лошаденок, где возчики, запрокидывая в мерзлые глотки большие рюмашки водки, горланили и весело ругали друг дружку.

По горным, снежным скатам, похожим на пухлые великаньи щеки, уныло карабкалась лесная бороденка, длинными цепочками тянулись овечьи скопы, а позади плелись пастухи в шкурах наизнань, в промокших чарухах и конусообразных шапках.

Вокруг горных вершин, в ущельях не уставали дымиться лебяжьи туманы, ветер без устали мел искрящуюся от солнца ледяную порошь, мел напрямик, на дорогу и, словно шутя, несся по неглубоким выбоинам прыгающими вихряными волчками.

Люди крепились, фыркали от холода, на временных остановках чмокали носами и стучали ногой об ногу, тщетно пытаясь согреться.

Когда прибыли в Степанован, носящий громкое название города, но тихий и по-деревенски вялый, разрушенный в свое время турками и еще не оправившийся, когда лихие бубенцы внезапно оборвались у вывески:

СТОЛОВАЯ ПОПОЕВА
«СИМПАТИЯ»
с закусками и кабинетами

и толстый, сытый до тошноты, кабатчик весело выпорхнул на холодок, заулыбался, заегозил, зазывая на шашлык, мой возчик не выдержал и, хмуро смахнув с усов ледяной студень, сказал:

— Ай, зима, ай да зима! Теперь на Карагаче метет, ай, метет! Какой человек там теперь есть, совсем пропал, совсем!

В столовой Попоева стоит холод. Из деревянных клетушек-кабинетов остро несет свежим шашлыком и луком, на стойке пыхтит пятиведерный самовар, «хазаен» вежливо взмахивает грязным куском полотнища, долженствующим заменить салфетку и передник.

— Закусить, душа, что хочешь? Шашлык маладой, барашек маладой, виню есть, напиток разный есть! Есть первый сорт!

Перекусив наспех, я стал сговариваться о подводе на Воронцовку. Дилижансы ушли. Степенные крестьяне-молоканы, величаво потягивая лопатообразные, рыжие бороды, не соглашались. И тогда, когда уже грозила ночевка в холодных, скучных кабинках степановской гостиницы, — услужливый Попоев оказал протекцию и свел меня с Иван Максимычем.

Иван Максимыч важно протянул мне руку — корявую, в бороздах с давнишней, глубоко залетшей грязью.

Одет он был в добротный желтый кожух, на ногах — валеные сапоги, обшитые кожей, шея повязана грязным шерстяным платком.

— Откедова будешь? — сказал он, пронизывая острыми, старьими глазами.

— Из центра.

— Центра-а-альный, значит, — протянул он, — по каким делам?

— По крестьянским.

— По нашим, значит, так, так, значит. Насчет сыра, что ли; купец будешь?

— Н-нет.

— Чего таишься, — хмуро сказал Иван Максимыч, — мы люди духовные, в бога веруем, что на душе, то и на словах!

Тогда я дружески похлопал его по плечу и сказал:

— Пойдем, отец, сядем, чайку попьем, пополоснем по московскому свычаю да обычаю грешные кишки, поговорим.

Иван Максимыч пил чай в прикуску. Я по городской привычке бухнул в стакан три куска. Иван Максимыч неодобрительно поглядел и укоризненно покачал головой.

— Роскошествуешь, — сказал он.

Его жадные, жабьи губы громко зачвакали. Отламывая большие кусища ситного, он пальцем запихивал их в рот.

— Иван Максимыч, — сказал я, — приехал я к вам в деревню из центра, и хочу я вашу жизнь крестьянскую разведать, поглядеть, как она есть, всю правду.

— Ой-ли, правду хочешь? — усомнился Иван Максимыч. — А может, так, наскоком хочешь?..

— Самую правду.

— Каку, нашу, молоканскую, старью?

— Молоканскую.

Он недоверчиво поглядел на меня, на городскую одежду и, не учуяв во мне ничего начальнического, вдруг расплылся в улыбку, захватил в пятерню свою рыжую бороденку и сказал:

— Ну, тогда, браток, выпьем по этому случаю. Хоть нам, молоканам, и не велено вина касаться, но только случай такой — можно. Да и зима, согреться надо.

В последние дни в Воронцовку наезжает разный люд, опрашивают мужиков, что да кто, да к чему, и в газетах пишут почти ежедневно и ругают стариков (это нас-то, — пояснил Иван Максимыч), будто через них, стариков, молодежь в деревне буйствует, — и вот намедни убили в деревне комсомолиста Сачкова Давида.

— И не поймешь, чевой на белом свете деется, никогда такого не было у нас, завсегда мы, молокане, одной стеной стояли, стариков вважали, молодых тоже не забижали, а нынче раскол пошел, раздор меж хрестьянами, а отчего неизвестно как бы.

Иван Максимыч вопросительно поглядел на меня и, выдержав паузу, сказал:

— Не знаешь отчего?

— Не знаю.

— Нне знаешь. Это, милый браток, от комсомола все происходит да еще партейные у нас завелись. Завелись и дражнятся, будто нет никакого бога. Вот намедни одного безбожника и приглушили. Чай теперь видать ему — есть то бог или нет, а может и чорта завидит, как за ребро уцепят и поволокут на расправу. Да ты чего не ешь, ты не брезгай, ехать-то еще далече.

Иван Максимыч ухватил добрый кусок шашлыка и обильно поперчил и посолил его. К еде он был явно неравнодушен.

— Милый ты браток, ну ладно, удушили, так удушили. Пишут про нас, пущай пишут, Христос тоже пострадал, и старики наши при Николашке намаялись, а мы не то ли лучше их, не лучше думаю. А теперь перейдем на факт; главное, вот говорят, что кулаки мы-де, мол, кровопивцы и прочее. А разве это вред государству, что у меня двенадцать коров, ты скажи мине, браток, вред али нет. Ну, бери налог, бери, ежели ты государство. Опять-таки, браток, религии не трогай, потому деды наши сосланы сюда за нее, и мы пострадать могим, могим ей-же ей!

— Все-таки, — говорю, — нехорошо, что убили Сачкова?

— Убить-то убили. Нехорошо. Сознаю.

— А кто убил?

— А кто его знает, двух зарештовали. Только отпираются они.

— А из-за чего убили?

— Кто его знает. Говорят, из-за бабы. А вот газеты пишут по партийности. Комсомолисты тоже говорят, будто из-за партии. Ну, да ладно. Опять, у нас землю взяли. Оно, конечно, другие деревни без земли были, только земля-то наша дедовская спокон веку наша была. Скажи мне, как же так, теперь отобрали?

Иван Максимыч не приемлет аграрной политики Советской власти. Двенадцать коров он считает сущими пустяками.

Под конец разговора он прощает все-таки Советской власти земельное «ограбление».

— Пусть и другие живут, чего там, ладно.

Тяжело вздыхает, вспоминает наместника, графа Воронцова-Дашкова, и говорит, запахивая тулуп:

— Ты непременно поговори со Степаном Карпычем. Это, браток, голова, председатель, можно сказать, нашей веры. Я что? Я, можно сказать, молоканин такой — вишь, пью, вишь, курю — тайком, правда, только опять же грех. И, вообще, теперь среди молоканства грех пошел, особливо среди молодежи. Вино сосут, от баб не оторвешь, за басы («басы» — груди) цеплются, черти, что годовалые младенцы. А есть такие, что в комсомол записываются, совместно с «басарней» (батраками) вожжаются, стариков раздражают. А какой это комсомол? Для чего он? Это не комсомол, а комсодом. Помнишь, в библии — Содом и Гомора, безбожная. Вот, она какая теперь пошла жизнь. Да, браток, молоканская правда уже не та.

Закусив вдосталь, он степенно идет на постоялый двор «упречь коня». Кони сытые и спокойные. Телега поражает громоздкостью, ее гнутая спина расписана красными, синими разводами, с боку виснут ведра и мешки.

— Садись, что ли? Да ты никак без тулупа?

Он укоризненно качает головой, затем снимает кобеняк и тулуп, кобеняк дает мне, а сам глухо запахивается в свой пышный, рыжий тулуп.

— Нно! Нно!

Но кони раздумывают, ленивый оклик их не трогает.

Иван Максимыч повторяет его —несколько раз кряду, повторяет вяло, нехотя, со-стариковской степенностью.

А, между тем, ветер неустанно кружит легкую порошь, кружит весело, вприпрыжку — и хочется по старой привычке, чтоб выкрики рвались не по старинке молоканской, не по постному, а этак по-ямщичьи, с гиком и присвистом:

— Эй, с-соколики, наддай, родимые! Эх, пошла, что ли!

Но тогда — внезапно бросается в глаза — вокруг зима-то зима, но мы-то, увы, на скрипучих, неуклюжих колесах.

Опять едем. Опять суетливые, горные речонки, дома, уже крытые черепицей — немцы живут — и, наконец, в сумерки набегает как стрела, широкая, рассейская, деревенская улица, тихая и безлюдная, щемяще и глубоко волнующая человка «из центра».

В избе натоплено до одури.

Иван Максимыч важно садится за стол в углу, где вместо икон висит белая кисея; детишки цепляются по скамье влево, вправо — я гость.

— Тишина, браток, слышишь, тишина кака!

На часах шесть. Но улица не дышит, не шелохнется. Только кое-где рвется огрызный собачий лай.

— Да, тишина. Напужали молодежь нашу, — ухмыляется Иван М ксимыч, — после убийства теперь никаких шумов и драк. А раньше, бывал напьются, хулиганют, баб трогат. А нынче напужены. Намедни приезж немец с колонки, вино привез, каждый брал с опаской, не очень много, чтоб голову не утерять промеж случая. А комсомол — этот, брат, шумит, зай к нему в клуб, резолюции пишут, все нас, стариков, укоряют. И правительст их поддерживает. Только мы, молокане, мы, как деды наши, мы крепки, м за старое стоим.

Но, очевидно, некоторые форты крепости давно и бесповоротно сдан После чаю, когда на стол был принесен увесистый горшок кислых щей, Ив Максимыч загадочно сказал:

— Пойдем.

Мы завернули в коровий хлев. Приятно потянуло теплым выменем навозом. Иван Максимыч запустил руку куда-то и добыл бутылку водки и н большой рог.

— Выпьешь? — спросил он.

— Нет.

— Почему?

— Неохота.

— А я выпью. Зима — не шутка. Вишь, таюсь. Наши старики тож пужают, ох, как пужают. Допустим, ежели узнают, то придется каяты на людях, а не то, гляди, и от братства молоканского отошьют. Н-да, брато Пужают. Нынче все друг друга пужают. А ты думаешь, я не пужаю? Тоже - бабу свою да детишек. Каждый по силам да по средствам.

По двору идем осторожно. Огромный, лохматый пес жалобно скули и машет хвостом.

За столом перед едой Иван Максимыч, как ни в чем не бывало, сто молится и вздыхает.

— Спасибо, господин, и т. д.

Изо рта его тянет водочным духом. И жена его Марфа виновато гляд то на меня, то на своего алкогольного мужа. Она наверняка знает, куда м ходили, но не смеет сказаться, потому Иван Максимыч бабе своей воли н дает, и баба у Ивана Максимыча, по его собственным словам, «страсть как пужливая».

По раннему утру — морозному и крепкому, когда Воронцовка еш туманно покоится на снежной ладони, а с близких окружных гор весели бодрый холодок — на просторной улице крепко сбитые, широкоплечи сугубо бородатые люди уже стучат палками, похожими на палицы, уже мел кают девки в красных шерстяных чулках и перчатках, отменные щег лихи, синеглазые, румянощекие, уже тянутся в большом количестве подвод в полной упряжке, и лошади разят сытостью и медлительной величавостьк под-стать всей здешней неспешной деревенской жизни.

Иван Максимович, тепло одетый, упрягает свои подводы.

— А што, — говорит он, — в центре про войну ничего не слыхать?

— Ничего.

— А тут, вишь, подводы требуют, лошадям обследование делают.

Поясняю:

— Учет. Каждое государство должно знать, чем оно может располагать на случай войны.

— Государство, — фыркает Иван Максимыч, — разве это государство, это — советы. Вот раньше, допустим, была империя — это да, это я понимаю: государство. Ты мне лучше скажи, браток, могим-ли мы, допустим, в Персию выехать. Потому все равно не будет нам от этого государства никакого удовольствия. По-ихнему, кулаки мы, вот и прижимают, да и «кацы»[1]) серчают на нас за богатство да за Андроника[2]).

Я вышел на улицу. Небольшие будки, похожие на постовые, усердно принимали молоко.

Воронцовка — молочное Эльдорадо. Здесь вырабатывается всем известный «швейцарский» сыр и в десятках тысяч пудов вывозится во все города Союза. Хозяйства сбиты в молочные артели, которые прикреплены к целому ряду сыроваренных заводов. Самая худая корова дает в год от 2 до 3 пудов «швейцарского» сыра, не считая масла и тушинского сыра. Так что годовой доход от коровы — минимум 100 — 150 рублей.

Выработка швейцарского сыра, сливание молока в приемные пункты до того занимает крестьян Воронцовки, что они не оставляют даже молока для собственной потребности. Воронцовка быстро богатеет.

Я прошел к сельсовету. Иван Максимыч недовольно похаживал около своих подвод и гуторил с соседями.

— Ишь, выдумали, лошадям пачпорт давать. В скорости и курам зачнут мандаты выдавать. Им што, — бамажку подписал и с глаз долой. А ты из-за этой бамажки век страдай.

Соседи «бородачи» поддакивали.

— Вот, ты из центра, — сказал Иван Максимыч, — расскажи-ка, там, в Москве, как здесь скотину мучают.

Худой, рыжий детина в буром изодранном пальто утер нос рукавом и усиленно зачухал голову.

— Вот, что, товарищи, — сказал он, — а зачем и здесь теперь профсоюз вводят. Вот я, товарищ, специалист-сыровар, другого такого профессона как я, нет во всем районе. Могу я к хозяину по душе наниматься, безо всяких союзов?

Его дружно поддержали соседи и, обступив нас вплотную, хитро мигая бровями, подзуживали его на откровенности:

— Так, Сидор Иваныч, так, вали на-чистую, чего там.

— А ежели я не хочу пролетаром быть, можно, — сказал Сидор Иваныч, — что мне сделают, а?

---

[1]) «Кацы» — все не-молокане.

[2]) Андроник — армянский партизан, дашнак, своими действиями не мало способствовавший национальной розни и взаимной резни между армянами и тюрками Закавказья.

— Можно и кулаком быть, и буржуем, все можно.

— Ишь, какой острый. Можно. А потом налогом прикроют.

Иван Максимыч принял мою сторону.

— Ну, чего на человека фыркаешь. Не видишь, что ли, человек только приехал. Не разобрался, значит, в нашей местности. А ты пошел бы, покеда что, к нашему главному, Степану Карпычу. Поговорил бы с ним по душе, он тебе всю правду скажет, и засияет она, как божее солнышко.

Иван Максимыч торжественно поднял руку.

— Степан Карпыч — высшей духовной жизни человек.

К человеку «высшей духовной жизни» я пошел не один. Дорогой заглянул в избу-читальню, встретил там тов. Вартанова, секретаря Степанованского учкома, и тов. Алексеева, участкового инструктора комсомола.

Вартанов в огромной, длинношерстной бурке, в мохнатой, шоколадной папахе, выглядел весьма грозно.

— Еще напугаем Степана Карпыча.

— Чего там, — сказал Алексеев, — его буркой не испугаешь, человек он хитрый, на мякине его не проведешь. Поболтаем с ним малость и ладно будет.

Алексеев весело нахлобучил фуражку на затылок, выпустил на лоб задорный серый вихор и закрыл кожаную тужурку на все пуговицы. Ему уже не раз приходилось говорить со Степаном Карпычем. Все же его краснощекое, здоровое лицо добротной, черноземной выпечки, невольно расплывалось в улыбку в предвкушении спора со Степаном Карпычем.

Степан Карпыч Жабин, духовный глава воронцовских молокан, принял нас весьма вежливо и радушно. Зажав мою руку в обе свои, он тряс их долго и сердечно.

На столе моментом очутились «сверкучий» самовар, блюдце с вареньицем и свеже пахнувший пшеничный хлеб.

— Прошу откушать. Чем могу служить?

Крепкий, бодрый старик, он поражал ясностью своих мыслей, уменьем тонко обходить скользкие места и давать удивительно наивные и уклончивые ответы.

За долгие годы своей жизни он знал хорошо Пругавина, Бонч-Бруевича, снабжал их документами и материалами из сектантской жизни, часто ездил на различные с'езды, немало читал о положении церкви в СССР, и потому чувствовал себе более или менее твердо и прочно.

Я молчал. Тов Алексеев неустанно шпиговал его вопросами. Брал библейские истории и показывал их смехотворность и невозможность. Но старик находил ответы, которые вполне удовлетворяли его самого.

После каждой фразы Степан Карпыч язвительно хихикал и потирал руки. Очевидно, ему казалось, что он кладет своих противников на обе лопатки.

Беседа с ним не давала ничего нового. Это были сплошные увертки.

— Милый ты мой, — сказал он, между прочим, — рано ли, поздно все, как братья, воссядем под смоковницами и виноградными лозами и будем

вкушать мирную жизнь. Вот — серп и молот. Это, ведь, и наше. Ведь мы то же самое проповедуем. Не дождемся дня, когда мечи перекуются на плуги.. Он осторожно отпил из блюдца горячего чаю и провел ладонью по лысеющему лбу.

— Милый ты мой, мы во как блюдем друг друга, поучаем, чтоб жить истинной жизнью, правильной. Только не достигли еще должной высоты. Вон Сачкова у нас убили, а разве это достойно есть? Я, милый мой, не то что человечьей крови, а и животного какого видеть не могу. Мяса, голубчики, не ем. Не одобряю. Был когда-то грех. Как-то стал резать барашка, самолично. Надрезал горлышко его, кровь пошла, не могу дальше его резать. Барашек мучается, а дальше не могу, не прикончу никак. С тех пор никого не режу, даже кур.

Тов. Вартанов тщетно пытался узнать его мнение о комсомоле. Даже задал ему такой вопрос:

— Как он думает, будет ли польза молоканам от комсомола?

Степан Карпыч ничего не ответил. Он свернул на другое, на хозяйство, говорил много и сладко, сокрушаясь о пьянстве, о хулиганстве, говорил о том, что сектантский союз ведет к высшей жизни. Советскую власть не хулил, а даже, наоборот, как-то сторонкой выходило — будто похваливает.

Просидели мы у Степана Карпыча этак незаметно около трех часов и от тошной скуки и бесконечного елея слов меня разобрала черная меланхолия.

Домой я вернулся к вечеру, так как обедал у избача Васильева.

— Ну, наговорились? — спросил Иван Максимыч.

— Наговорился, — сказал я.

— То-то, это браток, большой человек; это, можно сказать, голова над головой, всем головам голова.

Я невольно вспомнил, что такие же точно слова имеются у Гоголя об одном глупом сельском старшине, и рассмеялся.

Иван Максимыч обиделся.

— Чего ты?

— Так, вспомнил одну штуку.

Вечером, за чаем, он был почему-то хмур и подозрителен. Как потом оказалось, он узнал, что ходил я к Степану Карпычу не один, а с безбожниками, и вел со Степаном Карпычем далеко не богобоязненный разговор и держал сторону двух — одного в бурке, другого в кожаном.

— А у нас блатик находился, — сказал мне пятилетний Петька, сын Ивана Максимыча.

— Молчи, не твоего ума дело, — зло сказал Иван Максимыч, — и наотмашь ударил Петьку деревянной ложкой по лбу.

Петька захныкал. Иван Максимыч захватил по обыкновению в пятерню свою рыжую бороду и все больше и больше хмурился.

Под конец он не выдержал и внезапно сказал:

— Тебе бы в сельсовет сходить насчет хватеры, приезжим дают завсегда. Я не гоню, живи у меня, если хочешь. Сам видишь, кака теснота.

Я понял, что Иван Максимыч не простит мне моего непочтительно разговора со Степан Карпычем и что с ним каши не сваришь более, и в тот : вечер решил ушиться. Я сговорился с избачем Васильевым и, сложив монатк попрощался с семейством Ивана Максимыча.

— Заходи, — сказал он уже ласковее, — поговорим, может, о дела какие будут.

— Как-нибудь зайду, — сказал я.

Уходя, я подарил пострадавшему Петьке «железные денежки» — сер бряный гривенник, которые он так безнадежно в течение двух дней на мо глазах скулил у отца.

Легко вскинув на плечи мешок с дорожным барахлом, я весело зашаг в клуб. Там меня ждали: худощавый, смешливый избач Васильев (красн армейский шлем, бурковые сапоги, пальто, разодранное в 1001-ом мест и его жена, тов. Елена, белокурая армянка, заядлая комсомолистка, неут мимая говорунья, душа всего того небольшого комсомольского «обчества которое вечно с утра до ночи толкается в небольшой личной комнатуш Васильевых.

В небольшой, насквозь прокуренной комнатушке Васильевых сто обычный словесный тарарам.

У стены на скамье восседало человек 5 дюжих, ядреных парней в п пахах и замасленных шапках. Тов. Елена возилась у крохотной каменн печурки, подогревая молоко к чаю. Инструктор Алексеев что-то пис на небольшом листе бумаги, очевидно, отчет о своей работе.

Избач Васильев, вечно подвижной и смешливый, щеголяя своей заст релой, развалочной походкой (эх, кавалерия!), суетился вокруг, да около.

Он внимательно поглядел на меня, потом на ребят и сказал:

— Ну, ребята, материал есть?

— Есть.

— Ну, и вываливайте.

Пять дюжих парней помялись и улыбнулись. Это был, можно сказат цвет воронцовской «комсы». Это они выдерживали на себе главный нап стариковских нападок, из их среды еще недавно воровски выхватили одног Сачкова Давида, и придушили, придушили на такой с виду радушной дер венской улице.

— Вот что, друзья, — сказал я, — завтра с утра, часов в 11, вали ко мне разговоры разговаривать. Утро вечера мудренее.

Парни не протестовали. Покурив немного, они разошлись, кто куд Мы распахнули форточку. Синий дымный столб стал медленно рассасыватьс

Горячий чай густел красноватой теменью. Ничего не поделаешь: ру ский человек так уж скроен — первым делом должен он губы хорошень ошпарить кипятком, вторым делом — распарившись, накуриться до хрипот после чего он неизменно впадает в полосу приятных душевных бесед и пр знаний.

Первым разобрало избача Васильева.

— Вот она, наша работа, — сказал он, — в театре скамеек нет. Как спектакль, кланяйся «духовным христианам», чтобы одолжили на время скамьи из молельни. Беда. Решили, вот, духовой оркестр завести — куда там. Вид но, будем играть на гребешках «Ой-ру». Не работа, а слезы.

— А в читальне — полярный круг, дров нет, — горячо вставила тов. Елена. — Изредка топим своими дровешками. Получила сажень дров, как учительница, вот и разматываешь ее помаленьку.

Избач Васильев впал в мечтательное состояние:

— Нет, обязательно, уеду на родину, уеду в Ленинград.

Такое приключалось с ним часто. Очевидно, он не свыкся с деревенской тишью. Он присел на минутку на кровать, сузил зрачки и предался недолгой меланхолии. Ему, верно, мерещились прямые ленинградские улицы, ночные, сумрачные каналы, низко нависшие, сырые туманы, набережные, разгульные развсроты площадей, густые людские толпы.

Через мгновение он безнадежно махнул рукой и, сорвавшись, снова зашагал вразвалку и заулыбался.

Разговор шел своим чередом.

— Никто не желает старух играть в пьесах, каждой подавай роль молоденькой, будто все, как на подбор, красавицы. Очень за цвет лица беспокоятся.

Избач Васильев куда-то исчез и в скором времени вернулся с ворохом бумаг.

— Вот наш «Будильник».

Развернул несколько номеров: большие белые листы исписаны крупными буквами от руки. В большинстве заметок красной нитью проходит охвативший село бурелом: молодежь отходит от стариков, «желает стать человеками», сиречь комсомолистами; старики бубнят на разные лады, в один голос, приблизительно следующее:

— З а п и ш е ш ь с я — г о л о в у о т о р в у.

Я складываю пачку газет и сую в портфель.

— Нельзя, нельзя, — волнуется Васильев, — дело для них заведено.

— Верну, честное слово. Вышлю по почте обратно.

Васильев соглашается.

Чай дает себя чувствовать. Теплота «малинит» и расслабляет. Уже неохота говорить вразброд о клубе, о сельсовете, о хозобрастании, о делах и делишках, о деревенских буднях, — все это на завтра попозже, на утро, а сейчас — каждому невтерпеж рассказать что-нибудь этакое, героическое, разворушить пачку отошедших лет и вытащить чрезвычайное, незабываемое, значительное.

Первым открывает вечер воспоминаний инструктор Алексеев. Говорит он, волнуясь, теребя свой непокорный вихор, и его волнение невольно передается всем.

Его бывальщина — одна из многих, какие пережили люди, по горло погруженные в гражданскую войну.

В беспорядке, в какой-то судорожной беготне замелькали броне поезда, засады, предательства, расстрелы, невероятные случаи спасения и наконец, победоносный шаг, последний вооруженный шаг накануне сего дняшней передышки.

В комнате четверо. И все сразу самым тесным образом бесповоротн сникли в какой-то далекий, чудный, героический клубок, который начал раз матываться с февраля 1917 года.

Утром, едва я проснулся и успел хлестнуть в лицо студеной воды, ка уж меня поджидал гость.

Первым заявился Иван Семилетов. Говорил я с ним мало. Но зат он оставил мне примечательное письмо.

«Я был первым зачинщиком каких бы то ни было драк, под моим руко водством проделывались всякого рода дебоширства, ежедневно вечером я набирал шайку ребят и орал всевозможные нелепые песни, которыми вызы вал всякое недовольство от стариков и вообще от всех граждан, которы даже несколько раз хотели бить мне морду, чего им, конечно, не удавалось

«Однажды во время драки я, чтобы скрыться, забежал в клуб. В клуб в это время была репетиция, которая, конечно, меня заинтересовала, и я стал посещать клуб, где посредством агитации комсомольцев я понял вс сущность комсомола, узнал его задачи, которые шли наперерез моей жизни и немедленно подал заявление о вступлении в комсомол.

«Когда узнали о моем поступлении в комсомол мои родители, кото рые были присоединены к секте (баптистов), то не хотели мне отворят двери, когда я приходил вечером из клуба. Они плакали о том, что я н стал посещать ихние собрания, они называли меня погибшим человеком.

«Ребята товарищи несколько раз хотели меня бить за то, что я всту пил в комсомол. Старики и вообще граждане говорили, что лучше бы ты орал на улице песни, чем вступить в комсомол.

«Мое вступление в комсомол потянуло несколько товарищей, с кото рыми я был до вступления, они сейчас тоже комсомольцы».

Спрятав это достопримечательное письмо, я вместе с Васильевым мах нул в кооператив купить чего-нибудь к чаю. На частых полках темнели куски мануфактуры, толстенные бабы в кожухах мяли разные ситчики, и то-и-делю говорили: «рубчики, горошки, полосочки», и обязательно сомне вались в добротности материала.

Но расторопные приказчики одним взмахом своего спец-приказчичьего рассеивали горестные вздохи и сожаления покупателей.

Тут же шел прием сыра и масла. Окрестные крестьяне, армяне и та тары, усердно выменивали свои продукты на ярко-красный сатин. Он так полонил их, что они не могли скрыть своего восторга перед красочной тканью, и от удовольствия фыркали.

На обратном пути мы завернули в сельсовет, где Васильев выпросил авансовый ордер в 13 рублей, ибо сидел совершенно без денег. Но ордер моментально развеялся, яко дым. В лавчонке комитета взаимопомощи он

почти целиком пошел на покрытие долгов, и бедняга Васильев получил сдачи — 3 фунта баранины и два рубля серебром.

Он задорно зазвенел:

Последний нонешний денечек
Гуляю с вами я, друзья.

Эти строки оказались удивительно пророческими. Мудрый сельсовет решил более не платить ему 13 рублей, и Васильев сел на 19 рублей в месяц, которые он получал от учполитпросвета.

Но Васильев унывал недолго. Он лишний раз вспомнил далекий Ленинград, лишний раз помечтал о родине, успокоился, и через короткое время обычная веселость вернулась к нему.

Когда мы вернулись, в комнате уже успели накурить до-нельзя. «Комса» ждала, чтоб ввести меня в курс интересовавшего меня дела — дела об убийстве комсомолиста Сачкова, а по сути дела о раздоре промеж стариками и «стариковской» молодежью и комсомолистами.

Выпив на-спех чая, я забрался с ребятами в библиотечную комнатенку клуба, где уныло висели два вылинявших стародавних плаката с Врангелем и польскими панами и неприветливо стоял полупустой книжный шкаф.

Мы закрываем вплотную двери, выходящие в читальню, где стоит хронический холод, но где все же за двумя продолговатыми деревянными столами зябнет десяток неугомонных читателей-комсомолистов.

— Кто первый?

— Первый — Иван Сачков, брат убитого, первый — по праву, да и по значимости в местной комсомольской организации.

— Брата свово мне очень жаль, смышленый был парень, башковитый, голосастый. Еще в 1920 году замышлял он поступить в ряды комсомола, только никак нельзя ему было, потому служил в батраках; если б записался, непременно прогнали бы с работы. Ну в 24 году собрался я на военные курсы, в Ленинград, и говорю брату: «уезжаю я, не скоро вернусь, должен ты теперь пойтить в комсомол, потому без смены нам никак нельзя». Эх, молодцоватый был у меня брат, мускульный, в батраках побудешь, известно, выломаешься. Перед убийством все говорил: «поеду раньше сроку в Красную армию». Не отговаривал. Дело хорошее. Из армии на курсы военные можно, словом, человек не пропадет, ежели осознал класс.

Он тяжело вздохнул и глубоко засунул дюжие руки в полусторванные, обвисшие карманы своего сермяжного пиджака.

— Удушили, сволочи. Удушили. Вообще положение здесь н[illegible]ное. Не любят здешние старикаты комсомол, ненавидют. Партийцы наши тоже не дают ладной помоги, потому заело их хозобрастание так, что больше некуда. Вот у нас и промеж комсы и партейцев не все ладно. У нас бедняки, мозолевая батрасня, а у них — по десять и двенадцать коров, со стариками молоканскими вожжаются, трудно нам, ой, как трудно. Не любили здесь моего брата, больно зубастый был, в меня пошел. Мы по деревни вечером ежели ходим, то непременно гуртом человек пять или шесть, иначе

прибьют. Тут у них имеются свои молодежные организации по части хулиганства, вроде фашистские. Как где поймают нашего комсомольца, в одинешеньку, давай над ним издевку делать. А брат мой тогда сдуру один шел, напали на него герасимовские ребята и прикончили. Ежели бы шел другой — все равно порешили бы. Как узнали, что брата мово забили, обрадовались кулаки. Уж больно я им надосадил. Работал я всегда здесь не покладая рук и линию держал настоящую.

Говорили и другие, говорили тихо, вполголоса, словно выкладывали некую чрезвычайную тайну.

— Бывало, стенную газету делаем — обязательно Давид принесет корреспонденцию, даст больше устную, — малограмотен еще был, но всегда в точку попадал. Смышленный был на голову человек. Последний раз принес информацию про Старкова. Комсомолец. Узнала теща, что записался он, стала прижимать. Постель отобрала, потом самовар, потом стаканы да ложки, так прижала, что ни сесть, ни с женой лечь куды нельзя, — смехота. Ну, что ж. Дал парень слово теще не ходить в комсомол, а нам письмо прислал, что, ввиду бедности и неимения свово угла, принужден временно уйти от товарищей. Посмеялись мы тогда крепко: комсомол на самовар выменял.

— Теперь, конечно, стариканы присмирели, поняли, что по головке за убийство не погладят, и на улице боле не видать дебоширства. Раньше бывало к бабе ихней не подходи, безбожные, какие, мол, женихи из их, а бабы-то все беспартейные и сектантские еще, ну, а теперь ничего, не препятствуют охаживать, ну, конечно, дома зудят: не гуляй с ими, пропадешь, из дому выгоню.

На втором часу разговора мы принуждены были перейти на половину Васильевых, ибо рисковали превратиться в ледяные сосульки. Но у Васильевых прежний разговор уже не клеился, уж очень печальный и скорбный был он, и говорить об этом на людях неохота.

Инструктор Алексеев принимал членские взносы. Щедро сыпались пятиалтынные и медные пятаки.

Перешли на шутливый разговор. Злоба дня — «бабы». Комсомолистам не на ком жениться. Старики требуют, чтобы свадьба была «справная», духовная, чтобы жених «комсомолец» покаялся и вошел в сект-союз.

— Да, ежели бы мы не комсомолисты были, — шутит один, — давно обзавелись бы семействами.

Но сегодня событие — сегодня «комсомолист» сватает духовную. Невеста согласна, но старики упираются, хотя и не вкрутую.

— Хотя бы раз такую безбожную свадьбу справить, а там пойдет и пойдет.

Вечером того же дня я уже было собрался пойти в школу, где происходил учительский с'езд Воронцовского района, как меня посетил один молодой, белесый парнишка, незадачливый корреспондент «Крестьянской Газеты», и вручил мне печальную повесть своих дней на четырех листках серой оберточной бумаги.

«Товарищи, — писал он (сохраняю орфографию) на имя газеты, — ни упустити в обиду большу миня и ни оставте просьбы, я докладаюсь к вам уже третий раз, но ответа никакова ни получал. Товарищи, ниужели моя просьба вам ни трогательная, ниужели она вас ни убеждает, неужели она для вас авантюрная, товарищи, неужели мои стихи, статейки принадлежат к ильюзии, неужели я не подчиняю или не признаю Коминтерна.

«Товарищи я же подчиняюсь советской власти, яже работаю товарищи безовсякой платы цельной год вячейки, разежаю поселам, даеще вячейку хожу за пять верст и там так приходилося что дня два и три работаишь все ниевши, насваю квартиру, очинь далико ходить, атам нанять квартиру незачто, так истрадаиш, кто из товарищей принисеть кусок хлеба то покушаиш а если нет то и нет. И еще товарищи поверте мне я нахожусь у вобидном положении виду того что сапоги справленыя отцом поосени истрипал, пиджак тоже, дамалю того что это потрипал я заэтим нигонюсь, я и так могу ходить а втом бида, что вячейки два дни голодной и придеш домой нидают пожрать, и я низнаю что сетим делать Товарищи, да дайте пожалуста наставления какое либо. товарищи обратите внимание еще нато, чтобы вам ежедневно писалбы заметки, стихотворении да три дела мишают 1) заключаица втом что симя бальшая 11 душ а изба маленькая, сядишь что-либо писать, тот крикнет тот талкнет! тот куда либо посылаить...

«2) Родители нидают покупать бумаги ниденег ни хлеба ничево совершенно. вячейки если разживешся лист напишиш ато все так праходить, другой раз хорошая заметка так проходить потому что нет бумаги. 3) Заключаица втом, том товарищи что когда сядеш писать, то письмо уже и надумки нийдет. Атолько-лиш думаица одно, как бы попоесть, когда какое либо дите носить кусок хлеба то вырвеш изрук покушаиш, а то больше так то усигда, товарищи когда придеш домой кровавыми слизами зальешся да и только......

«Товарищи я бы вас просил, чтобы вы постарались обо мне, где-далибо найти место я бы-вам товарищи работал «бы даром, абы только обували одивали поили да-кормили я-б и тем довлин был... товарищи я хотел поступить в добровольческую армию но ниприниmaють говорят то что ты еще молодыя, а мне тогда было восимнадцать лет, и больше нистал добиваца, и досих пор страдаю в деревне досих пор»...

Белесый парнишка проводил меня до самой школы. Прощаясь, он долго упрашивал меня позаботиться о нем, ибо нет больше у него мочи жить так, и если не помогут ему, он обязательно над собой «что-либо исделает».

Его светлые глаза с беловатыми ресницами глядели испуганно и открыто. Я похлопал его по плечу и сказал:

— Не дрейфь, авось что-либо выгорит.

Встретив на с'езде Сачкова, просил обратить внимание на парня. Сачков улыбнулся и махнул рукой:

— Непутевый. Да разве кому легче. Все бьемся как рыба об лед.

На с'езде также не мало говорилось о комсомольцах, о стариках, об учителях, о том, что работа должна быть совместной, дружеской, товари-

щеской, что учителя в своей внешкольной работе должны опираться на комсомол и партию.

Указывалось на пример самой Воронцовки, где учитель Пужляков и другие вплотную подошли к молодежи и завоевали ее искреннее расположение и доверие.

Учителя волновались, говорили, что если виноват учитель, то виноват и комсомол, что до сих пор не найден общий язык, но что его надо найти и сблизиться.

Закончился с'езд дружной и единогласной резолюцией о совместной работе с комсомолом.

Со с'езда я вышел с Сачковым Иваном и Садовниковым Михаилом, оба они были неразрывно связаны и работой в комсомоле, и ремеслом (оба «мастрювали» жестяные работы), и сугубой ненавистью к ним сектантского стариковья.

Ночь была морозная, ясная, со всех сторон хмуро и тупо глядели горные кряжи, и тишина стояла глухая.

— Заглянем в мастерскую, что ли? — сказал Сачков.

И рассмеялся:

— Имущество проверить.

Мастерская занимала убогую, студеную хибарку.

На небольшом столе была навалена груда разного «струмента», сбоку у стены торчали бурые, пыльные меха, на полу валялись огрызки жести, стружки, завитки железа.

Нередко по ночам в затхлой, густой тишине слышится равномерный цокот молотков и забористый вздох мехов: зачастую днем оба жестяных мастера в долгом плену у комсомольской работы.

— Фабрика,—ухмыляется круглолицый, белесый Садовников.—Только от такой фабрики, того и гляди, сбежишь на край света. Работы не жирно.

— Насчет работы у нас дело вообще обстоит плохо. Вот, допустим, вернулся из Красной армии тов. Зутиков. Никто на работу его не принимает, человек почти голодует. А почему? Комсомолец! Безбожник!

В комнате у Васильевых уже все было приготовлено ко сну.

— Как дела? — сказал инструктор Алексеев. — Завтра еду в соседнее село.

Он сложил кипу листочков в портфель, выправил наверх свой непокорный вихор и деловито отчеканил.

— По-моему, товарищ, картина ясна. Я, как инструктор комсомола, вижу ее насквозь. Надо усилить ячейку, подтянуть местные власти, а главное устроить показательный процесс здесь, в Воронцовке. Надо проучить зарвавшееся кулачье.

Он побагровел, и злая гримаса искривила его губы.

— Я их, сволочей, знаю. Через их не один человек погиб здесь. Моего брата когда расстреляли...

— Давайте спать,—сказала тов. Елена.—Ведь ехать-то по утру, спозаранку.

На другой день я выехал из Воронцовки обратно в Степанован.

В тот день зима сдала свои ветряные и заморозковые позиции, и тепловатое, радушное солнце нависло над ущельями Карагача.

По дороге возчик жаловался на «жисть» (эх, ты, мотузянная), на заобиду от «сильных мира сего», на Арменторг, почему-то распоряжающийся всей госфондовой землей, на Приписную кассу, прославившуюся своими очередями, наконец, на налоговые ошибки и волокиту с обжалованием.

На степанованскую базарную площадь выехали лихо, дребезжа и скрипя колесами. У Попоевского ресторана «Симпатия» тупо торчали два каменных барана-украшения, отрыжка прежних сытых годов, когда полки степанованских частных магазинов ломились от товаров и когда поставить у калитки дома или у входа в магазин каменное изваяние барана или лошади считалось и признаком материального благополучия, и несомненной гарантией на дальнейшее семейное счастие, и торговый успех.

Как и в прошлый раз, когда я впервые подкатил к ресторану, Попоев выкатился из духана шариком, сытый и довольный, и загорланил:

— Ай, ай, ай, свежай шашлык, свежай!

Сегодня он был особенно весел и оживлен. Еще бы: сегодня в Степановане состоялся целый ряд с'ездов в участковом масштабе, и в деревянных, холодных кабинках Попоевского ресторана делегатами было уничтожено немалое количество снеди и питья — и владелец не мог скрыть, что сегодня он временно забывает налоговую систему, что сегодня он доволен Советской властью, как никогда.

Пушкин и его современность.

Л. Войтоловский.

1.

У нас расплодилось сейчас очень много пушкинистов и пушкинцев. Пушкинисты комментируют, исследуют, истолковывают и, как подобает людям большой учености и христианского образа мыслей, безжалостно изобличают друг друга в самообольщении, близорукости, недомыслии и прочих книжных грехах. Пушкинцы — по преимуществу из кающихся футуристов — упоены цветущим великолепием пушкинского стиха и в блаженном смирении заклинают признать ничтожество всего футуризма и вернуться в лоно «Евгения Онегина». Высмеивая азарт новообращенного пушкинца Маяковского, А. В. Луначарский, между прочим, бросает такую мысль:

«Вновь и вновь с разными вариациями повторяется, в сущности говоря, праздный лозунг: «Назад к Пушкину». Я называю этот лозунг праздным потому, что поэты, придерживающиеся старой классической формы, в сущности говоря, от Пушкина никуда не шли, за исключением того, что до чрезвычайности измельчали, а лозунгом «Назад к Пушкину» прибавить себе росту нельзя» [1]).

Мне думается, что это не совсем так. Лозунг «Назад к Пушкину» не оттого является лишенным всякого смысла, что мы «от Пушкина никуда не шли», а как раз потому, что мы к Пушкину еще не подошли. Любой маломальски образованный немец знает во всех подробностях биографию Шиллера и Гете. Каждому грамотному французу со школьной скамьи знакома биография Гюго или Мольера. А у нас даже самый ревностный почитатель Пушкина затруднится рассказать историю его жизни. По той простой причине, что у Пушкина нет еще точной биографии. До сих пор у нас нет ключа не только к событиям его личной и общественной жизни, но у нас нет также правильного шифра к его запутанным рукописям и черновикам. У нас множество пушкинистов. Мы с гордостью заявляем, что пушкиноведение стало сюжетом нашей литературы и создает почтенным исследователям очень громкие репутации; а на деле многие пушкинисты по прихоти воспро-

[1]) А. Луначарский, Литературные силуэты, стр. 66.

изводят небывалые происшествия, навязывают Пушкину небывалые чувства, заменяя исследования в области текста и изучение эпохи всякими фантастическими измышлениями, переходящими от одного к другому и окружавшими биографию Пушкина совершенно бессмысленными легендами. У нас есть множество пушкинистов, и ни одного толкового издания, ни одной точной биографии Пушкина. Это у Пушкина, перед которым давно преклонилась вся Европа, о котором лучшие французские критики говорят, что только незнакомство с русской поэзией давало право Виктору Гюго именоваться первым европейским поэтом в такую эпоху, которая начертала в поэзии имя Пушкина. Среди многотомных схоластических фолиантов о Пушкине есть книги, на протяжении полустолетия решающие вопрос: любил ли Пушкин Голицыну и какие из его мадригалов относятся к ней, а не к Раевской? Был ли влюблен в Раевскую вообще и кого любил больше — Раевскую, жену или Керн? Много рвения потрачено также пушкинистами для выяснения, состоял ли Пушкин в списках тайного общества декабристов? Точно все дело сводится к дон-жуанским качествам Пушкина или к установлению номера его партбилета.

Был ли Пушкин в списках революционеров или нет, но он жил в эпоху декабрьского восстания, — того восстания, которое грохотом своих пушек разбудило, по выражению Герцена, целое поколение. Понимал ли Пушкин смысл событий на Сенатской площади? Современник Борисова, Муравьевых и Пестеля, — как отразил он свое время? На-лицо были все условия, которые должны были всколыхнуть его необузданную гениальность, насытив его поэзию пламенными образами отваги и благородства, — есть ли у Пушкина следы этой жертвенной эпохи? воодушевился ли он восторженным сочувствием к революции? где и в чем отозвалось преклонение Пушкина перед подвигом? Прежде чем заняться решением вопроса, когда и с кем целовался Пушкин и правильно ли распределены комплименты поэта между Голицыной и Раевский, не лучше ли будет выяснить, существует ли какая-либо связь между творчеством Пушкина и той бунтарской идеологией, которой дышит «Русская Правда»?

Не своевременнее ли будет решать, отчего так много внимания уделено в произведениях Пушкина иностранным сюжетам и экзотическим темам: «Скупой рыцарь», «Пир во время чумы», «Египетские ночи», «Моцарт и Сальери», «Сцены из рыцарских времен», «Кирджали», «Анджело», «Каменный гость», «Фауст» и друг. Время Пушкина — время огромных экономических переворотов в жизни нашей страны. Восприняты ли и как восприняты эти перевороты в творчестве Пушкина? Собираясь заново венчать Пушкина бессмертием, не в праве ли в наше время поставить вопрос: не обнимает ли слава Пушкина гораздо больше, чем сколько обозначается в наше время этим великим словом — бессмертие? Ответа на все поставленные вопросы мы, разумеется, не получим от поцелуйных изысканий пушкиноведов. Рассекая, как безжизненные трупы, рукописи поэта, наши ученые комментаторы проморгали сквозь запыленные стекла своей учености и сущность нашего тогдашнего ренессанса, и вулканические перевороты в области экономики, и самый дух

пушкинского творчества. С этой точки зрения мы только подходим к Пушкину, только впервые беремся за эту сложную задачу. Само собою понятно, что мне придется коснуться этой темы лишь в самых общих чертах, ибо, как говорит Луначарский, «это труд огромный, труд, несомненно, коллективный» [1]).

Эпоха Пушкина, т.-е. четыре первых десятилетия XIX века, является самым решительным поворотным пунктом в истории помещичьего землевладения. Разорительные наполеоновские войны поставили наше истощенное крепостное хозяйство лицом к лицу с промышленной Англией. Последней понадобились от России огромные количества хлеба. На протяжении целого десятилетия лондонский рынок пред'являл к России бо́льшие и бо́льшие требования, под влиянием которых росли и хлебные цены, и жадность русских помещиков. Этот продолжительный штурм крепостного помещичьего землевладения поставил помещика перед вопросом о перевооружении своего хозяйства на капиталистический лад. Шаг за шагом, под беспощадным нажимом лондонского рынка, совершалось перерождение дворянских имений в капиталистические предприятия, т.-е. в фабрики русского зерна. А это естественно требовало от нашего убогого натурального хозяйства подтянуться, поднять производительность барщинного труда. Так, выкачивания лондонской хлебной биржи, взывая к инициативе крепостного землевладения, столкнули помещика с убыточностью барщины и заставили его впервые возвысить голос в пользу раскрепощения мужика. Самый тяжелый камень для постройки идеологии декабристов был заложен. Оставалось очистить почву.

Между тем, одновременно с капитализацией поместья происходило не менее стремительное развитие нашей крупной промышленности. Именно к этому времени у нас работают в металлургической промышленности свыше 170 горных заводов, а ткацкое и фарфоровое производства достигают такого расцвета, что в 1829 году правительство устраивает первую российскую выставку мануфактурных изделий. Вот что писал по поводу этой выставки тогдашний «Журнал Мануфактур и Торговли»:

«Смотря на эти прелестные материи, с таким вкусом и искусством сотканные, на сии остроумные машины, на драгоценнейшие изделия фарфоровые, хрустальные и проч., и проч. и потом на сих почтенных и скромных фабрикантов, кто бы подумал, что сии простолюдины имеют столько вкуса, образованности, понятливости и ума изобретательного [2]).

Бурное развитие промышленности в свою очередь наносило тяжелый удар натуральному хозяйству, так как, с одной стороны, требовало от него свободных рук, а с другой — неизбежно втягивало в товарно-денежный оборот не только городское купечество, но и оброчного мужика́. Фактически дело обстояло так: целый ряд торгово-промышленных предприятий находился в руках оброчных крестьян, которые под покровительством помещиков

---

[1]) А. Луначарский, Литературные силуэты, стр. 67.

[2]) М. Балабанов, История рабочего класса, т. I, стр. 17

принимали настолько деятельное участие в торговой жизни, что вызывали ропот со стороны «статейного» купечества. Яснее сказать, дух капиталистической предприимчивости овладевал в одинаковой мере и купцом, и помещиком, и мужиком. А это, конечно, подтачивало сословные перегородки и вело к буржуазному перерождению крепостного хозяйства, ибо еще раз ставило перед разоренным и задыхающимся помещиком неотложный вопрос о барщине, о производительности труда, о деньгах. Главное — о кредите, о деньгах. Ибо учрежденному в 1817 году государственному коммерческому банку, со всеми его отделениями в многочисленных губернских городах, не под силу было насытить дворянскую нужду. И вопрос о кредите с каждым годом принимал все более жгучие формы или, как выражается Покровский, «вопрос, откуда достать денег на дальнейшее ведение хозяйства, стал вопросом классового самосохранения русского дворянства» [1]).

Таковы экономические факты. Неудержимо и бурно капитализм прокладывает себе дорогу к хозяйственному рулю. На почве новой действительности буржуазная идеология делает огромные завоевания в дворянско-помещичьем быту и наполняет умы дворянской интеллигенции свободолюбивыми планами и мечтами. Мысль, впервые столкнувшаяся с западноевропейской культурой, с идеалами революции, жадно рванулась вперед — на простор теоретических обобщений. Это был какой-то неукротимый поток революционных проектов самой пестрой окраски. Пестрота революционных программ диктовалась пестротой и неустойчивостью хозяйственных форм. Натуральная деревня трещала по всем швам. Сквозь толщу крепостного землевладения кривыми ростками пробивался капитализм. На-ряду с азиатскими формами труда появились фабрики и заводы. Неподвижный, захолустный, троекуровский быт, не порывая с крепостной кабалой, носил в недрах своих не только зачатки буржуазии, — этих будущих Кит Китычей, но и сопутствующего ей пролетариата: крепостная фабрика требовала крепостного рабочего. Правда, это не был еще рабочий-революционер. Тем не менее и тогдашняя фабрика, будучи очагом пролетарского духа, безусловно оказывала воздействие на идеологию рабовладельческого дворянства, и на революционирование тогдашней интеллигенции, заставляя последнюю думать в унисон с практикой фабричного производства. Для определенной группы дворянства наступило время радостного под'ема. Мы видим, как параллельно с ростом промышленности в недрах крепостного дворянства одно за другим возникают тайные общества: «Общество русских рыцарей», «Союз Спасения», «Союз Благоденствия», «Тайное Общество» будущих декабристов, «Общество Соединенных славян». Имущественное положение, тактика, социальные симпатии, дух революционной инициативы этих обществ носят самый разнородный характер. Тут и артиллерийский поручик Борисов, героически-яркая фигура, вдохновитель Черниговского полка; и ярый республиканец Пестель, и якобинец Ипполит Муравьев, и смиренный князь Трубецкой, и буржуазно-умеренный поэт Рылеев, и либеральный монархист Якушкин, и десятки

[1]) М. Покровский, Русская история, т. IV, стр. 54.

других представителей дворянской интеллигенции, заплативших свободой и жизнью за свою героическую попытку вступить в единоборство с самодержавием. При всем разнообразии программ об'единяющих революционной спайкой всех названных обществ оставалась борьба с крепостничеством. Ликвидации крепостного права требовал и «Союз Спасения», возникший в 17-ом году, и «Союз Благоденствия» в 18-ом году и, конечно, все другие, более левые союзы:

Что же дают нам произведения Пушкина для уразумения этой революционной эпохи? Достаточно прочитать его стихотворение «Деревня», напечатанное в 1819 году, т.-е. в самом начале подпольно-революционной работы декабристов, чтобы понять, в чьих рядах находился Пушкин. Впервые русская дореформенная поэзия с такой откровенной смелостью выражала свое отвращение и ненависть к крепостному кнуту:

Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца;
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее тащится по браздам
Неумолимого владельца.
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
Надежд и склонностей в душе питать не смея;
Здесь девы юные цветут
Для прихоти развратного злодея...

Этой сокрушающей ненавистью к тиранам и тирании проникнуто творчество Пушкина на протяжении 19-го и 20-го года, что сказывается в целом ряде гневно революционных стихотворений: «Наполеон», «Вольность», «Кинжал», «Послание к Чаадаеву» и др. Пушкин не разжижает своих чувств. Только тому, кто вооружается на бой, могут быть доступны такие смертельно-острые образы, какими насыщена его ода «Вольности».

Увы! Куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы,
Везде неправедная власть,
В сгущенной мгле предрассуждений,
Везде неволи грозный гений,
И к славе роковая страсть!..

Самовластительный злодей!
Тебя, твой род я ненавижу.
Твою погибель, смерть детей
С свирепой радостью предвижу!
Читают на твоем челе
Печать проклятия народы,
Ты — ужас мира, срам природы,
Упрек ты богу на земле!

Правда, раскаленные стрелы этой оды метят как будто не в русского царя. Но клокочущая в ней цареубийственная злоба легко долетает до «самовластительного злодая» на русском троне. Во всяком случае, царское правительство безошибочно оценило революционное значение его песен и поторопилось отделаться от поэта, сослав его в Кишинев, что не помешало ему, однако, до конца оставаться мятежной трубой тех боевых отрядов, которых история неумолимо вела на Сенатскую площадь. Но быть певцом декабристов еще не значит завоевать себе такую устойчивость в потомстве, какая выпала Пушкину. Создавать революционные песни случалось и Дельвигу, и Языкову, не говоря уже о Рылееве, заплатившем виселицей за свои убеждения. Было бы несправедливо отрицать заслуги этих писателей; но то, что завещано нам Пушкиным, во всяком случае, и глубже и полновластнее этих заржавленных заклинаний давно отзвучавших мятежей.

2.

Поэтическое творчество Пушкина катится двойным потоком, и в каждом из этих потоков отражается два разных Пушкина. Один, жизнерадостный и солнечный, как Моцарт, безмятежно наслаждается бытием и превращает волшебными словами в волшебные картины скучные будни своих недалеких и грубых современников («Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Домик в Коломне», «Дубровский» и др.). Это чисто дворянская литература, до мельчайших подробностей воспроизводящая быт и нравы дворянского сословия тех времен. Онегин, Ленский, Герман, кн. Елецкий, Томский, Гремин — это все несложные варианты однозначных дворянских типов. В их лице Пушкин дает своим современникам именно тот род поэзии, в котором последние нуждаются, или которая при данном состоянии их взглядов и нравов может доставить им возможно больше удовольствия. Отлитые в чеканную бронзу пушкинских слов, они лежат, эти умершие тени умершего дворянства, в своих роскошных словесных саркофагах, и из глубины их могил до нас доносится чудесный пушкинский смех, его шаловливая шутка, житейские грешки и заботы.

Но есть другой Пушкин — одинокий, загадочный, погруженный в пророческие видения. Не только поэт, но и историк, владеющий всеми тайнами грядущих и минувших событий и живущий в мире многозначных обобщающих образов. Этот Пушкин присягнул в верности всему человечеству. Своими единственными друзьями избрал он Вильяма Шекспира, Данте, Гете и Байрона. Сквозь скучную пелену патриархального разложения ему рисовались такие общественные дали, такие грозные страсти, до которых никак не могла подняться прихрамывающая мысль его современников. В сущности, кроме любовной лирики и соловьиных трелей, все было непонятно в Пушкине тогдашнему дворянину. Даже «Евгений Онегин», своими первыми песнями снискавший автору такую шумную популярность, был близок молодому поколению свежестью языка, остроумием, национальной лепкой и некоторой либеральной фрондой. Все остальное не укладывалось в маленькие рамки их

феодальным взглядов. На этот счет у нас имеется немало документальных подтверждений.

«Большое число читателей, — писал Пушкину поэт Боратынский, — «Онегина» не понимают. Высокая простота создания кажется им бедностью вымысла, они не замечают, что старая и новая Россия, жизнь во всех ее изменениях проходит перед их глазами... Я думаю, что у нас, в России, поэт только в первых, незначительных своих опытах может надеяться на большой успех. За него все молодые люди, находящие в нем почти свои чувства, почти свои мысли, облеченные в блистательные краски. Поэт развивается, пишет с большей обдуманностью, с бóльшим глубокомыслием; он скучен офицерам, а бригадиры с ним не мирятся, потому что стихи его все-таки не проза».

Сам видный поэт-философ, бросивший людей и свет, чтобы вдали от современников, в полном уединении найти полный простор своим думам, Боратынский хорошо понимал душевную драму Пушкина. Но Пушкин не охладел к окружающему миру, подобно Боратынскому, и не превратился, конечно, в модного франта и паркетного пессимиста онегинского типа. Оставаясь в тесных рамках своего времени—

Среди бездушных гордецов,
Среди блистательных глупцов...
Среди кокеток богомольных,
Среди холопов добровольных...
Среди холодных приговоров
Жестокосердой суеты,
Среди досадной пустоты
Расчетов дум и приговоров —

Пушкин вдруг начинает смотреть на мир глазами другого класса — глазами далекого потомства. И все кругом наполняется углубленным, вещим и страшным смыслом, как во сне Татьяны:

Копыта, хоботы кривые,
Хвосты хохлатые, клыки,
Усы, кровавы языки,
Рога и пальцы костяные...

Мирные бригадиры и городничие — Пустяковы, Буяновы и Петушковы — превращаются в Собакевичей, Чичиковых и Ноздревых (недаром сюжет «Мертвых душ» дан Гоголю Пушкиным). Неясное будущее начинает двигаться перед глазами поэта магическими отрывками. Над простыми и односложными фигурами Онегиных и Ленских вырастают многозначные, обобщающие, трагические символы, но искусно запрятанные от современников (от цензуры и тупоумия Собакевичей) в образы сумеречной и чужой старины («Скупой рыцарь», «Египетские ночи», «Пир во время чумы», «Медный всадник» и др.). Поясню нагляднее свою мысль.

Начало XIX века в России характеризуется, как мы знаем, крушением натурального хозяйства. Всеобщим товарным эквивалентом и платежным

средством становятся деньги. По свидетельству известного Михайлы Швиткова, уже в 1809 г. денежная горячка овладела всеми помещиками. «Попечение о стяжаниях множества денег, — писал он, — стало быть общим... И многие помещики по пристрастию к одному только денежному богатству перестали уже существовать помещиками» [1]). Ко времени Пушкина дух чистогана и наживы неограниченно царит над страной. Царит не только на рынке, но и в общественной совести. Знатность, красота, ученость — все поступает на откуп к золотому мешку, все продается, меркантильничает и одержимо жаждою прибыли. Для России наступило время итальянского треченто, когда вся Италия была охвачена «безумием золота». Вот что писал по этому поводу Данте в своем «Описании Флоренции», относящемся к 1339 году:

«Неутомимо много пекутся дворяне и горожане о наживе денег, так что смело можно сказать: в них горит, как вечное пламя, ненасытная страсть к стяжанию»...

Еще более выразительную характеристику дает Беато Доминичи:

«Деньги влекут к себе и великих и малых, и духовных и светских, и богатых и бедных, и монаха и кардинала. Все подвластно деньгам. Эта проклятая жажда золота ведет обольщаемые души ко всякому злу; она ослепляет разум, гасит совесть, затемняет память, увлекает волю на ложный путь, отвергает друзей и родных, не боится бога и не ведает стыда перед людьми».

Всюду, где на смену натуральному хозяйству приходит товарность, страна моментально наполняется дуновением «золотого азарта». На протяжении XIV, XV и XVI столетий все города Италии и Нидерландов становятся добычей неизлечимой денежной лихорадки. Литература этих стран переполнена страстными жалобами на «обольщаемых прибылью».

« — О, прибыль, — иронически восклицает один из авторов, — ты верховная владычица жизни!.. Ты повелительно направляешь и политику государств, и алчность купца и дворянина. Дворянский герб охотно роднится с купеческим кошельком, и рыцарская шпага становится верной защитницей Мудрого Талера».

Вот в каких выражениях воспевает эту «новую мудрость жизни» голландская сатирическая поэма «Похвала страсти к деньгам», опубликованная по-немецки в Гамбурге в 1703 г.:

О, всемогущая страсть к деньгам,
Ты учреждаешь государства,
Ты устраиваешь брачные союзы,
Ты командуешь дружбой,
Ты питаешь села и города....
Разве не для прибыли и наживы
Процветает военное искусство?
И не жажде денег обязан Колумб
Успехами своего открытия?
Что, если не деньги,

---

[1]) М. Покровский, История России, т. III, стр. 120.

Вдувает душу в торговлю,
В алхимию,
В цырульное искусство,
В книгопечатание,
В живопись?..
Или вы скажете
Медицина не хочет денег?
Ах, братская любовь докторов
Далеко не так великодушна,
Чтобы какой-нибудь Гален
Явился к больному из милосердия [1])...

Та же самая страсть, которая держала в цепких лапах Италию в середине треченто, которая поработила Голландию в начале XVII века и которую переживала Германия и Франция в первые десятилетие XVIII века, та же страсть овладела в конце XVIII и в начале XIX века Россией. Достаточно внимательно присмотреться к социальной физиономии героев Пушкина, чтобы понять, насколько мысли и воля дворянина порабощены были жаждой денег.

Евгений Онегин — сын промотавшегося помещика.

Служив отлично, благородно,
Долгами жил его отец,
Давал три бала ежегодно
И промотался наконец.

В качестве чистокровного дворянина, «преданного безделью», Онегин, разумеется, презирает всякий труд, и единственным источником покрытия папенькиных дефицитов у него остается — наследство. При первом известии о болезни богатого дядюшки наш тоскующий скептик, забыв о хандре и сплине, — в расчете на щедрость и милости старика —

Стремглав по почте поскакал,
И уже заранее зевал,
Приготовляясь денег ради
На вздохи, скуку и обман.

Одного только запаха денег оказалось вполне достаточным, чтобы превратить разочарованного и надменного денди в смиренную ключницу-сиделку, покорно готовую —

С больным сидеть и день, и ночь,
Не отходя ни шагу прочь...
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство...

Вступив во владение наследством, Евгений немедленно во всех своих поместьях —

---

[1]) Цитировано по книге В. Зомбарта: «Буржуа».

Порядок новый учредил:
В своей глуши мудрец пустынный
Ярем от барщины старинной
Оброком легким заменил...
Зато в углу своем надулся,
Увидя в этом страшный вред,
Его расчетливый сосед;
Другой лукаво улыбнулся...

Здесь каждая строчка полна социальной значительности и глубины. Со свойственной Пушкину скупостью в слове и расточительностью образов, он набросал перед нами гениальные эскизы трех типов тогдашнего дворянства. Онегин — тип либерального новатора, заменяющего барщину оброком. Его соседу, угрюмому деревенскому скопидому, который, как подлинный Собакевич, весь век просидел «в углу», где

Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел и мух давил,

переход на оброчное хозяйство кажется верхом вольтерианства и нерасчетливости. Но мы знаем, что состояние тогдашней промышленности и вопрос о капитализации сельского хозяйства настоятельно требовали полной отмены барщины.

Неглупый и довольно начитанный Онегин, давно пришедший к мудрому либеральному выводу, что «старым бредит новизна», превосходно почувствовал, не хуже декабриста Якушкина, что единственный «способ пробудить в крепостных мужиках деятельность и поставить их в необходимость прилежно трудиться»—это перевод мужика на оброк. Вот почему, когда вчерашний «порядка враг и расточитель» ознаменовал свое вступление в право наследства моментальной заменой барщинного труда оброчным, то другой сосед, менее косный и более сообразительный, чем обитатель медвежьего угла, встретил решение Онегина «лукавой улыбкой». В переводе на житейский язык — это, без сомнения, означало: «Эге! да ты, я вижу, малый не промах, хоть и любишь прикидываться гордым и бескорыстным якобинцем». И надо признаться, что «лукавый» скептик довольно правильно расшифровал либеральную уловку Евгения; особенно, если принять во внимание, что в придачу к крепостным мужикам расторопному наследнику еще достались заводы, леса и рыбные промыслы:

Вот наш Онегин — сельский житель,
Заводов, вод, лесов, земель
Хозяин полный, а досель
Порядка враг и расточитель.

При таких обстоятельствах Онегин, с переходом на оброк, одним ударом убивает двух зайцев: выигрывая, как помещик, в производительности крепостного труда и приобретая, в качестве заводчика, свободные рабочие руки весьма задешево.

Итак, несмотря на снедающую Онегина романтическую хандру, он на практике оказывается довольно ловким хозяином-приобретателем, и в деле выкачивания прибыли даст двадцать очков фору и покойному дядюшке, и любому из своих простоватых соседей.

Переходим к другим героям. Герой «Пиковой дамы», гвардейский поручик Герман, не имеет за спиной ни дядюшки, ни тетушки, которые помогли бы ему наполнить деньгами тощие карманы. А между тем, дух чистогана пылает в его душе с не меньшим жаром, чем у Онегина. Дни и ночи он жадно ищет удачи в игорном доме и готов заплатить за счастливую карту какими-угодно земными и небесными муками.

Разоренный помещик Дубровский добывает «золотую фортуну» кистенем и ножом на большой дороге.

Остальные дворянские герои Пушкина служат, воруют, берут взятки, стараются выгодно жениться.

Короче сказать, все виды первоначального дворянского накопления, все решительно способы денежной наживы — капитализация хозяйства, придворная и военная служба, наследство, картежный азарт, женитьба и авантюризм всякого сорта — от шулерства и алхимии (старая графиня в «Пиковой даме») до открытого разбоя (Дубровский),—мы находим в произведениях Пушкина. Эту ненасытную жажду денег Пушкин наблюдал не только на окружающих. Как справедливо указывает Покровский, сам поэт был силою житейских обстоятельств вовлечен в этот жадный круговорот.

«Кто читал переписку Пушкина, — говорит Покровский,—тот помнит, как часто... в ней говорится о деньгах. По ней мы можем составить себе довольно наглядное представление о размерах денежного вопроса у тогдашнего высшего дворянства, — к которому не принадлежал, но за которым вынужден был тянуться Пушкин. В одном месте он определяет свой минимальный годичный расход в 30.000 руб., в другом месте говорит о 80.000, как о пределе своих желаний: имей он их, он был бы удовлетворен вполне; упоминается еще и 125.000, но это уже как мечта по поводу доходов одного приятеля — вовсе не из самых богатых помещиков, однако, имевшего столько. Чтобы эти цифры были для нас понятны, надо перевести ассигнационные рубли 30-х годов в довоенные, т.-е. помножить на $^{2}/_{4}$, потому что такою приблизительно отношение тогдашнего ассигнационного и металлического XX века рублей. Выйдет, что девяносто лет назад 60.000 рублей считались только-только приличной рентой для большого петербургского барина... Само собою разумеется, что имения как самого Пушкина, так и всех его родных, о которых упоминается в письмах, были в залоге, — мы застаем иногда поэта за весьма прозаическими хлопотами об уплате процентов в ломбард» [1]).

Не только в письмах, но даже в разгар поэтического жертвоприношения Аполлону мы застаем Пушкина за теми же прозаическими расчетами

[1]) М. Покровский, Русская история, том IV, стр. 53.

и выкладками. В одной из выброшенных впоследствии Пушкиным онегинских строф мы натыкаемся на такое обращение к Плетневу:

Ты думаешь, что с целию полезной
Тревогу славы можно сочетать.
А для того советуешь собрату
Брать с публики умеренную плату, —
За каждый стих по десяти рублей —
(Составит, стало быть, за каждую строфу сто сорок)
Оброк пустой для нынешних людей.
Неужто жаль кому пяти рублей?
Пустое! Всяк то даст без отговорок.

Напрасно, основываясь на этом показании Пушкина о десятирублевом построчном гонораре, дочь его, графиня Н. А. Меренберг, пыталась внушить М. И. Семевскому, что отец ее совершенно не нуждался в деньгах.

«Материальные недостатки, — доказывала она, — не были причиной, способствовавшей смерти моего отца. Он имел два имения, и сочинения его приносили прекрасный достаток: ему платили по червонцу за стих» [1]).

Каковы были доходы от имений—нам хорошо известно из переписки Пушкина. А о прочих его «прекрасных достатках» красноречиво свидетельствует тот факт, что Пушкин умер, оставив семье 180.000 рублей долгу. Да Пушкин никогда и не скрывал ни своей задолженности, ни необходимости погружаться в меркантильные расчеты. В одном из писем он заявляет: «Торговые обороты нам, мещанам-писателям, очень известны. Мы знаем, что дешевизна книги не доказывает бескорыстие автора». А в известном разговоре с книгопродавцем он в весьма решительных выражениях подчеркивает:

Наш век — торгаш, в сей век железный
Без денег и свободы нет...

Вечная погоня за рублем, уплата по закладным, знакомство с ростовщиками превосходно раскрывали Пушкину сущность назревавшего буржуазно-капиталистического процесса. То тут, то там мелькают четкие строчки, рисующие всеобщие плутни, торгашество и обман:

Всяк суетится, лжет за двух,
И всюду меркантильный дух —
Всеобщее корыстолюбие и жадность:
Нам нужно злата, злата, злата,
Копите злато до конца!..

Суммируя множество отдельных черт: делечество Онегиных, игорный авантюризм гвардейского офицерства, разбойничьи подвиги Дубровских, подкупность, плутни и денежный карьеризм, — он приходит к созданию общерусского героя наживы. Так, в воображении Пушкина складывается тип

[1]) «Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина», стр. 129.

прожектера-приобретателя. Это — проходимец, выжига, плут; мелкотравчатый русский Одиссей в чине коллежского ассесора. Одержимый жаждой обогащения, «Выжигин-торгаш», как называет его Пушкин, колесит по всему простору русской земли и попутно знакомится со всеми видами помещичьего плутовства. Тут и грабители, и мелкие жулики, и скопидомы, и всякие дельцы-спекулянты, еще не дерзающие появляться в своем натуральном капиталистическом виде. Повидимому, намечалась какая-то огромная собирательная эпопея, если судить по одной выразительной заметке в пушкинском дневнике, относящейся к этому периоду: «Весьма сожалею, что из 100.000 способов ваших нажить 100.000 рублей ни один не удался». Вскоре, однако, Пушкина почему-то отказывается от своего первоначального плана, и сюжет о плутоватом любителе наживы, спекулирующем «мертвыми душами», уступает Гоголю, а сам пишет «Сцены» из несуществующей Ченстоновой трагикомедии «Скупой рыцарь», где наше домотканное плутовство и маклачество наше жалкое российское скряжничество и плюшкинство облекается в пышное платье барона-ростовщика, унаследовавшего подлинно-капиталистическую мертвую хватку от длинного ряда поколений генуэзских купцов, шотландских пиратов и голландских ростовщиков. Здесь жажда золота и наживы превращается под пером поэта в самодовлеющую страсть, изображаемую Пушкиным, как основное свойство души, как безраздельное и порочное владычество капитала:

Что не подвластно мне?.. Как некий демон
Отселе править миром я могу;
Лишь захочу — воздвигнутся чертоги,
В великолепные мои сады
Сбегутся нимфы резвою толпой,
И музы дань мне принесут,
И вольный гений мне поработится,
И добродетель, и бессонный труд
Смиренно будут ждать моей награды.
Я свистну — и ко мне послушно, робко
Вползет окровавленное злодейство —
И руки будет мне лизать, и в очи
Смотреть, в них знак моей читая воли.

В этой чисто-шекспирской картине поражает ее огромный социальный размах. Перед нами не просто скряга и ростовщик, а типичный фанатик капитала. Ростовщик-фетишист, в глазах которого каждая золотая монета символизирут могущество денег. Подобно тому как Кювье, великий естествоиспытатель, по одной найденной косточке восстановил в точности весь скелет животного, так Пушкин из фигуры скупого рыцаря-ростовщика создал многозначный символ капитализма, обобщающий образ буржуазной культуры со всей ее жестокостью, пороками, нищетой, расточительностью и всеобщей продажностью. Капиталистическая жадность, на-ряду с конкуренцией и внезапным обогащением, создает благоприятную почву для развития другой такой же пожирающей страсти — зависти. Ниже мы встретимся

с гениальным изображением этой страсти в драматическом очерке «Моцарт и Сальери», а сейчас любопытно отметить, в связи с анализом «Скупого рыцаря», интересную социологическую подробность в творчестве Пушкина, сближающущ его с идеологией декабристов, точнее — с идеологией «Русской Правды». Нигде с такой ненавистью не говорится о ростовщическом капитале, как у Пестеля в «Русской Правде». Некоторые страницы, посвященные изображению «аристократии богатств», кажутся будто вырванными из трактата времен треченто или навеянными картинами «Скупого рыцаря» (тогда еще не написанного Пушкиным). Эту особенность «Русской Правды» отмечает и Покровский: «Аристократия богатства для Пестеля — главный жупел; она гораздо хуже феодальной аристократии в его глазах, и он воюет с ней с первых же страниц своей «Русской Правды». Главное для него, чтобы не допустить этой аристократии богатств» [1]).

Продолжая эти сближения, нетрудно заметить еще одно совпадение. И Пушкин, и Пестель уделяют неожиданно много внимания мещанству, т.-е. такой группе населения, на которую в те времна никто внимания в России не обращал и которая ютилась где-то на задворках истории. В своей конституции русского государства Пестель особенно подчеркивает свои заботы о мещанах и, как отмечает Покровский, — автор «Русской Правды» в своем особом внимании к мещанству «заботливо оговаривает, что их земли ни в коем случае не национализируются» [2]). В свою очередь Пушкин на-ряду с мужиками включает впервые в русской литературе, в число своих героев и мещан, посвящая им целые очерки и поэмы: «Гробовщик», «Станционный смотритель», «Домик в Коломне» и некоторые сцены из «Капитанской дочки».

3.

В 1827 году, вскоре после суда над декабристами, П. Я. Чаадаев, посылая Пушкину интересную книгу, способную «пробудить несколько хороших мыслей», между прочим, пишет:

«Мое пламеннейшее желание, друг мой, видеть вас посвященным в тайну времени. Нет более огорчительного зрелища в мире нравственном, чем зрелище гениального человека, не понимающего свой век и свое призвание. Когда видишь, что тот, кто должен был властвовать над умами, сам отдается во власть привычкам и рутинам черни, чувствуешь самого себя остановленным в своем движении вперед, говоришь себе, зачем этот человек мешает мне итти, когда он должен был вести меня. Это поистине бывает со мною всякий раз, когда я думаю о вас. А думаю я о вас столь часто, что совсем измучился... Я убежден, что вы можете принести бесконечное благо этой бедной России, заблудившейся на земле. Не обманите вашей судьбы, мой друг».

---

[1]) М. Покровский, Очерки по истории революционного движения в России, стр. 34.

[2]) М. Покровский, там же.

Быть может, Чаадаев был прав в своем желании видеть Пушкина Робеспьером своего времени, но у него не было ни малейшего основания жаловаться на отсталость и рутинерство Пушкина. Конечно, у Пушкина не было строго продуманного революционного мировоззрения, но его политические симпатии были целиком на стороне декабристов. Помимо тесной дружбы с декабристами Кюхельбекером, Пущиным, Рылеевым и др., его увлекало непреклонное геройство их замыслов, та потрясающая, благородная жертва, на которую шли эти мученики. Освобождая русскую литературу от феодальной напыщенности и демократизируя русскую поэзию, Пушкин острее всякого другого ощущал давление феодальной неподвижности в жизни. Всякий разрыв с рутиной, всякая смелая попытка нанести смертельный удар крепостному рабству и тирании наполняли его поэзию ярко-революционным духом. Стихотворения, относящиеся к началу двадцатых годов, горят воинственным нетерпением:

Что ж битва первая еще не закипела? —

восклицает он в 1821 году, и, охваченный мстительной ненавистью революционера, продолжает с зловещим пафосом:

Увижу кровь, увижу праздник мести!..

За это пристрастие к республиканской выразительности Пушкин в том же году подвергся длительной ссылке — сперва в захолустный Кишинев, потом в Одессу; а оттуда в 1824 году внезапным распоряжением начальства (из боязни, как полагают, побега Пушкина за границу) переведен на безвыездное житье в сельцо Михайловское, Псковской губ., где и застало Пушкина декабрьское восстание. По счастью, Пушкин успел сжечь все бумаги, прежде чем они попали в руки тайной полиции; иначе ему бы, конечно, не миновать судьбы поэта Одоевского, попавшего с декабристами в Сибирь. В 1826 году Пушкин получил разрешение возвратиться в столицу. Поэт сразу же ощутил на себе «пожатье каменной десницы» реакции: царь Николай I об'явил себя цензором его произведений. Узнав о том, что жена декабриста Волконского отправляется к мужу в Сибирь, Пушкин переслал через нее свое знаменитое послание декабристам:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье:
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Пробудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора!
Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут, и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Этим прощально-революционным посланием надолго обрывается жизнерадостное настроение Пушкина. Беспощадная рука Николая тщательно вычеркивала из жизни воспоминание о людях 14 декабря. Пушкин в эти годы угрюмо ушел в себя. В его поэзии зазвучали печальные, пессимистические ноты:

Цели нет передо мною,
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

Подавленное тоскою воображение рисовало картины одна другой безысходнее:

Мечты кипят в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток.
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Реакция нагло торжествовала. Приходилось либо молчать, либо употребить в дело иносказание. И вот опять для изображения этой зачумленной действительности Пушкин прибегает к обобщающей символической картине, и от имени несуществующего английского драматурга пишет мрачные похоронные сцены, которым дает название — отрывки из трагедии «Пир во время чумы». Трагедия открывается речью неизвестного «молодого человека», носящей характер загадочного пролога:

Почтенный председатель! Я напомню
О человеке, очень нам знакомом,
О том, чьи шутки, повести смешные,
Ответы острые и замечанья,
Столь едкие в их важности забавной,
Застольную беседу оживляли
И разгоняли мрак, который ныне
Зараза, гостья наша, насылает
На самые блестящие умы.
. Не может быть,
Чтоб мы в своем веселом пированьи
Забыли Джаксона!..

Но тот, кто вчера еще своими застольными беседами «разгонял мрак», сегодня забыт. Его недавние друзья и собутыльники распевают гимны в честь чумы:

Царица грозная, чума
Теперь идет на нас сама,
И льстится жатвою богатой,
И к нам в окошко и день и ночь
Стучит могильною лопатой...
Что делать нам? И чем помочь?..
Зажжем огни, нальем бокалы, утопим весело мы.

Проповедь старого священника, пытающегося раз'яснить, расточаемые чуме,

Смущают тишину гробов и землю
Над мертвыми телами потрясают —

пирующая компания встречает насмешками и бранью.

Чем грубее и оглушительнее становится победный грохот черного стана, или, как иносказательно называет реакцию в своих трагических сценах Пушкин — «грохот телеги, наполненной мертвыми телами и управляемой негром», — чем беззастенчивее звучали гимны в честь чумы, тем неотступнее вставал перед Пушкиным вопрос о смысле героической жертвы.

...Не может быть,
Чтоб мы в своем веселом пированьи
Забыли Джаксона!

Все чаще и чаще обращается мысль Пушкина к теням погибших декабристов. Печально обвеяны строки его «Воспоминания» в 1828 г. И той же грустной задумчивостью повиты заключительные строки «Евгения Онегина» — в 1830 году:

Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те д а л е ч е,
Как Сади некогда сказал.
Без них Онегин дорисован...

На протяжении многих лет любовь к декабристам остается заветнейшей и гнетущей тайной поэта. Но он не мог открыть этой тайны современникам. Его глубоко волновало и как человека и как поэта беззаветное мужество декабристов. Для него декабристы были людьми, решившими пожертвовать собою, чтобы показать дорогу грядущим поколениям. Потрясенный подвигом их трагической жертвы, но не имея возможности воспроизвести все характеры и события в их подлинном виде, Пушкин мучительно ищет равнозначных психологических образов. По обыкновению, он обращается к прошедшему, чтобы ссудить его колоритом собственных настроений. В первую очередь мысль его устремляется к Радищеву. Но свирепые псы николаевской цензуры давно уже скалили зубы, и это было известно Пушкину. Не без тайного трепета писал он в стихотворении «Предчувствие»:

Снова тучи надо мною
Собралися в тишине.
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне.
Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?

Бурной жизнью утомленный,
Равнодушно бури жду:
Может быть, еще спасенный,
Снова пристань я найду...

Осторожно подготовляя почву, Пушкин, повидимому, пытается обмануть бдительное око цензуры. И тут, в этой осторожной угодливости поэт проявил непростительное малодушие. Чтобы отвлечь от себя всякое подозрение в предосудительной тенденции, он запятнал себя вдвойне фальшивой игрой: он облекся в совершенно несвойственный ему костюм патриота тогдашних дней и притворился резким противником Радищева, пытаясь под этим патриотическим одеянием безопасно протащить свое преклонение перед героической личностью Радищева. В статье, озаглавленной «Возражение на книгу Радищева», Пушкин обрушился на известную книгу Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Эти критические заметки, написанные в духе натянутого патриотизма с выставлением на показ своей благонамеренности, были бы совершенно непонятным диссонансом в творчестве Пушкина, если бы за ними, как за колючей изгородью, не скрывалось тайное восхищение революционным мужеством Радищева.

«Мелкий чиновник, человек без всякой власти, без всякой опоры, — дипломатически резонерствует Пушкин, — дерзает вооружаться против общего порядка, против самодержца, против Екатерины! И заметьте заговорщик надеется на соединенные силы своих товарищей... А Радищев один! У него нет ни товарищей, ни соумышленников. В случае неуспеха, — а какой успех может он ожидать? — он один отвечает за все, он один представляется *жертвою* закону. Мы никогда не почитали Радищева великим человеком. Поступок его всегда казался нам преступлением, — продолжает отгораживаться Пушкин... — Но со всем тем не можем в нем не признать преступника *с духом необыкновенным; политического фанатика, заблуждающегося*, конечно, *но действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарской совестливостью*».

«Преступник», называемый «жертвою» царского правосудия. «Преступник», поражающий высочайшим полетом героизма, фанатической самоотверженностью и рыцарским благородством, и к тому же отделенный всего тремя десятками лет от Пестеля, Муравьева и Кузьмина. Сквозь овечью шкуру благонамеренных уверток и оговорок этой характеристики слишком явно высовываются львиные когти революции.

Пришлось обратиться к сюжетам более древним, где связь с современностью оставалась бы скрытой под пылью столетий. Однако сюжет нужен был такой, в котором психологический смысл событий не был бы нарушен, и все мотивы, характеры и поступки сохранили бы полностью колорит «фанатизма самоотвержения и рыцарской совестливости». Плодом этих долгих и упорных исканий явились четыре отрывка «Египетских ночей». И тут интересно проследить, с какой исключительной осторожностью подбирал и оттачивал свои замаскированные образы Пушкин. Сперва мысль его обращается к Титу Петронию, изящному философу-аристократу времен Нерона, вынужденному покончить самоубийством по предписанию императора. Но, очевидно, и самая тема (казнь по приказанию императора), и возможность других сопоставлений между аристократом-революционером Петронием и блестящим кавалергардом, ад'ютантом главнокомандующего, Пестелем, показалось Пушкину чересчур наводящими и опасными, и он отказался от сюжета, не доведя его обработки даже до половины. Но изучая Петрония по первоисточникам, Пушкин наткнулся на замечание Аврелия Виктора, который пишет, что «Клеопатра назначила смерть ценою своей любви, и что нашлись обожатели, которых такое условие не испугало». Эта тема мгновенно овладевает воображением Пушкина. Он подвергает ее переработке в четырех вариантах, при чем шаг за шагом Пушкин тщательно вытравляет всё из сюжета, что так или иначе могло бы дать повод к малейшему подозрению. Тем не менее даже в четвертом, наиболее профильтрованном и очищенном от «политики» отрывке нетрудно открыть истинное происшествие, т.-е. подлинный психологический остов, послуживший источником вдохновения. К Чарскому, поэту-аристократу, приходит бедный итальянец-импровизатор с просьбой помочь ему устроить платный вечер в одной из великосветских гостиных, и тут же показывает Чарскому образцы своего искусства. Чарский колеблется. Как поэт, он восхищен ярким талантом импровизатора, но аристократическое чванство не позволяет ему афишировать свое знакомство с бедным собратом (не то же ли происходило в душе самого Пушкина, боявшегося «скомпрометировать» себя духовным родством с революцией?). В конце концов любовь к искусству одерживает верх над пошлостью, и Чарский горячо принимается за дело. Ему удается устроить вечер у знакомой княгини, и он сам назначает тему импровизатору: Клеопатра и ее любовники по Аврелию Виктору. Импровизатор мгновенно переносит слушателей к истокам Нила, в царство камня и смерти, где владычествует причудливая и сладострастная Клеопатра. Во время одного из пиров она бросает вызов своим поклонникам:

В моей любви для вас блаженство,
Блаженство можно вам купить...
Внемлите мне: могу равенство
Меж вами я восстановить.
Кто к торгу страстному приступит?
Свою любовь я продаю;
Скажите: кто меж вами купит
Ценою жизни ночь мою?

Царица обводит презрительным взглядом своих поклонников и читает на лицах смущение и страх.

Вдруг из толпы один выходит,
Вослед за ним и два других,
Смела их поступь, ясны очи,
Она навстречу им встает.
Свершилось: куплены три ночи,
И ложе смерти их зовет.

Здесь Пушкин творит над нами величайшее чудо преображения, какое только доступно поэтическому гению. Обстановка так фантастична, так далека от нашей эпохи, а страсти так стихийно-могучи, так насыщены пламенем, что в их огне сгорают все бытовые детали, и героями становятся только чувства: стихия любви, столкнувшаяся с таким же стихийно-необузданным мужеством. Лица, откликнувшиеся на вызов Клеоаптры, знают, что расплатою будет смерть, но это их не страшит. Кто эти люди? Не все ли равно. Перед нами только воля, смелый, беззаветный порыв. Вся трагедия ведь разыгрывается только потому, что находятся люди, готовые жертвовать собой. Мысль, захваченная этим психологическим фактом, не вольно ищет широких и обобщающих нитей. Клеопатра легко превращается в тот символ, посредством которого поэт передает нам свою идею, свои тайные мысли.

Внемлите мне: могу равенство
Меж вами я восстановить!

Кто бросает этот повелительный вывоз — стихия любви или стихия свободы? Не все ли равно, чьи цвета начертали на своем знамени рыцари, раз психологические средства одни и те же. Разве каждое восстание и каждая революционная жертва не дышат повелительно-убийственным вызовом «Египетских ночей»? И не с таким ли же требованием обращается к своим палладинам Свобода:

Скажите: кто меж вами купит
Ценою жизни ночь мою?

Разве, идя на Сенатскую площадь, декабристы не знали, что они идут на верную гибель? И не об этом ли говорит нам смерть Ипполита Муравьева, Борисова, Кузьмина, которые тут же на поле битвы Черниговского полка добровольно покончили с собой? Восстановите в памяти всю эпоху декабрьского восстания и перечитайте заново описание трех смельчаков, откликнувшихся на торг смертельной любви:

И первый — Флавий, воин смелый,
В дружинах римских поседелый...
Он принял вызов наслажденья,
Как принимал во дни войны
Он вызов ярова сраженья.
За ним Критон, младой мудрец,
Рожденный в рощах Эпикура,

Критон, поклонник и певец
Харит, Киприда и Амура.
Любимый сердцу и очам,
Как внешний цвет едва развитый
Последний имени векам
Не передал...

Воин, поэт и безвестный юный смельчак. Нетрудно подставить под эти портретные наброски имена полковника Пестеля, поэта Рылеева и юного Каховского. Три смельчака, откликнувшихся на вызов любви. Сенатская площадь была для них ложем Клеопатры, где первый поцелуй русской свободы превратился в поцелуй смерти.

То самое затаенное, что думал Пушкин о Радищеве, о Пестеле, о декабристах и революции, но чего сказать не решался своим современникам открыто и прямо, он завещал потомству в картинах и образах чужой и далекой жизни. И это дошло до нас. Ибо, подобно Шекспиру, Пушкину были известны бытие и телесность давно забытых времен. И лучше всех величайших поэтов мира он умел обращаться к сердцу грядущих поколений.

4.

Два обстоятельства вынуждали Пушкина прибегать к законспирированным образам: крепостническая идеология тогдашнего дворянства и глубокая ненависть к поэту придворных сфер. Эта ненависть началась еще 1818—1820 годах и была вызвана не столько революционными одами и колкими эпиграммами молодого поэта, сколько уверенностью правительства, что Пушкин является вдохновителем многих тайных кружков... После декабрьского восстания у правительства не оставалось больше ни малейших сомнений.

«Пушкин — один из корифеев мятежа» — такова была характеристика николаевской следственной комиссии. В показаниях, сделанных декабристами этой комиссии, имеются согласные указания, как на один из источников, обуявшего Россию вольномыслия, на стихи Александра Пушкина. Нельзя поэтому думать, что выше приведенное «Предчувствие» поэта не имело реальной почвы. С каждым годом вражда к беспокойному поэту возрастала. Его ненавидел Николай, ненавидела тайная полиция с графом Бенкендорфом во главе, ненавидела знать. Пушкин знал об этой нескрываемой ненависти и был чрезвычайно осторожен. В этом царстве тупой аракчеевщины, среди Чичиковых и мертвых душ, пламенному дарованию Пушкина, знавшему иных людей («Иных уж нет, а те далече»), иные времена («Ужасный век! Ужасные сердца!»), предстояло пережить полосу трагического одиночества. Свои заветные мысли он глубоко затаил, превратив свое творчество в гениальную конспирацию в образах. Это была своеобразная борьба гениального поэта с реакцией. Грубая сила николаевской тирании впервые столкнулась с могучей энергией свободолюбивого слова. Попытки «приручить» строптивого поэта оказались бесплодными. Одинокая, сдавленная цензурой мысль

Пушкина неудержимо рвалась к свободе и вольной жизни. Пушкин безустанно читал, учился, работал, чтобы по его давнишнему выражению:

......вознаградить в об'ятиях свободы
Мятежной младости утраченные годы
И в просвещении стать с веком наравне.

Не было области, которой он не уделял бы внимания. Даже отчеты о положении английских рабочих прочитываются им «с величайшим интересом», как мы узнаем из его заметки «Мысли на дороге». Выражения: «Жизнь коротка, замечательные книги теснятся одна за другой», «моя душа расширяется» — так и пестрят в его письмах. С необычайной жадностью впитал в себя Пушкин свободолюбивые идеи боевого европейского либерализма, и в его многогранном даровании нашелся отклик на все волнующие вопросы жизни. Поистине Пушкин имел полное основание говорить о себе:

Давай мне мысль, какую хочешь,
Ее с конца я заострю,
Летучей рифмой оперю,
Взложу на тетиву тугую,
Послушный лук согнул в дугу,
А там — пошлю на удалую —
И горе нашему врагу!

Крушение декабристов и капиталистическое перерождение русской жизни поставили перед Пушкиным вопрос о дальнейших судьбах страны. Такие идейные течения дворянской мысли, как славянофильство в тогдашней форме, были чужды автору «Медного всадника». Он хорошо понимал, что скрывается под «поэзией земледельческого труда» в истолковании Собакевичей. А ведь огромное большинство тогдашних «славянофилов», т.-е. защитников «исконных начал», состояло не из Кавелиных и Самариных, а именно из Собакевичей, Чичиковых и Ноздревых. Поэтому глубоко прав Луначарский, говоря про Пушкина, что «он много страдал потому, что его чудесный, пламенный, благоуханный гений расцвел в суровой, почти зимней, почти ночной еще России» [1]). Недаром у Пушкина вырвалась такая горькая жалоба: «и на кой чорт угораздило меня родиться с душой и талантом в России». Но большим преимуществом Пушкина являлось то, что он жил на земле после того, как стали известны Петрарка и Данте, Шекспир и Байрон, Шиллер и Гете, и что его «угораздило родиться» в России после Петра. Тщательное изучение Данте и Гете значительно помогало Пушкину разбираться в идеологическом смысле происходящих перед ним хозяйственных превращений. При всем отвращении к корыстолюбию и меркантильности своего времени, Пушкин не мог не видеть, что дух корыстолюбия означает одновременно и дух европейской предприимчивости. На его глазах тупое и неподвижное средневековье уступало место торгашеской изворотливости и чичиков-

---

[1]) А. Луначарский, Литературные силуэты, стр. 47.

скому предпринимательству. И от его прозорливости, конечно, не ускользнули все свойственные предпринимателю качества: изобретательность, широкие планы, полеты свободного ума, отвага, упорство и решимость. Об этом свидетельствуют мимолетные блестки, безмятежно разбрасываемые Пушкиным со свойственной ему пластической лаконичностью:

Дитя расчета и **отваги** —
Идет купец взглянуть на флаги.

Или в описании Одессы:

Там хлопотливо торг обильный
Свои под'емлет паруса:
Там все Европой дышит, веет...

Эта самая Европа, отраженная в книгах иностранных художников, наглядно показывала Пушкину, что завоеватель, купец, организатор и ростовщик — все четыре души одновременно — живут в груди предпринимателя. Классический тип предпринимателя — это Фауст:

Свой каждый план я превращаю в дело;
И тут всего важней — хозяйский глаз и кнут
— Эй, слуги, встать! — и мигом все бегут
Кряхтеть и преть над тем, что я придумал смело.
— Живее за станки! За грабли и лопаты!
Пусть каждый сделает намеченный урок.
Усердие и труд пойдут прилежным в прок:
Уж я не откажусь от платы тароватой.
Таков закон: нужна, — чтоб вызвать ловкость рук —
Одна лишь голова на сотни тысяч слуг [1]).

Не только Гете отождествляет дух Фауста с духом капиталистического предпринимательства, но и народ, создавший легенду о Фаусте, противопоставляет в лице последнего буржуазное мышление средневековой вере... В противоположность окостеневшему средневековью Фауст восстает против слепой веры отцов, он не хочет больше коснеть в нищете и невежестве, он отказывается от загробного блаженства и, продав душу сатане капитализма, требует себе науки, власти и радостей жизни. Таким русским Фаустом является в глазах Пушкина Петр I. Подобно Фаусту, он отпал от старины, продался диаволу капиталистической Европы и повлек омоложенную Россию на всеобщее европейское торжище. Крупно-революционная личность Петра издавна привлекала Пушкина. Уже в ранних заметках, относящихся к 1822 г., мы под рубрикой «Исторические замечания» находим ряд чрезвычайно интересных набросков. В одном месте Пушкин сравнивает Петра с Робеспьером. Подобно последнему, Петр железной рукой осуществлял свои революционные задачи, не считаясь с воплями и бедствиями тех, кто попадал под колесницу истории. Поэт называет Петра «северным исполином», гений которого «вырывался за пределы своего века». В течение многих лет Пушкин усердно изучал

[1]) **Гете**, Фауст, перевод мой.

петровскую эпоху и делал на эту тему всевозможные выписки. Петр неоднократно фигурирует в сочинениях Пушкина: в «Полтаве», в повести «Арап Петра Великого», в стихотворениях «В надежде славы и добра» и «Пир Петра Великого» и в поэме «Медный всадник». В дождливый осенний вечер 1828 года, стоя перед памятником Петра вместе с Адамом Мицкевичем, Пушкин, по словам польского поэта, сказал: «Петр первый открыл, что путь к величию сводится к тому, чтобы сделать Россию европейской!».

Был ли ясен для Пушкина социально-экономический смысл петровских преобразований или нет, его, во всяком случае, глубоко занимала та беспощадная борьба, которую вел русский торговый капитал, возглавляемый Петром, с феодальным сословием служилых дворян. Судя по первоначальному стихотворному предисловию к «Медному всаднику», впоследствии опущенному автором и напечатанному под отдельным названием «Родословная моего героя», Пушкину рисовалась вначале более широкая историческая эпопея, переносившая столкновение между Петром и Евгением Езерским в более отдаленную эпоху. Но шипение славянофильствующего лагеря, не скрывавшего своей ненависти к Европе (а тем самым и к Петру) после декабрьского восстания, повидимому, внушило Пушкину мысль превратить героя поэмы в жалкого последыша одного из старинных противников Петра. Ничтожный канцелярский чиновник, из обнищалых дворян, которых так много появилось с переходом на денежное хозяйство, Евгений питает свирепую ненависть к Петру, которого считает виновником всех несчастий. Пушкин по обыкновению рисует несчастия Евгения в замаскированных образах: Евгений— жертва стихии, разнузданной Петром. Измученный и усталый, Евгений долго бродит по улицам Петербурга в ночной мгле, и вдруг, невдалеке от Сенатской площади, перед ним вырастает «гигант на бронзовом коне».

Евгений вздрогнул. Прояснились
В нем страшно мысли. Он узнал...
Того, чьей волей роковой
Над морем город основался...
Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О, мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте уздой железной
Россию вздернул на дыбы?..
По сердцу пламень пробежал,
Вскипела кровь, он мрачно стал
Пред горделивым истуканом —
И, зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой черной:
«Добро, строитель чудотворный!»
Шепнул он, злобно задрожав:
«Ужо тебе!» И вдруг стремглав

Бежать пустился. Показалось
Ему, что грозного царя,
Мгновенным гневом возгорясь,
Лицо тихонько обращалось...
И он по площади пустой
Бежит, и слышит за собой,
Как будто грома грохотанье, —
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой —
И, озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется всадник медный
На звонкоскачущем коне.
И во всю ночь безумец бедный,
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду всадник медный
С тяжелым топотом скакал.

Эту поэму Пушкина почему-то принято называть загадочной. Ей, пожалуй, нельзя отказать в аллегоричности. Но от приведенной картины, где скульптура и музыка приходят на помощь слову, чудно веет на нас великой мыслью. Рядом с фигурой бронзового гиганта таким раздавленным карликом кажется Евгений. И в этом разгадка всей поэмы: Россия должна быть и будет европейской; и не бессильной злобе маленьких Евгениев задержать ее стремительный взлет! С этой точки зрения особенный интерес приобретают воспоминания П. П. Вяземского, ближайшего друга Пушкина.

«В чтении поэмы самим Пушкиным, — говорит Вяземский, — потрясающее впечатление производил монолог обезумевшего чиновника перед памятником Петра, заключавший в себе около тридцати стихов, в котором слишком энергически звучала ненависть к европейской цивилизации... Я помню впечатление, произведенное им (монологом) на одного из слушателей. Аркадия Осиповича Россетти, и мне как будто помнится, он уверил меня, что снимет копию для будущих времен» [1]).

В «Медном всаднике» вылилась у Пушкина вся его восхищенная любовь к Петербургу, символизирующему в глазах поэта европейскую культуру, и сказалась вся его уверенность в неминуемом торжестве этой культуры. А последнее, т.-е. торжество европейской культуры, всегда рисовалось Пушкину, как свержение царского деспотизма. Но откуда же ждать революционного пробуждения после разгрома декабристов? На какие силы может рассчитывать Россия? Не на выступление героических одиночек, решает Пушкин, а на революционное движение народных масс. И художественным эквивалентом этих мыслей являются все крупнейшие произведения Пушкина последнего периода жизни. Увенчав героизм декабристов в «Египетских ночах», Пушкин сосредоточивает все силы своего гения на воскрешении тех исторических моментов, когда бразды правления переходили в руки народных

---

[1]) Пушкин по документам Остафьевского архива, стр. 71—72.

масс: эпоха самозванца («Борис Годунов»), пугачевский бунт («Капитанская дочка», «История Пугачевского бунта»), восстания вассалов («Сцены из рыцарских времен»). Если к этому прибавить «Русалку» и ряд неоконченных набросков из народной жизни, если вспомнить, что в последние годы своей жизни Пушкин решительно вступил на путь общественной журналистики и что, будучи издателем «Современника», он незадолго до смерти серьезно подумывал о привлечении к журналу Белинского, то общественная физиономия Пушкина обрисуется с достаточной полнотой и станет вполне понятной та неукротимая ненависть, которой, как удушливым кольцом, царское правительство окружило этого последовательнейшего из республиканских декабристов. В настоящее время уже не остается ни малейших сомнений, что вся длительная драма Пушкина с подметными письмами и трагической дуэлью была очень ловко разыгранной интригой, в которой участвовали и двор, и начальник тайной полиции, граф Бенкендорф, и министр Уваров, и множество добровольцев из «великосветских» жандармов — с князьями Долгоруковым и Голицыным во главе. Когда товарищи Пушкина сообщили Бенкендорфу о предстоящей дуэли, то он, обязанный предотвратить ее, послал жандармов не на Черную речку — к месту дуэли, а в Екатерингоф,— будто бы по ошибке. Даже и мертвый Пушкин продолжал внушать этой своре ту же грязную ненависть. Поклонение таланту истолковывалось как враждебная правительству демонстрация. Жандармы неотлучно дежурили у трупа.

Вот что рассказывает по этому поводу вышеупомянутый П. П. Вяземский:

«Клевета продолжала терзать память Пушкина, как терзали при жизни его душу... Желание Строгонова устроить похоронную процессию возможно великолепнее было принято графом Бенкендорфом за попытку демонстрации... В день, предшествовавший ночи, в которую назначен был вынос тела, в доме, где собралось человек 10 друзей и близких Пушкина, чтобы отдать ему последний долг, в маленькой гостиной, где мы все находились, очутился целый корпус жандармов. Против кого была выставлена эта сила, весь этот военный «парад»? Я не касаюсь пикетов, расставленных около дома и в соседних улицах».

Так царская Россия, задолго до критиков, скоро и верно оценила революционное значение Пушкина. И пока отдельные либеральные группки пугливо придумывали, как попышнее устроить погребальное шествие, ночью жандармы на курьерских мчали обернутый рогожей засмоленный ящик с телом поэта, чтобы без особых встреч и торжественных почестей зарыть его поскорее в землю.

5.

Если события, приведшие к восстанию на Сенатской площади, являются тем наглядным уроком, в котором Россия осознала себя политически и тем самым вступила на путь европейской цивилизации, то поэтическое творчество Пушкина, блистающее остротой и ясностью мысли, чарующее таким мятежным задором и солнечной проповедью простора и воли, поставила нас

вровень со всей европейской цивилизацией. Мы все преклоняемся перед Пушкиным, но мы еще весьма далеки от всеобщего понимания его гения. Не только Писарев в своем наивном задоре договорился до отрицания Пушкина. Такой писаревский эстетический нигилизм по отношению к Пушкину живет и поныне, хотя и в менее откровенной форме. Поныне многие критики осуждают в нем тот жизнерадостно-артистический дух, который был так пленителен в Пушкине для Ленина, но который, по мнению очень многих, под покровом веселых и беззаботных песен сеет общественный квиэтизм и прославляет безразличные пустяки. Вот, напр., одна из таких оценок Пушкина, вышедшая из-под пера П. Кропоткина:

«По красоте Пушкин стоит, действительно, не ниже самых величайших поэтов. Но в поэзии Пушкина нет тех глубоких и возвышенных идей, которые так характерны для Гете, Шиллера, Байрона, Броунинга или Виктора Гюго. Необыкновенное изящество, простота и выразительность образов, необычайное уменье владеть формой, — короче говоря, красотой формы, а не красота идей — отличают поэзию Пушкина. Но люди ищут более всего высоких, вдохновенных, благородных идей, которые делали бы их лучшими. А этого у Пушкина нет»[1].

Другие не столь аскетически настроенные критики, готовы признать за Пушкиным какие угодно достоинства, но только не право на всеевропейское признание. Даже Тургенев не был свободен от подобного скептицизма. Он признавал всю мужественную прелесть и силу пушкинского языка, всю правдивую простоту и честность его ощущений. Понимал, конечно, что Пушкин охватил одним взмахом всю русскую жизнь, что прошедшее жило в нем такою же телесною жизнью, как настоящее и предсознанное им будущее. И все же, признавая, «что заслуги Пушкина перед Россией велики и достойны народной признательности», Тургенев, с видом присяжного судьи по части всемирного искусства, категорически добавляет: «не могу в нем признать всемирного поэта».

А между тем, даже не касаясь «Евгения Онегина», — произведения, не имеющего себе равного в мировой литературе по легкости, блеску и красоте изложения и по социально-психологической глубине и насыщенности, — у Пушкина имеется целый ряд созданий столь же глубоких и единственных в своем роде, как «Гамлет» или «Отелло» Шекспира. Сам Пушкин хорошо сознавал, что его провидящие очи так же легко и ясно читают в сокровенных тайниках человеческого сердца, как и очи великого Шекспира. И когда, между прочим, Пушкина упрекали, что в «Полтаве» любовь Марии к старику Мазепе является психологической фальшью, он в следующих выражениях отстаивал свою правоту:

«Журналы, — писал он в «Критических заметках», — об'явили мне, что от роду не видно, чтобы женщина влюбилась в старика. Мария — говорили они — увлечена была тщеславием, а не любовью: велика честь для дочери

---

[1]) П. Кропоткин, Идеалы и действительность в русской литературе, стр. 45.

генерального судьи быть наложницей гетмана!.. Но любовь есть самая своенравная страсть. Не говоря уже о безобразии и глупости, предпочтительных молодости, уму и красоте, я вспомнил предания мифологические. Превращения Овидиевы, Леду, Филлиру и т. д., и принужден был признаться, что все сии вымыслы не чужды поэзии, или, справедливее, ей принадлежат. А Отелло, старый негр, пленивший Дездемону рассказами о своих странствиях и битвах... А Мирра, внушившая итальянскому поэту одну из его лучших трагедий?..»

Пушкин забыл упомянуть еще об одном изображении такой же странной и страстной любви. В «Тысяча и одной ночи» рассказывается об одной прекрасной принцессе, влюбившейся в отвратительного негра, который был убит ее мужем и для воскрешения которого красавица-принцесса продала свою душу кровожадному чародею. Если на место мужа арабской сказки поставить отца Кочубея из «Полтавы», то мы получим сюжет, весьма напоминающий любовь Марии к Мазепе. Это особенно относится к сцене, в которой черный труп полуоживает под отчаянными поцелуями влюбленной красавицы. Во всяком случае, необузданно-страстная привязанность юной красавицы к старику носит более правдивый характер в пушкинской поэме (как и в арабской сказке), чем то боязливо-нежное увлечение, которым охвачена Дездемона. Недаром у многих (в том числе у Гейне и Пушкина) возникло подозрение, что честный Яго не совсем был несправедлив в своих скептических суждениях о любви Дездемоны к мавру.

То же нужно сказать и об изображении Клеопатры. У Шекспира [1]) Клеопатра — скучающая и состарившаяся содержанка. Ее измены скорее результат какого-то гаденького любопытства и низкой испорченности натуры. Она предана Антонию, как богатому и щедрому покровителю, охотно исполняющему ее коварные прихоти... Все ее змеиные повадки — игра пресыщенности и коварства. У Пушкина в «Египетских ночах» Клеопатра гораздо трагичнее и глубже. Здесь каждая строчка полна всепоглощающего сладострастия. Ее любовь — не игра и не прихоть. Она кипит вожделением, и в своем необузданном безумии сильна, как смерть. Это и влечет к Клеопатре ее любовников, ценою жизни оплачивающих ее ласки. Ее нежность отравлена палящей чувственностью, оттого ее поцелуи имеют вкус яда, смертельного яда, который вместе с причудливым своеволием бушует в жилах ее любви... Клеопатра сама боится той бездны, куда влечет ее стихийное сладострастие, и, расточая щедро свои ядовитые поцелуи, она полна сострадания к своим жертвам. Это не старая нильская змея, как называет ее Антонио у Шекспира, от скуки и пресыщения играющая головами своих любовников, а какая-то могучая, лихорадочно-страстная стихия, которая так же безраздельно владычествует над своими клевретами, как свобода. Стихия любви и стихия свободы здесь полностью покрывают друг друга и своим огненным дыханием испепеляют страх смерти. В европейской литературе нет другого художника, у которого проблема любви и смерти была бы поставлена с такой

---

[1]) Шекспир, Антонио и Клеопатра.

трагической остротой, как в «Египетских ночах». В своем трагическом взлете она подымается до высот благороднейшей коллективной страсти — до беззаветной любви к свободе.

Тех же вершин трагического достигает, как мы видели выше, и «Скупой рыцарь». На этих трагических высотах индивидуальная скупость барона уже превращается в социально-психологический символ.

Еще своеобразнее психологическая драма, которую Пушкин изображает в «Моцарте и Сальери». Впервые в европейской литературе чувство зависти прослежено тут поэтом до мельчайших изгибов, и немые тайные мысли этой гложущей страсти изображены в таких же вечных и глубоко потрясающих образах и картинах, как ревность у Шекспира. И какое тонкое истолкование дано здесь социальной природе зависти — в связи с мещанским убожеством и индивидуальным бессилием Сальери. Как благородно выделяется на этом психологическом фоне свободная, щедрая и титанически-расточительная натура гения, столь родственного Пушкину.

Это расточительное богатство таланта наполняло Пушкина сознанием непреодолимой мощи и внушало ему желание вступать в единоборство с величайшими гениями искусства. Отсюда его «Каменный гость», не уступающий прообразу «Дон-Жуана», и «Фауст», где, по справедливому замечанию Луначарского, «в небольшой сцене Пушкин становится вровень с веймарским полубогом» [1]).

Откуда же этот исполинский размах? Где социально-психологические истоки, питающие это гениальное творчество?

Вместе с другими декабристами, Пушкин попал в полосу революционного шквала, захватившего часть дворянства. Он не был активным участником тех тайных политических обществ, которые покрыли собою Россию, но он был в числе тех передовых элементов русского общества, которые усвоили идеологию освободительного движения, точнее — идеалы Великой Французской Революции. По своим политическим идеалам Пушкин был чистым республиканцем и шел дальше всех декабристов. Дворянин по происхождению, Пушкин, подобно Герцену и Толстому, сумел подняться на такую высоту, что стал в уровень с разночинцем Белинским и подошел вплотную к революционным стремлениям крестьянства. По существу это был один из первых представителей «бессословной» русской интеллигенции. От просыпающегося народа, еще не знающего ни классовых противоречий, ни межклассовой переметчивости и колебаний, Пушкин и усвоил свободолюбивый полет своей мечты и звонкую, жизнерадостную песню. Подобно тому, как из революционной программы полковника Пестеля, блестящего кавалергарда, откровенно выглядывают душа и уши мелко-буржуазного однодворца, так творчество Пушкина продиктовано последнему **мужиком**. Пушкин—весь порождение патриархальной русской деревни, приведенной в движение капиталом и страстно возжаждавшей свободы. И Пушкин велик, как выразитель «общенародной», т.-е. крестьянской идеологии. Именно крестьянская, а не дво-

[1]) Луначарский, Литературные силуэты, стр. 48.

рянская идеология продиктовала Пушкину эту величайшую ненависть к царям и крепостному кнуту, от крестьянской идеологии идет его свирепый протест против вторжения капитала (хотя он и видит его строительный дух); отсюда же его революционность в области языка с решительной демократизацией слова и революционным «вселением» мужицких образов (сказки) в великокняжеские особняки и будуары. Сильно и образно выражена эта мысль у Луначарского:

«Встал богатырь; силушка по жилочкам так и переливается. Уже предчувствуются горести и скорби, уже предчувствуются вся глубина и мука отдельных проблем, но пока не до них, и даже они радуют. Все радует, ибо сильна эта прекрасная юность. В Пушкине дворянине на самом деле просыпался не класс (хотя класс и наложил на него некоторую свою печать), а народ, нация, язык, историческая судьба. Вот эти семена, которые привели-таки в конце концов к нашей горькой и ослепительной революции. Пушкин послал первый привет жизни, бытию в лице тех миллиардов человеческих существ в ряде поколений, которые его устами впервые вполне членораздельно заговорили... Все прошлое Пушкина — это наше русское свежее варварство, это — юность просыпающегося народа... Его будущее — все будущее русского народа, громадное, определяющее собою судьбы человечества даже с того холма, на котором стоим мы еще в загадочной дымке» [1]).

В этом «первом привете» Пушкина, в этой перекличке гения с грядущими веками и заключается тонизирующее значение его творчества для нашего времени. Великий поэт не был и по существу своего характера не мог быть активным политическим борцом. Он не был также «гражданским» поэтом. Но, не будучи гражданской, его поэзия шла по линии идейных стремлений передовых слоев тогдашней интеллигенции, отстаивающих интересы крестьянства. Так, оставаясь самим собою, но оставаясь в то же время верным и зову жизни, поэт, незаметно для самого себя и, зачастую, незаметно для других, совершал свое гражданское служение, совершал в той форме, которая была доступна только ему одному, и никому другому. Я говорю о духе эстетических стремлений, свойственных поэзии Пушкина: о восходящей линии его творчества. Пушкин сам хорошо сознавал свое значение для позднейших эпох и выразил это довольно определенно в полемике с придирчивой критикой:

«Произведения великих поэтов, — писал он, — остаются свежи и вечно юны; и между тем как великие представители старинной астрономии, физики, медицины и философии один за другим уступают место, одна поэзия остается на своем неподвижно и никогда не теряет своей юности».

Здесь дело идет не о «надклассовой» поэзии, а о всечеловеческой значительности некоторых произведений искусства. Мысли Пушкина по этому вопросу вполне адэкватны с мыслями Маркса: «Надо быть идиотом, чтобы не видеть, какое значение имеет античная трагедия для пролетариата», или с замечанием Ленина: «Как можно не любить Пушкина?». Смысл всех этих

---

[1]) А. Луначарский. Литературные силуэты, стр. 49.

утверждений сводится к одному: у поэзии имеются свои эмоционально-идейные способы воздействия, такие же неумирающие прочные и неизменные, как солнце, весна, любовь. Т.-е. поскольку психо-биологическая природа человека во все времена и при всех исторических событиях остается неизменной, и дело идет о таких одинаковых, первичных и всечеловеческих ценностях, как солнце и мир, рождение и смерть, молодость и старость, здоровье и болезнь, любовь и ненависть, верность и предательство, дружба и зависть, — «произведения великих поэтов никогда не теряют своей юности». Но это вовсе не значит, будто указанные первичные темы остаются вне социального воздействия эпохи.

«Если бы природа, любовь, дружба не были связаны с социальным духом эпохи, — говорит Троцкий, — лирика давно прекратила бы свое существование. Только глубокий перелом истории, т.-е. классовая перегруппировка общества, встряхивает индивидуальность, устанавливает другой угол лирического подхода к основным темам личной поэзии и тем самым спасает искусство от вечных перепевов» [1]).

В самом деле любовь Монтекки и Капуллети (Ромео и Джульета) совсем не похожа на роман Татьяны Лариной с Онегиным или торг между Клеопатрой и Флавием в «Египетских ночах».

И поскольку декабрьское восстание (точнее, восстание Черниговского полка) звучит социально-психологической доминантой в творчестве Пушкина, последнее сплошь является выразительной пропагандой боевого, революционного мирочувствования.

Этого не почувствовали современники Пушкина. Не только Чаадаев, но даже Белинский. И в то самое время, когда Пушкин носился с мыслью о приглашении Белинского в свой журнал, знаменитый критик в весьма решительных выражениях заговорил о «бесплодном, грязном и туманном» конце Пушкина:

«Правда, эти повести, — писал Белинский обо всех пушкиниских произведениях 32 — 35 годов, — занимательны, их нельзя читать без удовольствия; это происходит от прелестного слога, от искусства рассказывать; но они не художественные создания, а просто сказки и пробасенки; их с удовольствием и даже с наслаждением прочтет семья, собравшаяся в скучный и длинный вечер у камина; но от них не закипит кровь пылкого юноши, не засверкают очи его огнем восторга, они не будут тревожить его сна: нет, после них можно задать лихую высыпку. Будь эти повести первое произведение какого-нибудь юноши, этот юноша обратил бы внимание нашей публики; но как произведения Пушкина—осень, холодная, дождливая осень после прекрасной, благоухающей весны, словом—прозаические бредни, фламандской школы пестрый вздор» [1]).

Так писал Белинский о Пушкине 32 — 35 годов, когда в творчестве поэта выветрились последние остатки дворянской идеологии. К произведе-

---

[1]) Л. Троцкий. Литература и революция, стр. 7.

[1]) «Молва», 1835 г.

ниям упадка отнесены и «Пиковая дама», и «Медный всадник», и «Египетские ночи». Страницы, полные изумительной прозорливости, образы, несравненные по своей героической напряженности, отброшены, как «прозаические бредни».

Прямой и непосредственный предшественник Герцена, Пушкин по сей день остается на положении полупрощенного грешника — камер-юнкера и баяна правящего дворянства.

Пора приступить к подлинному изучению пушкинских творений. Пора освободить великого поэта из засмоленного ящика, в который законопатили его царские жандармы и смиренномудрые архивариусы.

Заметки об искусстве.

А. Воронский.

I. Интуиция и техника.

Может быть, своевременно напомнить особенно молодому по-октябрьскому поколению одно известное свидетельство, запечатленное Л. Н. Толстым в «Анне Карениной». Свидетельство это относится к процессу художественного творчества и является чрезвычайно ценным в нынешней литературной сумятице и разноголосице, в домашней критической стряпне и измышлениях, выдаваемых к тому же за марксистские откровения. Повторять иногда хорошие зады очень полезно.

Речь идет о том месте романа, где Вронский и Анна Каренина знакомятся с художником Михайловым. Немногие страницы, посвященные этому знакомству, полны значительности, простоты, художественной правды и вводят в тайники художественного творчества.

> «Он (Михайлов. *А. В.),* — рассказывает Толстой, — делал рисунок для фигуры человека, находящегося в припадке гнева. Рисунок был сделан прежде, но он был недоволен им. «Нет, тот был лучше... Где он?» Он пошел к жене и, насупившись, не глядя на нее, спросил у старшей девочки, где та бумага, которую он дал им. Бумага с брошенным рисунком нашлась, но была испачкана и закапана стеарином. Он все-таки взял рисунок, положил к себе на стол и, отдалившись и прищурившись, стал смотреть на него. Вдруг он улыбнулся и радостно взмахнул руками.
>
> — Так, так! — проговорил он и тотчас же, взяв карандаш, начал быстро рисовать. Пятно стеарина давало человеку новую позу.
>
> Он рисовал эту новую позу, и вдруг ему вспомнилось, с выдающимся подбородком энергичное лицо купца, у которого он брал сигары, и он это самое лицо, этот подбородок нарисовал человеку. Он засмеялся от радости. Фигура вдруг из мертвой, выдуманной стала живая и такая, которой нельзя уже было изменить. Фигура эта жила и была ясно и несомненно определена. Можно было поправить рисунок сообразно с требованиями этой фигуры, можно и должно даже было иначе расставить ноги, совсем переменить положение левой руки, откинуть волосы. Но, делая эти поправки, он не изменял фигуры, а только откидывал то, что скрывало фигуру. Он как бы снимал с нее те покровы,

из-за которых она не вся была видна; каждая новая черта только высказывала всю фигуру во всей энергической силе, такою, какою она явилась ему вдруг от произведенного стеарином пятна».

Откинем пока, что пишет Л. Н. Толстой о снятии покровов, и остановимся на ином моменте. В нашу пору со стороны писателей и критиков так называемого левого фронта («Леф», «Горн», сюда следует отнести и формалистов) ведется довольно энергичная литературная кампания против толкования искусства, как творческого акта. «Творчество», «интуиция», «вдохновение» подвергаются злостному осмеянию: одни считают эти понятия буржуазными и дворянскими, другим они кажутся ненаучными. Их пытаются заменить «работой», «мастерством», «ремеслом», «энергичной словообработкой», «приемом», «техникой», «деланием вещей». Такие и подобные попытки находятся, однако, в явном противоречии с фактами, установленными и психологами, и художниками. Противоречит им и то, что пишет Л. Н. Толстой о Михайлове. В самом деле художника несколько раз осеняет «вдруг»; стеариновое пятно вдруг дало новую нужную позу фигуре, новая поза вдруг помогла вспомнить подбородок купца, который оказался как нельзя более кстати, и, наконец, Михайлов вдруг твердо познал, что фигура «определена». Интуицией, вдохновением, творчеством, чутьем мы называем мнение, истину, сумму представлений, идей, в которых мы уверяемся, минуя сознательное аналитическое мышление. В интуиции нужные идеи и мнения образуются в сфере подсознательного, они всплывают на поверхность сознания именно вдруг, непосредственно, неожиданно. Они не являются простой игрой чувств и воображения. Мы знаем, мы чувствуем, мы чуем, что это так, но знание добыто не с помощью логики. Если такова природа интуиции, а она такова, то в рассказе Л. Н. Толстого о творчестве Михайлова мы имеем типичнейший пример художественной интуиции. Особенно в этом убеждает то, что художник вдруг почувствовал, почуял, внутренне понял, что фигура определена. Художник потом может осмыслить, логически обосновать, почему фигура «определилась», может оказаться не в состоянии этого сделать, но первоначально, но в основе это «вдруг» является решающим. Оно руководит художником, оно прекращает поиски, колебания, и он начинает дальше уверенно, твердо и быстро работать.

Процесс творчества далек от сомнамбулического состояния, он протекает целиком «в здравом уме и памяти». Дальше Л. Н. Толстой подчеркивает, что Михайлов «не мог работать, когда был холоден» и когда был «слишком размягчен» и «слишком видел все»; своеобразие творчества только в том, что оно происходит не обычным путем логических размышлений.

В интуиции нет ничего божественного, мэт-эмпирического. Интуиция художника начинает свою работу гораздо раньше, с восприятия, с собирания материала. Описывая встречу Вронского, Анны и Голенищева с Михайловым у него в мастерской, Толстой рассказывает:

«Он (Михайлов. *А. В.*) подходил быстрым шагом к двери своей студии, и, несмотря на его волнение, мягкое освещение фигуры Анны, стоящей в тени под'езда и слушавшей горячо говорившего ей что-то

Голенищева и в то же время, очевидно, желавшей оглядеть подходящего художника, поразило его. Он и сам не заметил, как он, подходя к ним, схватил и проглотил это впечатление, так же как и подбородок купца, продававшего сигары, и спрятал его куда-то, откуда он вынет его, когда понадобится...». «Несмотря на то, что его художественное чувство не переставая работало, собирая себе материал, несмотря на то, что он чувствовал все большее и большее волнение от того, что приближалась минута суждений о его работе, он быстро и тонко из незаметных признаков составлял себе понятие об этих трех лицах».

Сознание Михайлова было занято мыслью, как посетители оценят его картины, а художественное чувство помимо сознания, неприметно для самого художника, собирало, воспринимало материал. Процесс происходил интуитивно. При этом Михайлов собирал материал не беспорядочно. Он прятал в свою кладовую не все. Бессознательно проглатывая, он в то же время выбирал только то, что ему может пригодиться. Он отметил мягкое освещение Анны, у Вронского отметил, в особенности, скулы; Голенищева тоже запомнил; «но,—замечает Толстой, он помнил тоже, что это было одно из лиц, отложенных в его воображении в огромный отдел фальшиво-значительных и бедных по выражению».

Разумеется, художник, бессознательно производя такой отбор, делает то, что свойственно каждому смертному. Каждый из нас часто выбирает бессознательно и выбирает не все. Представления человека о мире складываются из впечатлений, получаемых от внешнего мира и перерабатываемых в зависимости от склада, от характера данного человека. Он воспринимает только то, на что обращено его внимание, внимание же обусловливается заинтересованностью, направляемой классовой средой. Особенность художника заключается только в том, что он бессознательно выделяет, примечает только типическое и это типическое представляет не отвлеченно, а конкретно, предметно, в образах.

Во избежание недоразумений скажем нашим ратоборцам, выступающим против интуиции в художественном творчестве, что научное творчество тоже покоится в значительной мере на ненавистной им интуиции. Научные предвидения В. И. Ленина несомненно связаны с работой интуиции: недаром говорят и совершенно справедливо, что т. Ленин обладал огромным политическим чутьем, т.-е. интуицией. Множество научных открытий сделаны сначала интуитивно. Аксиомы математики интуитивного происхождения. Интуиция может быть истинной, может оказаться ошибочной. Правильные прозрения древних греков, которые были более интуитивны, чем рассудочны, доказаны позднее и подтверждены анализом, опирающимся на опыт (атомистическая теория, изменчивость и т. д.); наоборот, другие интуиции наши оказались иллюзорными (свобода воли). Но и в искусстве интуитивные истины тоже могут быть подтверждены или опрокинуты с помощью аналитического рассуждения. Критика есть не что иное, как перевод произведения с языка интуиции на язык логики. Первым критиком по отношению к своему произведению является сплошь и рядом сам художник. Но в самом процессе создания

художником Михайловым рисунка (стеариновое пятно — новая поза — подбородок купца, уверенность, что фигура определена) анализ, рассуждения отсутствовали. Словом, интуиция присуща и художнику, и ученому, но у ученого она занимает подчиненное место, а у художника главное. Особенность искусства — в образе. Образ создается преимущественно интуитивно. Великие художники владели огромным даром интуиции. Гений Л. Н. Толстого могучими корнями уходит в интуицию. Вспомните рассказ Блока, как он писал поэму «Двенадцать». Способность художника к перевоплощению, основная для него, целиком интуитивна. Как Толстой мог написать своего поразительного «Холстомера» без интуитивного проникновения в него? Часто приходится слышать от художников утверждения, что они не знают, какие идеи они хотели выразить в своих произведениях. Это потому, что свои интуитивные открытия они не могут перевести на язык логических, аналитических рассуждений. Слова Пушкина, что поэзия должна быть глуповата, относятся прежде всего к интуитивному дару. История искусства знает несметное количество случаев, когда художник выражает в своем произведении одно, а логически толкует его иначе: анализ, логика расходятся с интуицией. Образцом служат «Мертвые души». Эпиграф к «Анне Карениной» противоречит и не подтверждается произведением. Художник Толстой постоянно спорит с Толстым проповедником и мыслителем.

Не надо особо пояснять, художественная интуиция требуется не только от писателя, но и от читателя.

Если бы наши рационалисты полагали сказать, что для художника одной интуиции недостаточно, что интуитивные истины должны проверяться аналитическим способом, что интуицию нужно приводить в гармонию с рассудком, против такой постановки вопроса возражать не следовало бы. Интуиции «слепы», они «без языка», они могут быть ложными. Идеалом художественного типа является художник, в котором богатый дар интуиции сочетается с тонкой аналитической способностью. Таким был Гёте, в наше время Анатоль Франс. Неверно также утверждение, что интуиция по своей природе противоположна рассудочной деятельности, или что рассудок убивает интуицию. Противоположность известная тут есть, но она, как и все противоположности в мире, относительна: ведь интуиции есть не что иное, как истины, открытые когда-то с помощью опыта, рассудка предшествовавшими поколениями и перешедшие в сферу подсознательного. Но если художник с одной интуицией слеп, то художник, который попытался бы создавать свои произведения, опираясь исключительно на «прием», «технику» и т. д., — импотент; он не смог бы создавать, он вращался бы в кругу отвлеченных понятий, но не образов. Большинство тенденциозных произведений создается таким именно путем.

Нынешний техницизм и рационализм, в вопросе об искусстве стремящийся заменить «вдохновение», «творчество», «интуицию» «целесообразным конструированием вещей», «приемом», питается сложными общественными настроениями. Для одних форма, прием, техника сделались самодовлеющими и единственными потому, что содержание нашей советской действительности

им слишком чуждо. Это — точка зрения цеховых специалистов, как правильно отметил тов. Бухарин. Они слишком оторвались от содержания нашей эпохи. Другие из левого лагеря слишком увлечены техницизмом нашего века. Машиностроение и электрификацию они хотят ввести в искусство, не считаясь с природой искусства. Им кажется, что произведение можно также «построить» как любую машину. Но вот на что следует обратить внимание. В нашей советской действительности нарождается новая интеллигентская прослойка. Она образуется из городского мещанства нового покроя, из служащих в сов. учреждениях, из слушателей университетов, из новой «крепкой» деревни. Это не осколок прежней старой интеллигенции, это и не сыновья фабричного рабочего: рабфаковец, комсомолец, это и не партиец. Такой интеллигент связан с революцией, с формирующимся новым бытом. Он взошел на дрожжах революции, но он далек от пролетарской среды, хотя и усвоил «дух времени». Поверхностные начатки марксизма и коммунизма, обычно вульгаризированные, рационализм, практицизм, примитивизм, любовь к вещам, пренебрежительное отношение ко всяким «идеологиям» и «философиям» — это у него все есть. Он почти революционер, но никогда не участвовал в революционном движении, не знает его. Он где-то около партии, около пролетариата, но никогда не будет ни в партии, ни в среде пролетариата. У него складывается свой строй жизни, свой обычай, свое «нутро». Оно совсем иное, чем у правящего класса, поэтому он стремится под эмоциональное сродство подставить рассудочное приспособление. И он уже добился некоторых успехов. Он знает, изучил быт и норов наших органов и учреждений, он «в курсе дел» и часто лучше любого коммуниста он прекрасно знает, где что на потребу. Если он писатель или поэт, он в одну редакцию несет одну вещь с такой-то окраской, в другую с иной. Он «конструирует», «делает», «работает». Творчества тут не надо: во-первых, кто ее знает, что выйдет, если покажешь свои подлинные симпатии и антипатии, а, во-вторых, есть спрос и слава создателю,—что сверх того, то от лукавого. И он тяготеет чаще всего к самым левым направлениям, ибо боится «отстать от века». Такому «позитивному» писателю очень может прийтись по душе теория «делания» и «конструирования». Я не хочу сказать, что, например, сторонники госплана в литературе, конструктивисты новейшего типа именно таковы, но их теория может оказаться весьма притягательной для многих и многих слишком расторопных и всюду поспевающих людей. Это очень вероятно. Теория госплана в литературе сводится к требованию соответствия литературных приемов основной теме. Теория не новая. Ново в этом литературном направлении помимо попытки дальнейшего снижения поэзии до уровня стихотворной прозы в пределах же поэзии, ново оголенное, откровенное равнодушие к самой теме, возведенное в принцип [1]). Какие темы выбирать, о чем писать, как расценивать произведение с точки зрения его содержания— этих вопросов для «госпланщиков» не существует. Поэтому, например, поэтический лик Ильи Сильвинского, одного из вдохновителей литературного госплана, скрыт, темен и непонятен. Сегодня он выступает с цыганскими песнями

---

[1]) См. сборник «Госплан литературы».

и настроениями, завтра с бандитскими, послезавтра с красноармейскими; то он передает речь анархиста, то статью тов. Ленина, но во что «верует» сам поэт, что он сам чувствует, с кем он и против кого — неизвестно. В результате одаренность И. Сельвинского — а он несомненно одаренный поэт, хотя и тяжеловесный — возбуждает недоумение. Такой «об'ективизм» прямо опасен, тем более, что он прикрывается радикальной внешностью. Он очень подходит для оправдания беспринципного приспособленчества и легко может сделаться идеологией для людей, не имеющих нашего советского эмоционального нутра, но «всегда готовых» фабриковать свои «вещи» по заказу.

А таких теперь много.

Современному художнику, который честно намерен слить свой талант со стремлениями наиболее передового в нашу пору класса, нужно, чтобы он не только изучал политграмоту, не только развивал в себе силу аналитического и критического суждения, не только изобретал приемы, но все свои интуитивные и инстинктивные способности чтобы он раскрыл навстречу новой грядущей и наступающей новой жизни. Пусть он могучим даром прозрения ощутит и перевоплотит новую правду земли, пусть почерпнет он из родников этой земли не только «малым» своим разумом, но и «большим», всей природой своей, всем тем, что живет и дремлет в темных и малоисследованных недрах, лежащих за порогом сознания. Это не легко. Наши чувства, наша интуиция неизмеримо больше нашего ума отстают от духа эпохи. Интуитивно проникнуться этим духом трудней, чем усвоить его головным образом. Для этого надобно вжиться и сердцем и помыслом войти в новую общественность. Остальное — техника, стиль, форма — приложится.

Здесь уместно напомнить сцену в мастерской Михайлова пред его картиной «Увещание Пилатом»:

> «— Да, удивительное мастерство! — сказал Вронский. — Как эти фигуры на заднем плане выделяются! Вот техника, — сказал он, обращаясь к Голенищеву...
>
> — Да, да — удивительно! — подтвердили Голенищев и Анна.
>
> Несмотря на возбужденное состояние, в котором он находился, замечание о технике больно заскребло на сердце Михайлова, и он, сердито посмотрев на Вронского, вдруг насупился. Он часто слышал это слово «техника» и решительно не понимал, что такое под этим разумели. Он знал, что под этим словом разумели механическую способность писать и рисовать, совершенно независимую от содержания. Часто он замечал, как и в настоящей похвале, что технику противополагали внутреннему достоинству, как будто можно было написать хорошо то, что было дурно. Он знал, что надо было много внимания и осторожности для того, чтобы, снимая покров, не повредить самого произведения, и для того, чтобы снять все покровы; но искусства писать — техники тут никакой не было. Если бы малому ребенку или его кухарке также открылось то, что он видел, то и она сумела бы вылущить то, что она видит. А самый опытный и искусный живописец-техник одной механической способностью не мог бы написать ничего, если бы ему не откры-

лись прежде границы содержания. Кроме того, он видел, что если уже говорить о технике, то нельзя было хвалить его за нее. Во всем, что он писал и написал, он видел режущие ему глаза недостатки, происходившие от неосторожности, с которою он снимал покровы и которых он теперь уже не мог исправить, не испортив всего произведения. И почти на всех фигурах и лицах он видел еще остатки не вполне снятых покровов, портивших картину».

У нас сейчас пишется очень много статей о художественных произведениях с формальной точки зрения. В этих статьях сколько угодно подробных и подробнейших рассуждений о сюжете, о композиции, о ритме, но никогда нельзя узнать, о чем повествуется в данном произведении и как относится к этому сам автор-критик. Некоторым оправданием для формальных уклонов может послужить пренебрежение со стороны наших революционных кругов к вопросам формы, неизжитое и доселе. Кроме того, вопросы формального порядка для молодого поколения, у которого есть что сказать, но нет надлежащей культурной сноровки, приобрели, несомненно, серьезное значение. Но как бы ни были важны эти вопросы, никогда не следует забывать, что они носят частный характер. Прав Л. Н. Толстой: самый искусный художник будет бессилен со всей своей техникой, если его глазам не открывается особое содержание и границы этого содержания, но совсем не бессилен тот, у кого есть эти вещие глаза и нехватает сноровки.

Как, однако, быть с рассечением произведения на содержание и форму?

Для художника Михайлова техники, отличной от содержания, не существовало. Прав он или не прав? Прав со своей точки зрения, прав как художник. В *процессе* творчества для художника его произведение существует единым, целостным и неделимым. Михайлов не понимал поэтому, как можно расщеплять это единое, целое, противопоставляя технику содержанию. В самом деле, что являлось для Михайлова во время творческой работы содержанием и что техникой, формой? Может быть, содержанием была идея человека, находящегося в припадке гнева? Но такая идея отвлеченно для художника не существует, она всегда для него облекается в образ; идея, облеченная в образ, есть уже форма, но форма, целиком совпадающая с содержанием. С другой стороны, может быть, формой можно назвать закрепление на бумаге, на полотне открытого образа и освобождение его в дальнейшем от лишнего, ненужного? Но если это закрепление назвать формой, то она неразрывно связана с содержанием. Творчество художника конкретно. В конкретном форма и содержание органически слиты. Творческий акт длителен, иногда очень мучителен, но он не распадается для художника на звенья логической цепи и потому не поддается расщеплению.

Точно так же эстетический процесс восприятия любого художественного произведения не имеет дела с таким расщеплением. Эстетически мы воспринимаем и оцениваем художественное произведение единым и целостным, так как воспринимаем его конкретно. Но мы можем, как это может сделать и художник, перевести произведение с языка образов на язык логики. Как

только мы начнем это делать, мы перестанем оценивать его конкретно и будем рассматривать его отвлеченно, рассудочно. Рассматривая отвлеченно, мы найдем полезным расщепить произведение на содержание и форму, ограничив и то и другое. Методологически это будет вполне оправдано. Такое расщепление поможет нам логически оценить произведение с разных точек зрения. Во-первых, мы поставим вопрос, какая идея выражена в данном произведении и каков ее удельный социальный вес; во-вторых, мы постараемся дальше ответить на вопрос, как она выражена, полно или неполно, с помощью каких приемов и т. д. Таким путем мы расщепим произведение на содержание и на форму. Но, производя такое расчленение, мы ни на минуту не должны забывать об его условности. Художественное произведение конкретно; оно неделимо само по себе. Это неделимое в сфере аналитической, критической оценки, в интересах этого анализа мы рассматриваем с двух сторон: со стороны внутренней (содержание) и со стороны внешней (форма), но и та и другая точка зрения имеет дело с целостным произведением. Говоря о форме и содержании, мы рассматриваем одно и то же только под разными углами зрения [1]. Отдельно форма и содержание существуют только в абстракции. Этого никак нельзя забывать, но это как раз забывают и те, кто, рассматривая содержание, игнорируют форму, и те, для кого существует только прием.

Можно поставить вопрос, допустимо ли переводить произведение художества с языка образов на язык логики? Существуют мнения, что такой перевод бесцелен и недопустим. Они ошибочны. Произведения искусства есть продукты общественного сознания, данного общественного класса. Переводя художественное произведение с языка образов на язык логики, мы, по правильному утверждению Г В. Плеханова, выясняем себе: «какая именно сторона общественного (классового) сознания выражается в этом произведении». А это имеет колоссальное значение в общественной борьбе.

II. Снятие покровов.

Основную задачу художника Толстой видит не в пресловутой технике, а в особом даре ясновидения. Только тот подлинный художник, кто своими глазами видит и своими ушами слышит особое, неповторяемое в окружающем, то, что открывается только ему. Художник-реалист не выдумывает, не сочиняет, не создает фантастических миров, не занимается игрой воображения, не ищет украшения ради украшения, — он как бы читает тайнопись вещей, людей и событий. Цель художника не в том, чтобы мастерски, красиво описать, рассказать. Как бы ни был цветист, как бы схоже и подробно он ни описывал, каким бы хорошим рассказчиком он ни являлся, бесплоден будет художник, как евангельская смоковница при дороге, если он не умеет по-

---

[1] Поясним еще аналогией, что такое материя и дух? То, что с об'ективной точки зрения является материей, то суб'ективно есть духовное, психическое.

своему читать эту тайнопись, если он по-своему не взглянет на мир и не увидит, чего никто не видал до него.

> «О своей картине, — рассказывает о Михайлове Лев Николаевич,— той, которая стояла теперь на его мольберте, у него в глубине души было одно суждение, — то, что подобной картины никто никогда не писал. Он не думал, чтобы картина его была лучше всех Рафаэлевых, но он знал, что того, что он хотел передать в этой картине, никто никогда не передавал».

В жизни мы постоянно сталкиваемся с такой «заносчивостью» художника. Мы склонны видеть в этом пустое бахвальство, пренебрежение к другим, но у художника это бывает выражением того, что он видит мир и передает виденное по-своему. Вронский тысячу раз видел Анну, он изучил каждую складку ее платья, он ежедневно наблюдал меняющееся выражение ее лица, он любил ее. Михайлов видел Анну всего лишь несколько раз, но он видел Анну особыми глазами художника и открыл в ней то, что Вронский никогда не замечал.

> «Портрет с пятого сеанса поразил всех, в особенности Вронского, не только сходством, но и особенной красотой. Странно было, как мог Михайлов найти ту ее особенную красоту. «Надо было знать и любить ее, как я любил, чтобы найти это самое ее душевное выражение», думал Вронский, хотя он по этому портрету только узнал это самое милое ее душевное выражение. Но выражение это было так правдиво, что ему и другим казалось, что они давно знали его».

Настоящий ученый открывает законы природы, иначе он относится к крохоборам, в лучшем случае к собирателям фактов, но такие же открытия делает и художник. Михайлов открыл новое лицо Анны, Вронский ничего не открыл в Анне. Дарвин открыл, обосновал происхождение видов, Л. Н. Толстой открыл Платона Каратаева, Ерошку, Анну, Наташу, Пьера, Кутузова. И тот и другой действовали как истинные новаторы, но один доказывал, другой показывал. Подлинный художник, как и ученый, всегда прибавляет к тому, что имелось до него, иначе он либо повторяет пройденное, либо является описателем. Пусть его прибавление будет незначительным, пусть эта крупица не найдет для себя полного выражения, но если она есть, художник по примеру Михайлова имеет право подумать, что он передал то, чего никто до него не передавал.

С особым даром ясновидения художника не нужно смешивать желание поразить читателя красотой оборота, особым стилем, невиданным кунштюком. Такое желание обычно выливается в вычурность, в нарочитую изощренность, в излишнюю цветистость и перегруженность. Произведение становится непонятным, и читатель, как тургеневский дьякон, говорит себе: «темна вода во облацех» и «сие неиз'яснимо». Многие современные поэты и прозаики грешны этим грехом. Способность художника подсмотреть то, чего никто не видал, они смешивают с этим желанием поразить читателя.

Другая часть писателей и особенно критиков совсем еще недавно усиленно проповедывали коллективное творчество, выдвигая его против дворянски-буржуазного индивидуализма. Много по этому поводу было наговорено лишнего и просто вздору. Суть же в том, что творчество художника пока остается индивидуальным. В этом смысле любой пролетарский писатель ничем существенным пока не отличается от художника-реалиста Михайлова. Ссылки на коллективный характер творчества народного эпоса, песен, сказок неубедительны уже потому, что позднейшие исследования показали, что и здесь мы сплошь и рядом имеем дело с индивидуальным творчеством. Подобные рассуждения о коллективизме сомнительны и с практической стороны. Вместо того, чтобы говорить нашей молодежи: идите по стопам наших лучших классиков-реалистов, усвойте сперва-начала то, в чем видели они основную задачу художественного творчества, дайте простор с в о и м глазам и ушам, преломляйте мир сквозь призму своей индивидуальности, не отрываясь от пролетарского коллектива, — вместо этого говорят: это буржуазные пережитки; пролетарский писатель принципиально отличается и в процессе творчества от Толстых, Пушкиных и Горьких. Он коллективист, долой индивидуализм в творчестве, творчество в одиночку, долой свое, особенное, будем творить коллективно, коллегиально. Все это — сплошное левое ребячество. Наши коллективисты слышали звон, да не знают, где он. Надобно всячески бороться против индивидуализма в художестве эпохи декаданса, упадка и разложения буржуазного общества. Такой индивидуализм ничего не признает кроме творчества для себя и из себя. Но, борясь с такими общественными настроениями, нельзя об'являть похода против здорового индивидуализма в творчестве, который, питаясь действительностью, привносит свое, неповторяемое. Именно такую творческую работу показал нам Л. Н. Толстой, изображая Михайлова. Это яснее станет, если мы присмотримся к тому, что Л. Н. говорит о снятии покровов.

Изображая процесс творческой работы Михайлова, Толстой упорно, как помнит читатель, повторяет, что Михайлов как бы снимал покровы с фигуры: «он как бы снимал с нее покровы, те покровы, из-за которых она не вся была видна», «он видел еще остатки не вполне снятых покровов» и т. д. Что же означает это снятие покровов? Михайлов нашел типическое, наиболее полное выражение своей идее и одновременно неповторяемое, индивидуальное. Поэтому фигура стала живой. Но в рисунке не все соответствовало определившейся в индивидуальный тип фигуре. Нужно было обнажить фигуру от лишнего, случайного. Михайлов «вышелушивал» фигуру. Образное выражение «снятие покровов» не означает ничего мистического; оно прекрасно передает, как Михайлов в работе обнажал то особое, что он увидел.

Примечательно, однако, что Лев Николаевич подчеркивает пассивную роль художника: «он не изменял фигуры». Фигура дана, она уже живет своей особой жизнью, задача художника в том, чтобы удалить все, что мешает ее ясно видеть. Здесь понимание реалистического творчества доходит у писателя почти до наивного реализма. Как будто мир действительности населен фигурами, данными в рисунках, и они не созданы воображением художника. Во-

ображаемый мир искусства овеществляется, материализируется. У однофамильца Льва Николаевича, А. К. Толстого, то же воззрение выражено в таких стихах:

Много в пространстве невидимых форм и неслышимых звуков,
Много чудесных в нем есть сочетаний и слова, и света,
Но передаст их лишь тот, кто умеет и видеть и слышать,
Кто, уловив лишь рисунка черту, лишь созвучье, лишь слово,
Целое с ним вовлекает созданье в наш мир удивленный.

Разумеется, такое изображение творческого процесса, отношения художника к миру в значительной мере носит метафорический характер. Но в этой метафоре — снятие покровов — есть свой смысл, метафора не случайна. Она не случайна прежде всего для Л. Н. Толстого. Здесь не место углубляться в существо художественной деятельности нашего отечественного гения, но образное выражение «снятие покровов» со всем толстовским наивным реализмом как нельзя более подходит к его творчеству. Толстой во всех своих произведениях прежде всего снимал покровы. Гений его был направлен на обнажение жизни. У него не замечаешь ни выдумки, ни сочинительства, ни желания поразить читателя каким-нибудь эффектом. Великая рука сдергивала завесу, и пред читателем открывалась жизнь, которую он видел тысячи раз и видел впервые. Толстой шел всегда от сложного, пестрого к простому и целостному. Недаром его звали великим упростителем. Есть что-то детское в толстовском восприятии мира, изначально данное. Он открыл нам жизнь примитивную в своих истоках и язычески радостную. Он освобождал ее от всего, что огромными темными пластами наслоила на нее современная цивилизация, уродливый строй общественной жизни, дикие отношения между людьми и т. д. Проследите дальше хотя бы то, как Толстой обнажал, снимал покровы с человеческих помыслов, чувств, поступков, как ясно он видел подлинное за тщательно скрываемым. Всего лишь один пример для пояснения. Изображая смерть Николая Левина, Толстой пишет: «Все знали, что он неизбежно и скоро умрет, что он наполовину мертв уже. Все одного только желали, чтоб он как можно скорее умер, и все, скрывая это, давали из склянок лекарства, искали лекарств, докторов и обманывали его, и себя, и друг друга». Обычное место, каких у Л. Н. можно найти почти на каждой странице. Никто с такой неописуемой силой не умел изображать и обнажать притворство, показное, фальшь, ложь, деланное, как он. Потому что он видел жизнь по-особому. У него был дар видеть в недрах жизни, в самом запутанном и сложном первоначальное, простое, истинное, несложное. О, он умел снимать покровы! Был другой человек, который в другой области, в области социально-политической борьбы умел не хуже Толстого «снимать покровы», окутывавшие нашу общественную жизнь — Вл. Ильич Ленин...

Теория снятия покровов превосходно определяет существо художественного творчества прежде всего самого Толстого.

Затем. Наивный реализм Толстого может быть воспринят, если его истолковать словами Белинского из статьи «Стихотворения М. Лермонтова», на что Толстой дает полное основание. «Действительность, — читаем мы

у Белинского, — прекрасна сама по себе, но прекрасна по своей сущности, по своим элементам, по своему содержанию, а не по форме. В этом отношении действительность есть чистое золото, но не очищенное, в куче руды и земли: наука и искусство очищают золото действительности, перетопляют его в изящные формы. — Следовательно, науки и искусство не выдумывают новой и небывалой действительности, но у той, которая была, есть и будет, берут готовые материалы, готовые элементы, словом, готовое содержание, дают им приличную форму... И потому-то в науке и искусстве действительность больше похожа на действительность, чем в самой действительности, — и художественное произведение, основанное на вымысле, выше всякой были...».

Такое понимание наивного толстовского реализма и снятия покровов можно вполне усвоить.

Одно раз'яснение чрезвычайной важности, однако, необходимо сделать.

Представления о действительности складываются у человека в зависимости от той общественной среды, в которой он живет. В обществе, разделенном на классы — это непременно классовая среда. Поэтому художник, изображая, преображая действительность, снимая с нее покровы, действует под определяющим влиянием дум и чувств в классе, который оказал на него наиболее сильное влияние. Но классы ведут друг с другом борьбу, отстаивая в ней свои интересы. Отношения к действительности художника в классовом обществе определяются следовательно классовыми противоречиями. Эта весьма важная истина, не учтенная ни Белинским, ни тем более Толстым, усложняет вопрос о мире искусства и мире действительности.

И. С. Тургенев очень сетовал на критиков, которые, по его мнению, убеждены, что автор непременно занимается в произведении проведением своих идей. Он утверждал, что художник стремится прежде всего «точно и сильно» воспроизвести истину, «реальность жизни». Это замечание Тургенева правильно только отчасти. Нельзя сомневаться, что суб'ективно всякий истинный художник стремится изобразить реальность жизни. Он испытывает величайшее счастье, если уверен, что это ему удалось. Верно и то, что существуют критики, они далеко не перевелись и в наши дни, которые наивно полагают, что художник занят только проведением идей и не заботится о реальности жизни. Но так же несомненно, что, изображая реальность жизни, художник видит эту реальность сквозь призму дум и чувств своего класса. Об'ективно он проводит идеи своего класса, сплошь и рядом сам того не сознавая. Под влиянием этих дум и чувств он воспроизводит реальность жизни только в той мере, в какой это допускают эти думы и чувства. Бывают случаи, когда реальность жизни дается очень однобоко, бывает, когда она совсем искажается, и бывает, когда эта реальность проступает ясно и отчетливо. Последнее случается обычно, если художник отражает думы и чувства класса, находящегося в расцвете, или класса восходящего, словом, класса, в данный исторический момент наиболее выражающего общие интересы всего общества, интересы поступательного движения.

Отсюда вытекает ряд первостепенной значимости выводов.

Художник, уразумевший истину о классовом характере искусства, должен выяснить, в интересах какого класса он творит. Он обязан выбросить за борт теорийки о том, что искусство вне политики, что оно существует для себя и в самом себе довлеет, что художник «сын небес» и небожитель и т. д. Если он, далее, убедится, что его чувства и мысли на стороне пролетариата, то ему надо поставить вопрос, как лучше «снимать покровы» с окружающей действительности в интересах этого класса. Это далеко не праздный вопрос, в особенности в наше время напряженнейших классовых войны и битв. Уяснение истины о классовом характере искусства помогло бы многим из современных советских беллетристов разобраться в нашей литературной современности и не делать ошибок, иногда очень грубых, какие они делают.

Критик, усвоивший ту же истину, и оценивая то или иное произведение, неизменно обязан выяснять, в какой мере об'ективно, точно воспроизведена действительность в этом произведении, содержатся ли в нем художественные открытия и какие, чем об'ясняется правильность или неправильность, допущенные художником в изображении «реальности жизни», что он привнес ложного благодаря классовому суб'ективизму, или, наоборот, насколько классовые чувства и мысли помогли художнику найти «реальность», каков удельный социальный вес этих чувств и мыслей, как они переданы в произведении и т. д.

Мы заговорили об об'ективности и точности в искусстве. Некоторых эти слова приводят в дрожь. Помилуйте, проповедуется внеклассовое, общечеловеческое, вечное, абсолютное искусство! Полезно поэтому еще и еще раз напомнить, что об об'ективности писали не только такие дворяне, как Толстой и Тургенев, но и Плеханов, лучший теоретик из марксистов по вопросам искусства. Что может быть суб'ективней понятий о красоте? Говорят—на вкус и цвет товарищей нет. И все же, по мнению Плеханова, существуют об'ективные мерила красоты. Возражая на упреки, что он, Плеханов, допускает существование абсолютного критерия красоты, Георгий Валентинович писал:

> «Абсолютного критерия красоты, по-моему, нет и быть не может. Понятия людей о красоте несомненно изменяются в ходе исторического процесса. Но если нет абсолютного критерия красоты, если все ее критерии относительны, то это еще не значит, что мы лишены всякой о б'е к т и в н о й возможности судить о том, хорошо ли выполнен данный художественный замысел. Положим, что художник хочет написать «женщину в синем». Если то, что он изобразит на своей картине, в самом деле, будет похоже на такую женщину, то мы скажем, что ему удалось написать хорошую картину. Если же вместо женщины, одетой в синее платье, мы увидим на его полотне несколько стереометрических фигур, местами более или менее густо, более или менее грубо раскрашенных в синий цвет, то мы скажем, что он написал все, что угодно, но только не хорошую картину. Чем более соответствует исполнение замыслу, или, чтобы употребить более общее выражение, — чем больше форма художественного произведения соответствует его идее, тем оно удачнее. Вот вам и об'ективное мерило» («Искусство и общественная жизнь».)

Если можно говорить об об'ективном критерии в суждениях людей о красоте, то тем более нет оснований отказывать в существовании такого мерила в вопросах об отношении мира искусства к миру действительности. Людей, отрицавших существование об'ективного критерия, тов. Плеханов упрекал в том, что они совершают «грех крайнего суб'ективизма». Но в такой же грех впадают те из товарищей напостовцев, которые, усвоив, что искусство в классовом обществе носит классовый характер, полагают, что тем самым исключается всякая возможность ставить вопрос об об'ективности в искусстве и разрешать его положительно. Им помимо Плеханова очень полезно вдуматься в то, что писал Толстой о Михайлове, в частности о снятии покровов.

Мысли Толстого о снятии покровов далеко не потеряли своей значительности и по сию пору и в ином отношении. В наши редакции сейчас поступает чрезвычайно много прозаических и поэтических рукописей. Никогда еще в России столько не писалось повестей, рассказов, стихов, как теперь. Это — отрадный симптом. Когда сообщается, что в селе таком-то Устюжского уезда образовалась литературная группа «Перевал», а на такой-то фабрике — «Октябрь» — это само по себе — факт огромного культурного роста СССР. Значительное количество рукописей написано литературно грамотно, гладко и со знанием новейших технических приемов. Тем не менее их общий недостаток бросается в глаза. Большинство прозаиков и поэтов не усвоили положения, что истинный художник должен снимать покровы с жизни, должен делать художественные открытия, пусть самые незначительные, должен уметь видеть особое. Пишут батальные картины из периода гражданской войны, рассказывают удивительные, необыкновенные случаи, чаще всего, из эпохи революционной борьбы; тут и расстрелы, и чека, и белогвардейцы, и кулаки, и генералы белых армий но забывается, что нет еще художества в простом описании эпизодов, в занимательных рассказах, если в них нет значительной художественной мысли, если художник не пытается снять покров с нее. Эпизод, событие, быль, приключение становится художественным фактом только тогда, когда художник, по очень глубокому и меткому замечанию А. К. Толстого, «уловив лишь в рисунке черту, лишь созвучья, лишь слово, ц е л о е с ним вовлекает создание в наш мир удивленный». В частях, в деталях, в отдельных картинах нужно уметь открыть это целое; тогда частность, мелочь, случай становятся типичными для целого, и мы удивляемся, мы воспринимаем это как новое. Рассказ о моли, которую поймал такой-то человек, вставленный в рассказ «так себе», для полноты стоит за пределами художества, как бы хорошо он ни был сделан. Но рассказ о той же моли в сцене, где Каренин приходит к адвокату по бракоразводным делам (адвокат во время приема и об'яснения с Керениным ловит моль), принадлежит к художественному совершенству. Благодаря этой моли пред читателем наглядно встают и адвокат, и его только что отделанная квартира, и состояние Каренина, их взаимоотношения. Встало целое.

В гоголевском «Портрете» ростовщик в азиатском халате с дьявольски сокрушительными глазами губил художников тем, что заставлял их быть

слишком «верными природе», передавать с «буквальной точностью всякую незаметную черту». Наклонная плоскость для художников начиналась с копирования. Такому копированию Гоголь противопоставлял комплекс возвышенных мыслей и чувств, преображающих действительность в художественном произведении и позволяющих проникнуть в ее «тайнопись». Снятие покровов у Толстого далеко отстоит от копирования (натурализм).

Большим препятствием в художественном творчестве является забвение, чем должен вдохновляться прозаик, поэт. Очень часто этому мешают наши кружки и школы. У нас развелось столько литературных школ, об'единений, направлений, такая подчас узкая кружковщина, такое групповое самодовольство и самохвальство, такая нетерпимость к родственным в сущности группировкам господствует в них, что писатель из-за этих кружковых интересов и домогательств иногда совсем забывает об элементарных требованиях, пред'являемых к нему искусством. Полезные по первоначальному замыслу об'единения превращаются вскоре в такие, где калечат художника, отвлекают его от творческой работы, сбивают со своей дороги. Другая часть писателей подгоняет свои произведения под готовые шаблоны, взятые на прокат. И в том и в другом случаях получается что-то заведомо наигранное, не свое, подсунутое и потому неубедительное.

По силе сказанного многим небесполезно вдуматься в строчки, написанные Толстым о Вронском. Как известно, Вронский за границей увлекся живописью и усиленно одно время рисовал.

> «У него была способность понимать искусство и верно со вкусом подражать искусству, и он подумал, что у него есть то самое, что нужно для художника, и, несколько времени поколебавшись, какой он выберет род живописи: религиозный, исторический жанр или реалистический, он принялся писать. Он понимал все роды и мог вдохновляться и тем и другим, но он не мог себе представить того, чтобы можно было вовсе не знать, какие есть роды живописи, и вдохновляться непосредственно тем, что есть в душе, не заботясь, будет ли то, что он напишет, принадлежать к какому-нибудь известному роду. Так как он не знал этого и вдохновлялся не непосредственно жизнью, а посредственно жизнью, уже воплощенною искусством, то он вдохновлялся очень быстро и легко достигал того, что то, что он писал, было очень похоже на тот род, которому он хотел подражать».

Вронского Михайлов считал дилетантом в искусстве. У нас таких дилетантов не мало. Но и те, которых дилетантами назвать нельзя, нередко подобно Вронскому вдохновляются не непосредственно жизнью, а посредственно через тот или иной род искусства, через направление, через школу, кружок, зараженные к тому же узко-корпоративным и цеховым духом. Хорошо еще, если вдохновляются тем или иным родом искусства, а то ведь бывает и так, что кружки и организации приурочивают свою деятельность, главным образом, к захвату редакций журналов, газет, издательств и т. д. Что от этого получается, у всех на глазах.

Группа писателей преимущественно прежнего интеллигентского покроя страдает от иных недостатков. Эти писатели свободны от кружкового вдохновения, но вдохновляются они тоже не непосредственно жизнью, а худосочными суб'ективнейшими переживаниями, оторванными от живой действительности. Они создали свои маленькие, замкнутые мирки и полагают, что все вращается вокруг этих мирков. Они не слышат мощных голосов жизни, не видят, как рождается новое в муках скорби и радости, в сумасшедшем напряжении. Они пишут для себя, для десятков и сотен, а сотни тысяч их не понимают, не знают и не хотят знать. Они думают, что их не понимают по невежеству, по некультурности, что их переживания слишком утончены и своеобразны для «толпы», что их открытия доступны только избранным. Новое удивляет, но, удивившись портрету Анны, написанному Михайловым, Вронский тут же покорился, понял и воспринял особое выражение ее лица, с которого художник снял покровы. Беда, однако, в том что наших суб'ективистов в художестве не понимают люди их него же культурного уровня, люди не с меньшим богатством чувств и мыслей, а еще горшая беда, что они сами себя не понимают. Солипсизм в художестве, как и в философии, всегда приводит к такому непониманию. У нас сейчас жадная жизнь и жадные люди, но к жизни и к людям надо подходить по-толстовски: нужно прежде всего жадно всматриваться и вслушиваться.

В своей книге «Что такое искусство» Л. Н. Толстой особенность искусства усмотрел в том, что оно — искусство — является средством общения между людьми при помощи ч у в с т в а. На это очень верно возразил Г. В. Плеханов: «Неверно... что искусство выражает только чувства людей. Нет, оно выражает и чувства их и м ы с л и, но выражает не отвлеченно, а в живых образах. И в этом заключается его самая главная отличительная черта» («Письма без адреса»).

В самом деле «Фауст» Гёте выражает не только чувства Гёте, но и целое его философское мировоззрение, «Анна Каренина» выражает не только чувства, но и многие мысли Толстого. Л. Н. Толстого, по справедливому замечанию Плеханова, можно принимать только «отселе и доселе». При этом художник-Толстой нам, коммунистам, несравненно ближе Толстого-проповедника, мыслителя. В частности, то определение искусства, которое вытекает из его изумительных страниц, где изображено знакомство Вронского и Анны с Михайловым, подтверждает плехановское определение искусства, а не то, которое Толстой позже дал в своей книге об искусстве. Из всего рассказанного нам Толстым о процессе художественного творчества вытекает, что истинное реалистическое искусство, «снимая покровы» с живой действительности, в отличие от науки, делает это с помощью образов, а в отличие от религии образы эти не носят произвольного фантастического характера. В этом — особенность искусства. Определив искусство, как средство эмоционального заражения, Толстой сделал эту в угоду своим религиозным, метафизическим взглядам. Он хотел искусство подчинить религии, ибо и религия ведь есть средство эмоционального заражения, особенно в своей позднейшей стадии.

Здесь Толстой выступил не как художник-реалист, а как мыслитель-идеалист. Этого никогда не следует забывать тем товарищам, предпочитающим пользоваться толстовским определением искусства, которое он дал в своей теоретической книге, целиком проникнутой религиозным духом.

Опираясь на сказанное, мы имеем полное основание утверждать, что отличительная черта искусства состоит в том, что оно познает, выражает действительность, жизнь, чувства и мысли людей, но не отвлеченно, а в форме образов. К этому мы сейчас прибавляем, что главным органом, чрез который функционирует искусство, является интуиция; художественное познание интуитивно. Товарищи, возражавшие против такого определения (познание) и ссылавшиеся к тому же на Плеханова, например, Лелевич, делали это по глубокому недоразумению. Позже стали утверждать, что я выражал правильную, но недостаточную и одностороннюю мысль, упуская якобы классовый характер искусства. Но классовая борьба мною не успускалась, односторонний же методологический характер некоторых высказанных мною раньше мыслей я подчеркивал тогда и подчеркиваю теперь. Не стоит ломиться в открытую дверь. Откуда же такая односторонность? Она вызывается односторонним, но не методологически, а ошибочно односторонним толкованием классового характера искусства. У тов. напостовцев получалось: раз художник вольно или невольно отражает в своих произведениях интересы данного класса, он не может быть полезен другому; никакого об'ективного критерия нет; буржуазный писатель, попутчик не может быть полезен пролетариату, не может дать об'ективно ценных вещей. Такое толкование классового принципа, классового подхода к литературным произведениям граничило с классовым релятивизмом. Вот почему приходилось и приходится односторонне напоминать и выдвигать некоторые элементарные марксистские положения. В другом литературном споре, скажем, с людьми, отрицающими классовый характер искусства, надобно, наоборот, подчеркивать именно этот характер, как это справедливо делал Плеханов в споре с народниками, с Мережковским, Ивановыми-Разумниками и т. д. Но в споре, например, с махистами он предостерегал от греха суб'ективизма и настаивал на существовании и в науке и в искусстве об'ективных критериев.

Всякому овощу свое время.

Современные художественные группировки.

Д. Аранович.

Весна 1925 года в русской живописи после революционных лет должна быть отмечена, как период героической попытки возрождения художественных традиций и создания нового искусства. На восьмом году революции стало особенно ощутительно, что прошло много необычайных лет, что ураган событий слишком много изменил в сознании современного художника и зрителя и что поток времени выдвинул ряд новых задач.

В этом смысле многочисленные выставки минувшей весны были очень показательны, обнаружив, какие из нынешних художественных направлений безвозвратно умерли, какие непреложно кончаются и, с другой стороны, какие народились и получают свое закономерное развитие.

Если не останавливаться на таких выставках, как «ОБИС» («Об'единенное искусство») и «Бытие», в целом не имеющих какого-нибудь принципиального значения, нужно признать, что основные направления современной русской живописи определяются художественными группировками: «АХРР», «Московские живописцы», «Четыре искусства», «Жар-цвет» и «ОСТ» («Общество станковистов»).

Наиболее ранним и грандиозным было в нынешнем году выступление «АХРР'а»; достаточно сказать, что их каталог насчитывал около 400 произведений — преимущественно живописи, — более чем ста художников; кроме того, АХРР обнаружил необычайную способность и внимание в смысле привлечения массового зрителя, число которого за все время выставки измеряется чуть ли не сотнями тысяч. Однако подобный внешний успех, надо признаться, не совсем соответствует художественной значительности выставки. Как явствует из декларации АХРР, художники поставили себе целью изобразить сегодняшний день нашей Советской страны: «быт Красной армии, быт рабочих, крестьянства, деятелей революции и героев труда». И, действительно, значительная часть полотен АХРР'а посвящена минувшему и настоящему революции, в частности 1905 г., В. И. Ленину, Красной армии и т. п. Но ошибка художников АХРР в том, что они исчерпывают все свои задачи исключительно темой, сюжетом. Между тем, в подлинном искусстве форма неотделима от содержания, и часто художественное «к а к» предопределяет ценность

сюжетного «ч т о». Это безусловно сознают и сами художники АХРР'а, которые со всей прямотой в своей декларации пишут: «Необходимо помнить, что творческое выражение в искусстве революции не есть бесплодное и слюнявое умиление перед ней» (стр. 7); таким образом сами художники сознают, что картины современной дйствительности могут получить надлежащее запечатление лишь в монументальных формах реализма, обобщающего героического, и менее всего в формах натурализма жанрового, специфически бытового. К сожалению, намерения живописцев АХРР не привели к соответствующим достижениям. Даже одна из наиболее талантливых работ выставки на революционные темы — картина С. Карпова «Партизаны», несмотря на свой необычайно напряженный сюжет, отличается раздробленностью композиции, засилием частностей над цельностью и отсутствием надлежащего пафоса. И если «Бомбист» другого художника, Н. Никонова, передает не менее трудную сцену террористического акта более смело и оправданно, то подавляющее большинство остальных произведений, посвященных запечатлению событий 1905 года, ограничивается лишь своеобразным, чуть ли не протокольным рассказыванием. Равным образом, «Рабкор» В. Перльмана более характерен специфически редакционными предметами окружения, нежели выявлением современного деятеля пролетарской печати. Наконец, сюжеты, посвященные деревне, почему-то ограничиваются либо самым ординарным пейзажем чуть ли не давних времен (напр., И. Бродский «Зима»), либо давно использованным жанром (П. Радимов «В избе», С. Рятина «На кухне»). Любопытно отметить, что в этом отношении искусство самих крестьян-кустарей пошло гораздо дальше. (На выставке кустарного искусства мы уже имели такие произведения, как «Новая деревня», «Красная армия», «Пионеры в деревне» и т. д.)

Правда, среди многочисленных экспонатов АХРР'а были и безусловно художественные вещи, но, к сожалению, большинство из них принадлежит живописцам, присутствие которых на последней выставке АХРР носит какой-то случайный характер как персонально, так и по своим сюжетам. Среди них на первом месте — И. М а ш к о в («Бубновый Валет») со своими громадными чувственными и выразительно живописными натюр-мортами — «Снедь московская», Б. Кустодиев («Мир Искусства») с довольно тусклым и не характерным для его яркой красочности «Фейерверком на Неве», который почему-то называется «Праздником II конгресса III Интернационала в Ленинграде»; к числу их вместе с А. Архиповым следует отнести и К. Юона («Союз») с его марсианскими «Людьми» и многих других.

В целом, следует сказать, что последняя выставка АХРР'а вышла необычайно содержательной и пестрой, в какой-то мере подводящей итоги и выдвигающей новые задачи. Ибо, если в начале 1922 года лозунг «современный сюжет» звучал революционным новаторством, то в 1925 году это стало уже общепризнанным и распространенным явлением; если лозунг — «реализм», брошенный футуристами три года тому назад, звучал дерзко и почти героически, то сейчас он уже начинает терять свою остроту. Время выдвигает ряд новых и более сложных и трудных задач. Теперь, когда все стали реалистами,

и когда почти все готовы посвятить свою живопись революционным сюжетам — очень существенным становится также момент формы, и победит тот, кто окажется на высоте поставленных задач.

Как это ни странно, выставка группы наиболее крупных мастеров живописи — «Московские живописцы» производит, пожалуй, самое безотрадное впечатление. Выступившие пятнадцать лет тому назад в качестве пионеров французского импрессионизма в России и в качестве революционеров в живописи против Академии Художеств — в виде об'единения «Бубновый Валет», эти же художники в нынешнем году выступили с новой декларацией и под новым названием «Московские живописцы». Декларация «Московских живописцев» говорит о безусловном стремлении художников стать отобразителями революционной эпохи. «Строгость и профессиональность отношения к живописи и к скульптуре,—читаем в декларации,—в процессе пролетарской революции получили еще большее значение». Учитывая значение и формы и содержания, «Московские живописцы» мечтают о некоем идеальном синтезе: «новая эпоха по своим задачам представляется группе самым глубоким и полным слиянием языка формы с новым содержанием». Однако, признаться, выставка «Московских живописцев» показала нам, в сущности, те же произведения «Бубнового Валета» и только лишний раз убедила нас в том, что декларация революции еще не делает. При всем том слабое место выставки, отнюдь не в порознь взятых работах художников: отдельные живописцы ее продолжают, несомненно, расти. Из них на первом месте — Роберт Фальк; его портреты, отмеченные значительным мастерством, своей самостоятельной формой и созерцательным содержанием приближаются к произведениям большого стиля.

Огромную культуру живописной формы обнаруживают полотна Игоря Грабаря, ушедшего от своеобразного пуантилизма к насыщенному реализму («Портрет матери»). О безусловных возможностях говорят работы неудачно на сей раз выставившихся Ильи Машкова и В. Рождественского. Слабое место выставки «Московских живописцев» в том, что фактически, вопреки декларации, она все еще живет уже давно исчерпанными идеями «Бубнового Валета»; большинство ее экспонатов и поныне всецело вмещаются в пределах импрессионизма и сезаннизма, уже отошедших и ставших вчерашним днем живописи.

Любопытно, что состоявшаяся в нынешнем году вторая выставка об'единения Московских и Ленинградских художников «Жар-Цвет», продолжающая в своей лучшей части традиции «Мир Искусства», обнаружила большую жизненность, чем «Московские живописцы». К числу основных недостатков выставки «Жар-Цвет» следует отнести некоторое смешение искусств, выразившееся в чрезмерном внимании живописцев к графике, к гравюре на дереве и рисунку, а графиков — к живописи. Естественно, что подобная диффузия привела к сомнительной пользе. Так А. П. Остроумова-Лебедева

представила ряд больших акварельных и масляных портретов (Е. С. Кругликовой, А. Бенуа и др.), стоящих много ниже ее прославленных гравюр на дереве, а талантливый живописец Н. П. Ульянов дал непомерно слабые для него рисунки карандашем («Пушкин с женой», П. П. Муратов и др.). В этом отношении остался верным себе лишь К. Костенко, давший многочисленный ряд мастерски исполненных гравюр, которые обладают большинством положительных качеств гравюры А. П. Остроумовой-Лебедевой. Рисунки же карандашем, подкрашенные акварелью, Д. И. Митрохина лишь умножили количество произведений выдающегося графика, не принося ни новых мотивов, ни новых особенностей в его технику исполнения.

Подводя некоторые итоги выставке «Жар-Цвет», нужно сказать, что на сей раз «имена» ничем не выделились. Господствующее положение на выставке оказалось за многочисленным и обильно творящим «середняком», который, к сожалению, в виде общего правила, при всей своей пестроте, всегда нивеллируется однообразно невысоким художественным уровнем выполнения. Среди них следует упомянуть первой Ю. Оболенскую, удачно выделяющуюся почти монументальным, неоклассическим портретом («В лесу») и рисунками тушью, насыщенными бодрым мироощущением и динамической экспрессией («Гроза», «На базаре», «Пушкин»).

Отрадное впечатление производят работы харьковских художников С. М. Прохорова и М. А. Шаронова. Первый в своих «Подружках» и «Жницах,», отправляясь от иконописи, дал жизнерадостные, умеренно красочные картины при помощи гармонии зеленых, коричневых, синих и пурпурных тонов. Выступивший с серией портретов, М. Шаронов обнаружил интересную способность изобличения и обобщения изображаемых индивидуальностей посредством строго выдержанных изобразительных приемов. Правда, в его произведениях чувствуется сильное влияние молодого Александра Яковлева, но зато на-ряду с этим выступает и любопытное, цельное мироощущение М. Шаронова, как портретиста. Совершенно иначе преломилось влияние Б. Кустодиева на работах художницы М. Сухотиной, которая упростила принцип сопоставления контрастных цветов до крайности и некоторого однообразия.

Близко к эстетическому реализму «Жар-Цвета» примыкает новая московская художественная группировка — «Четыре Искусства», по своему составу живописцев ведущая свое происхождение или, по крайней мере, родство от «Голубой Розы». Возникшая в нынешнем году, группа «Четыре Искусства» дала нечто органически характерное только в живописи Мартироса Сарьяна и Павла Кузнецова. Давно известный, как выдающийся художник своего родного Востока, М. Сарьян вот уже в течение целого ряда лет не расстается с излюбленным им сюжетом в виде яркокрасочного восточного пейзажа. Любопытно, что, тем не менее, не взирая на подобное тематическое единообразие, художник продолжает неизменно оставаться в своих пейзажах правдивым и оригинальным. Его пестрые, залитые светом краски обретают все новые, более тонкие оттенки и, несмотря на смелую манеру художника,

часто сочетаются в мягкие переливы и достигают огромной экспрессии, даже при двух, трех смежных тонах. М. С. Сарьян — художник большого искусства: его красочные полотна явно не вмещаются в пределах мелкой станковой живописи: широкие декоративно-плоскостные композиции М. С. Сарьяна выпирают из тесных рамок станковой картины и просятся на большие поверхности панно и плафонов.

Совершенно другое впечатление производят работы ориенталиста П. В. Кузнецова. В свое время сразу блеснувший и сильно выдвинувшийся, как пейзажист Хивы, Бухары и Туркестана, а затем неожиданно остановившийся, Павел Кузнецов продолжает ныне свою работу в ином направлении. Отказавшись от выявления красочных богатств Востока, П. Кузнецов, бывший всегда колористом по преимуществу, ныне повернул к Западу, к задачам композиции, к мастерству контура. Однако приходится признать, что достижения художника в этой области оказались весьма незначительными. По-прежнему лучшими из его картин оказались красочные пейзажи («Крым», «Кореиз», «Мисхор»), его работы, посвященные Западу, вышли слишком подражательными в целом и слабыми в частностях.

Кроме упомянутых художников следует еще указать на произведения Н. П. Ульянова, из которых выделяется абсолютно законченный портрет Вяч. Иванова, и на многочисленные работы графиков: В. А. Фаворского, А. И. Кравченко, а также рисовальщиков: Н. Н. Купреянова, П. В. Митурича и др.

Не касаясь скульптурных работ, которые требуют самостоятельного рассмотрения, мы должны еще остановиться на последней новой группировке художников под названием «ОСТ» (О-во станковистов). Если принять во внимание, что в состав перечисленных выше группировок входят главным образом старые художники довоенного времени, то «ОСТ» придется признать единственной современной группировкой в буквальном смысле этого слова. Группу «ОСТ» составляют весьма немногочисленные молодые живописцы, недавно окончившие ВХУТЕМАС и выступавшие в прошлом году впервые с «Выставкой Активного Революционного Искусства». Во всех отношениях выросшие в годы революции, они еще недавно прошли на школьной скамье все трудные этапы футуризма, кубизма и супрематизма; в итоге мучительных формальных исканий совместно со своими учителями (П. Кончаловский, И. Машков, Малевич и др.) они ныне пришли от измов к оплодотворенному богатым опытом живописной культуры реализму, от беспредметности — к отображению современной действительности.

К сожалению, выставка «ОСТ» весьма незначительна количеством экспонатов и числом участвующих художников. Тем не менее ее художественный облик вышел довольно четким и цельным. Для большинства живописцев «ОСТ» характерна какая-то инстинктивная потребность к большому стилю, побуждающая их разрешать свои композиции в крупных масштабах. Особенно сильно это чувствуется у наиболее значительных живописцев выставки П. Вильямса, А. Дейнека, С. Лучишкина и др. Совсем молодой живописец П. Вильямс, еще на выставке прошлого года давший незначительные, но уже

обещавшие вещи, на сей раз выступил с двумя огромными полотнищами. Из них аллегорическое изображение Октябрьской революции, разрешенное в плане любопытной композиции по вертикали, заметно выделяется среди всех прочих экспонатов своим необычайно органичным сочетанием: реальности образов — с символичностью обозначения, насыщенности содержания — с напряженностью движения, злободневности сюжета — с большой культурой формы. К сожалению, много слабее его работа — «Портрет Мейерхольда», производящая впечатление вещи не продуманной по своей композиции и далеко не законченной.

Таким же стремлением к монументальному стилю отмечены и работы другого живописца А. Л. Дейнеке, который на сей раз выступил в качестве своеобразного изобразителя рабочего быта, обладающего поразительной способностью обобщения своих жанровых сюжетов. Параллельно с этим художник разрешает ряд любопытных колористических задач, для чего он пользуется оригинальным синтезом приемов яркой живописи и строгой графики («В штреке», «Перед спуском в шахты»).

Для того, чтобы выявить художественный облик группы «ОСТ», необходимо еще остановиться на одной из работ весьма молодого живописца С. Лучишкина под названием «Трубы», где изображен небольшой отряд коммунистов, шествующий с оркестром и знаменем. В небольшой картине С. Лучишкина поражает совершенно особая манера изображения: стройные, напряженные фигуры образуют тесно сомкнутые ряды, обобщенные лица шествующих трактованы необычайно строго, в их ногах чувствуется мощный твердый шаг; весь оркестр обозначен при помощи пяти одинаковых трубачей, впереди них дан знаменосец, перед которым в виде своеобразного putti — маленький пионер с барабаном. Таким образом, казалось бы, самый обычный повседневный для нас сюжет получил у С. Лучишкина многозначительнейшее выражение. Последнее обстоятельство характерно не только для С. Лучишкина, но и для всей выставки «ОСТ», живописцы которой трактуют современность, как монументальный сюжет и тем подчеркивают грандиозность нашей эпохи.

Если попытаться суммировать наши наблюдения, — все выступления рассмотренных художественных групп можно будет свести к более или менее определившимся живописным направлениям нашего современного искусства. Прежде всего необходимо отметить как будто окончательное завершение недавних отвлеченно формальных исканий футуризма, кубизма, супрематизма и пр. С другой стороны, следует сказать на возрождение ряда старых группировок в стиле импрессионизма («Московские живописцы») и эстетического реализма («Жар-цвет», «Четыре искусства» и др.). Наконец, с появлением «ОСТ» можно отметить нарождение нового, безусловно современного во всех значениях этого слова направления символического, монументального реализма, дальнейшее развитие которого может быть весьма плодотворным и содержательным.

Современные актеры.

П. Марков.

И. М. Москвин.

«Современность» Москвина на первый взгляд проблематична. Во всяком случае не в ней как будто бы лежит центр тяжести его творчества. Он начал играть в конце XIX века. Вместе с Художественным театром он прошел его долгую двадцатисемилетнюю жизнь. Вступлению Москвина в Художественный театр предшествовали два коротких сезона в провинции, и, немного ранее, учение у Вл. Немировича-Данченко в филармонии. Хотя Москвин и оказался тесно связанным с Художественным театром, он не стал, однако, актером характерным исключительно для этого театра. Вернее — он соединяет Художественный театр с традицией могучего сценического реализма XIX века. Сценическая жизнь Москвина текла безбурно, без резких срывов, она была спокойной и ясной. Таким же успокоительным и ясным актером представляется Москвин — опять-таки только на первый взгляд.

Совсем не трудно вообразить его рядом с Садовскими. Так же, как и они, — он пробуждает интерес к жизни; так же, как и они, — он разоблачает занимательность жизни—занимательность и значение ж и з н е н н ы х ф а к т о в. Его всегда поразительные герои вызывают первоначально не столько сочувствие, сколько удивленный интерес. Зритель готов воскликнуть: «Вот, какие люди бывают на свете» — и затем уже убежденно согласиться: «Да, бывают». Еще задолго до того, как психическая жизнь москвинских героев начинает занимать зрителя — зритель бывает оглушен и поражен необыкновенным, но одновременно совершенно несомненным жизненным явлением, которое ему смело показывает Москвин. Москвин не сразу допускает к разоблачению внутреннего зерна своего героя — он первоначально закрепляет внимание зрителя на густой внешней оболочке, в которой он демонстрирует своих героев, чтобы затем уже раскрыть ее смысл и значение.

Москвин крепко чувствует плоть звука и движения; он, по существу,— материалистический актер. Нет актера, который бы более вкусно выполнял так называемые «физические задачи» на сцене. Каждый предмет, попадающий в его руки, приобретает убедительность реальной жизни. Перестав быть сценическим аксессуаром, перо и табакерка, гитара или царская грамота, становятся неот'емлемыми от героя, которому принадлежат. Он как бы вкладывает

в них частицу своей жизни. Они быстро индивидуализируются — грамота в руках Федора дрожит так, как она может трепетать в руках запуганного и затравленного человека; револьвер, который подносит к своему виску Федя Протасов, становится грозным предвестником смерти. Выпав из рук актера, вещь теряет силу, она оставляет зрителя равнодушным, покинутая той жизнью, которую вложила в них хитрая москвинская рука. Приняв на свое полное и коренастое тело жилет шантажиста и проходимца или царскую одежду московской Руси, он делает их принадлежность изображаемым героям более несомненной, нежели подробнейшие ремарки авторов с кропотливым описанием свойств и качеств их одежд.

Невозможно без увлечения смотреть, как мелкими шажками, по прямой линии, в развевающемся халате, глядя прямо перед собой острыми глазками, мчится напомаженный повелитель села Степанчикова, или как хитро взглядывая исподлобья, с котомкой за плечами, покряхтывая и бормоча входит в ночлежку лукавый старец из горьковского «Дна». Но бывает также необыкновенно страшно и волнующе видеть, как в маленькой комнате трактира медленно и молчаливо, на долгой паузе (Москвин знает силу молчания), решается на самоубийство Протасов или как сокрушительным и могучим движением бросает деньги капитан Мочалка и как дрожит его ободранная бороденка. Недаром он — один из лучших актеров кино.

Москвин берет один из случаев жизни и обобщает его. Прошлое охватывает москвинских героев; они появляются в театре на недолгий срок, они возвращаются в жизнь, покинув сцену. Манера, жест, лицо, говор, мимолетно брошенный взгляд — несут след прежних встреч и событий.

Своеобразное, почти четырехугольное лицо, с выдающимся подбородком и вздернутым носом, хитрое и лукавое, немногими чертами преображается в масляное лицо Опискина или истомленное и безнадежное Снегирева. Грим неподробен. Парик, борода, пенснэ — меняют не лицо — москвинская маска неизменна — меняют суть, выражение лица. Так же меняются глаза — они становятся то небольшими и острыми, то глубокими, тоскливыми, и недоумевающими. Лицо несет следы прошедшей жизни.

Он любит хитро подметить привычки своих героев и неожиданно их гиперболизует. Впрочем, и в этих наблюдениях он неподробен. Несколько выхваченных и преувеличенных черт ведут к раскрытию образов. В выборе приемов, несмотря на их простоту, он находит трюк. Этот простой и крепкий художник внезапно становится лукавым затейником. В густоте зачерknутого быта он находит необыкновенные черты и разительные жесты. Между тем, Москвин все же не является экспериментатором, он не покидает основ и зерна образа, трюк становится типическим для образа, а Москвин — хитрым и мудрым наблюдателем.

В том лукавстве, с которым он доносит до зрителя трюк — явственные отголоски крепкой, ядреной народной игры. Москвин знает, что художник должен быть занимателен, но трюк может показаться залихватским и задорным, он дерзко и весело берет характерные черты, есть частица удали в его реалистической игре. Зная плоть слова — он вообще чувствует плоть и жи-

вую мощь того лица, которое он изображает — он заботливо разрабатывает слово. Он любит жирную московскую речь — речь «московских просвирен». Он вводит областную речь или, как в Луке и Пугачеве оканье и этнографические оттенки, чтобы окончательно закрепить силу живого слова. Некоторые из трюков он строит на внезапной перемене интонации и лица. Он меняет самый тембр звука своих героев. Так, выслушав друзей, Фома Опискин — после спокойного разговора — внезапно гнусавит и зло задает свои искушенные вопросы и бросается на внезапные выходки. Напрасно искать в этих приемах Москвина большого разнообразия. Они — повторны, они — общие его игре. «Речь в нос», которой он наделяет большинство своих героев, становится характерной для его образов и неотразимо комическим воздействием на зрителя. Изменяя темп речи, он внезапно заговорит протяжно или, наоборот, после молчания, заговорит быстро, мелко, дробя слова.

Может быть, именно простота его приемов и затрудняет полное раскрытие смысла его творчества. Его приемы просты, более того — неискушенному зрителю, не сознающему мастерства Москвина, они могут казаться простоватыми. Трудно представить себе его в ролях иностранного репертуара. Федя Протасов и Лука давно заслонили ранних Остермана и Крамера. Гамсун и Гауптман заменены Чеховым, Горьким и Треневым. Впрочем, и свои иностранные роли он переключает на русский лад и переводит их в тот основной образ, который он неизменно играет — как каждый большой актер.

Он оправдывает трюк из психологического зерна роли. Он любит внешнюю исключительность, но делает характерное типическим для данного лица. По существу, каждый его образ есть сгущение жизненного факта. За его Загорецким и Епиходовым растут и живут тысячи других Загорецких и Епиходовых. Он переключает натуралистическую жизнь своих героев в эстетическую жизнь сцены, и колеблет свое исполнение на гранях густого реализма и веселой народной игры. «Народная игра» опутывает его исполнение, она делает эстетически приемлемыми те темы, которые он захватывает. В театре он разоблачает его народные истоки — здесь заключена истинная «современность» Москвина. Он подходит к ролям с крепкою мужицкою хваткою. Густые насыщенные образы Москвин создает, вбирая в себя гущу жизни. За ними, за размашистою убедительностью его игры возникает Россия — Россия Щедрина, Достоевского и Чехова. Хитрые и кряжистые, страдающие и радостные — они служат разрешением одной темы—может быть, для самого Москвина и совершенно бессознательно. Москвин выделил из густоты и мелочей быта самые занимательные, немногие, но жирные черты. Постепенно «двадцать два несчастья» — жалкий конторщик Епиходов, неудачный любовник «Вишневого сада» — и все другие, с кем встретился Москвин на своем сценическом пути,— выходит из пределов только занимательности.

Существо и приемы его игры ближе всего определяются старинным «скоморошеством» и древним «шутовством». В строгой традиции XIX века Москвин разоблачает традицию крепостного театра и за затейливыми и будто бы неуклюжими приемами, доведенными у Москвина до предельного мастерства, раскрывает лицо того актера, которого знала усадебная, крестьянская и про-

винциальная Русь,—актера, который своими комедиантскими приёмами передавал зрителю тоску и радость деревни. Не потому ли у Москвина одни из сильнейших образов, образы искривленных людей — людей-«шутов и скоморохов», как Снегирев Достоевского.

Точно так же, как когда-то играли в крепостном театре первые русские актеры — точно так же и Москвин пользуется противоречием преувеличенного изящества движений с неподатливостью коренастого тела. Его Пазухин необыкновенно смешно подтягивает одежду; в минуту крайнего торжества он, ожесточенно выкидывая ногами и нежно помахивая руками, пускается в пляс; неподатливое тело ходит ходуном. Своими короткими неуклюжими руками он охватывает, как бы поглощает и вбирает в себя завоеванные деньги.

Изображая Загорецкого и Голутвина он погружает зрителя в грибоедовскую Москву и в Москву Островского. Он раскрывает самую суть, психологическую основу жизни, создавшей этих двух шантажирующих героев. Его преувеличенно изящный, но кряжистый Загорецкий смеется дробным смехом. Смех переходит в неслышный смешок. Смешок обрывается и заканчивается изогнутым движением — Загорецкий бежит дальше, быстро передвигая обтянутыми ножками, суетливо натягивая и застегивая перчатки. Сидящий на нем костюм, изобретенный «рассудку вопреки, наперекор стихиям», кажется неестественным на этом неожиданном посетителе московских гостиных. За модным человеком 20-х годов яснеет неотесанный жилет московских переулков. У новоявленного европейца Голутвина котелок с'езжает на нос, пенснэ дрожит, Голутвин присаживается на кончик стула, растопырив ноги — он осторожно, чрезвычайно прямо держит сигару, медленно отрывая ее ото рта и так же медленно цедит и отрывает слова—спокойно, безразлично и гнусаво.

Если Чехов играет человека навязчивой идеи, то Москвин изображает хитрого человека «себе на уме». Недоверчивость и одновременно обманутая жажда веры — психологическая основа его героев. Они отделяют себя от людей, с которыми встречаются в жизни. Жизнь приучила их к затаенной мысли и к скрытым поступкам. Порою они маскируют свои желания смешливыми выходками юродивых; скоморошество игры переплетается с подлинным зерном играемых образов. Его герои ходят по жизни легкой поступью только изредка,— когда находят разрешение своей затаенной мысли. Тогда затаенная мысль проникает все их существование, она диктует все их поступки, она скрывается за всем их поведением. В таких-то ролях Москвин кажется необыкновенно радостным и успокоительным актером. Лукавый старец Лука приносит счастье обитателям ночлежки. Москвин проповедует, но хитро и затейливо скрывает за приятно идущей речью свою философию жизни. Философия остается не высказанной — она не в речах, а в действиях и поведении. Вольные и свободные в своей простоте люди идут своим путями по жизни, для которой они нашли свое простое и вольное разрешение. Трагедия отсутствует—Москвин смотрит на жизнь с усмешечкой, немного удивляясь тому, что другие люди бьются мучительно и тяжко над вопросом, который он сам давно и, для себя, мудро разрешил. В своих высших проявле-

ниях они ставят перед собой вопросы жизни — те, которые ставят герои Горького — о том, *как и чем* жить.

Из всех писателей Москвину, вероятно, должен быть ближе всего Горький — не столько по приемам творчества, сколько по тому взгляду, который бросают оба эти художника на жизнь.

Но еще чаще затаенные мысли москвинских героев не находят выхода и еще не знают решения. Тогда они живут тяжкой и запутанной внутренней жизнью. Эта мысль тяготеет над ними и неустанно заставляет думать над ее решением. Порою кажется, что все их поступки и все их действия скорее случайны, чем закономерны. Их жизнь изменится, как только они найдут разрешение постоянной присутствующей в них мысли, которая делает их существование загадочным. В крайних и преувеличенных своих выражениях она может казаться граничащей с тупиком. Москвин знает жестокую силу затаенной мысли. Так он воспринимает достоевщину — искривление мысли. Капитан Снегирев внезапно, после долгих унижений, разоблачает себя, разоблачает свою гордость. Герои Москвина внезапно прорываются недоверчивым движением, хитрым взглядом и подозрительным смешком — они понимают, что другие люди их обманывают и скрывают от них истину. Иногда даже кажется, что к этой своей мысли о жизни они относятся не любовно, а скорее злобно, яростно и жестоко. Долгие годы обид и унижений искривили их человеческое лицо — не так ли было когда-то искривлено человеческое лицо актера в тоскливом и страшном крепостном театре. Как виднелось это человеческое лицо за играми — буйными играми скоморохов. Чем сильнее обида, тем ожесточеннее шутовство, чем глубже унижение, тем яснее скоморошество москвинских героев. Самые недоверчивые из них хотят верить.

Москвин соединяет комизм с лирикой. Он делает лирически взволнованными своих самых смешных и самых уродливых героев. Можно даже говорить о своеобразном лирическом любопытстве шантажиста Голутвина. Содержание мысли и желания не так существенно. Епиходов может мучиться своим комическим и несчастливым положением. Он — суб'ективно — страдает гамлетовскими страданиями, об'ективно — он попадает в неудобное положение. Мучения не становятся меньшими, но они оправдывают смешного человека.

Мысль героев Москвина составляет одновременно и лирическое, волнующее, зерно их образов. Она может быть очень мучительна — тогда *несоответствие силы мучений с незначительностью* неосуществленной идеи становится невыразимо комическим. Неуклюжий Епиходов мечтает об изяществе жизни. Таков один из основных *приемов* Москвина.

Многим творчество Москвина кажется оптимистическим и утешительным. Вряд ли, однако, возможно приложить к Москвину — ко всему его творчеству в целом—такое определение. Его оптимизм сомнителен. Это оптимизм горьковского Луки. Сн ценит не смысл жизни, а самое существование. Он показывает человека, а не его назначение. Он любит плоть и кровь людей, вне зависимости от того, что они делают. Иногда он находится в противоборстве с автором — городничий Москвина и даже Фома Опискин получают утвер-

ждение в качестве несомненных и убедительных фактов жизни. Человек его интересует, как жизненное и потому волнующее явление — «такова жизнь». Если М. А. Чехова интересует цель, то Москвина — конкретное содержание жизни. Если герои Чехова «одержимые идеей», то герои Москвина медленно, мучительно живут желанием и мыслью, которые в них заключены. Формула искусства, как «познания жизни», находит в нем полное выражение. По его исполнению можно учиться раскрытию законов, правящих человеческим существованием. Москвин делает возможным в нашей современности понимание того, как и откуда происходят такие люди, каких он изображает — как они рождались и росли в глухих провинциальных закоулках, в московской Руси, в разрушающихся дворянских усадьбах и как они оттуда дошли до наших дней.

Все же он, раскрывая в конечном результате внутреннее зерно своих героев, не отождествляется с ними до конца. Он остается актером изображения, если не представления. Касаясь, по большей части, людей, лирическая взволнованность которых сплелась с комизмом положений — он сильнее всего в трагикомедии, в которой он скрывает тоску своей основной темы — темы о мужицкой Руси. Играя изысканных героев, он остается мужицким актером, изображающим этих людей. Как будто бы Москвин вобрал в себя ту горечь, которую он увидел и услышал в прошлой русской жизни. Уже невозможно оторвать те черты, которыми он награждает свои создания, от щедринских городов Глупова и Крутогорска, от заброшенных степей и лесов. Людей, в которых сильна интеллектуальная — «интеллигентская струя», он переводит в разряд неотчетливо тоскующих, как он перевел Федю Протасова. Тоска становится подсознательной основой его творчества, он в большинстве изображает людей, которые ищут «правды» и ее не находят.

Сейчас он готовит Пугачева. Может быть, ни в одной другой его роли так ясно не сказываются основные черты его дарования. Пугачев Москвина — не народный вождь и не бунтарь, он случайно вынесен народом, у него жажда жизни и неотчетливое стремление преодолеть и поглотить ее, у него лицо плотоядного человека с толстыми губами, жирной бородой и глубоко сидящими глазами. Вместе с вольницей он бродит по Яику, перебрасываясь от гульбы и грабежа к суду и мести. В нем сплелись лирическое ожидание любви и разухабистый, залихватский разгул. За шутовством и скоморошеством растет явственная мысль о казачьей вольности и о свободе народа. Когда в последнем акте плененный Пугачев-Москвин медленно поднимается во весь рост в замкнувшей его клетке и, потрясая ее прутьями, тоскливо кричит — этот крик звучит, как страшный и не находящий ответа крик всей прошлой деревенской лесной Руси. Москвин поднимается до самого большого напряжения. Он разоблачает себя. От хитрой усмешки, брошенной на жизнь, от ядовитой наблюдательности, от всеоправдывающего любопытства и пронизывающей жалости он поднимается до раскрытия древней крепостной тоски, которая ранее неслышно проникала все его образы.

Вероятно, было бы невозможно смотреть в лицо этой правде жизни, как ее увидел Москвин, если бы он не сопроводил ее своими веселыми приемами народной игры. Вероятно, было бы невыразимо страшно смотреть на изобра-

жаемых Москвиным людей, если бы он не глядел на них с мудрой усмешечкой, чувствуя плоть и мощь надвигающейся жизни, посматривая острым и лукавым взглядом. В нашей современности он толкает к познанию жизни и раскрывает жизнь прошлого. Оказывается, что его «современность» не так проблематична. В крестьянских и деревенских театрах он был бы так же понятен и ясен, как сейчас в Художественном театре, в Москве. Удивительный — мужицкий актер Москвин.

КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ

Ив. Касаткин. Деревенские рассказы. Государственное Издательство. Ленинград 1925 г. Стр. 238.

Ив. Касаткин принадлежит к той группе крестьянских художников-реалистов, которая целиком — мыслью, словом и делом — вросла в революцию. Эта писательская группа (С. П. Подъячев, А. Чапыгин, покойные Муйжель и А. Неверов, Вл. Бахметьев и др.), — группа все еще не изученная и не исследованная, всегда оставалась верной лучшим заветам русской литературы.

Творчество Ив. Касаткина, своеобразного и самородного художника, посвящено, в подавляющей своей части, старой деревне, старому, ныне перерождающемуся, избяному укладу. Книга «Деревенских рассказов» Ив. Касаткина, развертывающая уходящий, но все еще крепкий мужицкий быт, не теряет в наши дни ни своей свежести, ни своей социальной ценности. А политическая обстановка современной деревни: рост кулачества, кооперирование и организация средних и беднейших слоев крестьянства — заставляет особенно внимательно прочесть эту книгу, где главным героем является мужик-горемыка, мужик-бедняк.

Бедняцкое мужицкое житье, горькое, как песня колодника, обрисовано Ив. Касаткиным во всей его жуткой и тяжкой огромности. Оно усугубляется еще и тем, что все рассказы Касаткина взяты из мрачнейшей (после 1905 г.) эпохи, когда разбитая революция крепила паруса и снасти корабля будущей победы. 1905 г. — освободительное предутрие России — оставило в деревне глубочайший след: старинные четки «долготерпения» переплавлялись в искупающий свинец, молитвословие — в бунтарский рог призыва. В рассказе «Богомаз» старик Кузьма Овцын, всю жизнь изготовлявший лубочные иконные лики, никак не может узнать знакомых по базарам людей: «и ухватки иные, и слова иные, даже говор иной, — не плавный, степенный, а отрывистый, ершистый». Однако, не узнавая, Кузьма понимает их: его сын, арестованный в 1905 г., томится в ссылке. И, понимая, чувствует «ожидание чего-то близкого, что, может быть, вот уже тут, за порогом».

Рассказы писателя вплотную подводят нас к деревенским классовым противоречиям, — писатель отлично понимал социальную обстановку до-революционной деревни и, понимая, вскрыл ее со всей настойчивостью и глубиной. Тимофей Жвака, занявший у лавочника полпуда муки, стал его батраком. Вспахивая же огород лавочника, он думал: «Вот, мол, сидит тут человек и мнет во рту какую-то сырь, ни сыт, ни голоден... и вот живет рядом другой человек, и под рукой у него что тебе надо... как же это так? руки и ноги у всех одинаково устроены, а живут люди по-разному? Мужик, хозяин — единоличник, разобщенный с соседом, а в большинстве и враждующий с ним, не осознавал отчетливого пути к победе, но он всегда верил в нее. И недаром мужик повести «Тюли-Люли» отчаянно грозил кулаку-мельнику: — А, сстерьва... кровопивец. Погоди-и...

Тяжесть, придавленность, нужда проникают все рассказы Ив. Касаткина. Их первопричина — социальный строй, господство классового меньшинства—сквозит в каждом рассказе писателя. Старая русская деревня, художественно-отраженная в его творчестве — подлинная, исторически верная, деревня. У Ив. Касаткина почти нет тихих, созерцательно мягких зарисовок, свойственных литературе дворянской и народнической. Его

слова суховаты и жестки. Его мужик — живой, ничуть не стилизованный, его мужик жаден и скуп, плутоват и груб, дик и завистлив. В то же время, он глубоко, по-настоящему, человечен и несчастлив. Ив. Касаткин, далекий от лапотной романтики народничества, одинаково далек и от того натуралистического литературного направления, в основе которого скрыта ледяная презрительность к народу (Бунин и др.).

У Касаткина есть немало рассказов о детях, и эти его рассказы — рассказы о радости отцовства и материнства — лучшие в его творчестве.

Из них особенно хочется выделить «Тюли-Люли», рассказ, наполненный черемуховым благоуханием прочувствованности и стройной законченностью человеческих обрисовок. «Тюли-Люли» — история деревенского подростка — Силашки, история постепенно осмысливаемого соприкосновения Силашки с окружающим его внешним миром. Автору удалось взглянуть на окружающую ребенка обстановку ребяческими же, восприимчиво - жадными, глазами. А это доказывает художественный размах писателя. «Тюли-Люли» несколько напоминает две другие современные вещи, мастерски повествующие о детстве: «Курымушку» М. Пришвина и «Повесть о многих превосходных вещах» Ал. Н. Толстого, — напоминает, прежде всего, своей глубинной погруженностью во внутренний мир ребенка, своей своеобразной интимностью, в атмосфере которой показана формировка расцветающей человеческой жизни. Однако рассказ Касаткина резко отличен от рассказов Толстого и Пришвина. «Никита» Ал. Толстого — барчук, баловень усадьбы и парка, правнук счастливого Коленьки Иртеньева, и его детство протекает тихо и мягко, как голубая река по спокойным, травяным равнинам. «Курымушка» — дитя той же степной усадьбы, но в нем с первого же осмысленного шага определяется человек, перерастающий пределы своего родового быта, человек-бунтарь, бунтарь-индивидуалист, и рассказ Пришвина уже по-настоящему захватывает читателя. Рассказ о детстве Силашки переносит читателя в нищую деревенскую избу, и здесь вспоминается другая повесть о крестьянском детстве — «Повесть о днях моей жизни» — Ив. Вольнова. Но в прекрасной повести Ив. Вольнова все-таки много от воспоминаний, в ней не везде выдержана целостность непосредственно-детских переживаний, в то время как «Тюли-Люли» — подлинная поэма детского мировосчувствования.

«Тюли-Люли» очень несложный рассказ: это несколько эпизодов, наблюдаемых ребенком — гибель деда, его похороны, зимние праздники, весна, поездка с отцом в город. Поездка в город — картины весеннего восхода, росистость полей, шум базара—лучшие странички всей книги. В городе отца Силашки настигает тяжелейшее мужицкое горе: у него уводят лошадь, и домой приходится возвращаться пешком. Заключительная часть рассказа, возвращение домой, глубоко волнует.

«Петрунькина жизнь», «Галчата», «Райпросвет и Гришка» — все эти рассказы согреты той же нежностью и любовью. «Петрунькина жизнь» — скорбная эпопея переселения обнищавшей крестьянской семьи в город, кончающаяся смертью простудившегося в дороге ребенка, а два последние рассказа — рассказы о детях в условиях современности. В этих рассказах уже заметно новое, чувствуется стихийно поднимающийся человек эпохи перерождения, намечается,—конечно неясно, более подсознательно, чем видимо,— человек, глубоко-враждебный старинному деревенскому быту. И недаром, наблюдая пьянство взрослых, ребенок мечтает о «райпросвете», о будущем, облекая его в собственные образы и звуки: «серебряным караваем летит над самой Гришкиной головой месяц, ни чуточку не отставая, а звезды — вот они! — так мимо носа и чкалят, хоть пригоршнями их греби». И недаром в тихий деревенский вечер, в студеный вечер осени, ребятишки («Галчата») собираются играть в совет и рассуждают о царе, боге и большевике. — «Завтра я да Колька, да Самылка, да Гришан в Митькином овине совет открывать будем»...

Ребенок вырастает в общественника и борца. О крестьянах - борцах о их жестокой схватке с смертельно-раненым, но все еще не потерявшим способности защищаться, миром золота и крови писатель рассказал в «Летучем Осипе» и «Вражьей силе». Конечно, эти рассказы менее удачны,

они писались в качестве агитационных, печатались в «Красноармейце» (и были особенно нужны), но от так наз. «голых агиток» они очень и очень далеки: в них те же живые люди, тот же художественно четкий и взволнованный рисунок.

Но этими двумя рассказами и исчерпывается у Касаткина отражение современности. Он еще не подошел вплотную к деревне наших дней, к деревне великой бытовой вражды и потрясений. Читатель надеется, что писатель в дальнейшем отразит эпоху деревенского перелома — ее отходящий вековой сон, замолкающую колыбельную песнь религии, затихающую прялку «непротивления» и «долготерпения», ее новые административно-советские формы, и, на-ряду с этим, упорную цепкость традиций и верований.

У Касаткина, писателя - коммуниста, художника - реалиста, есть все данные для успешности этой работы: он с редкой теплотой чувствует деревню, ее быт, говор и песню. Это подтверждается как рецензируемой книгой, так и другой его книгой, может быть, лучшей («Лесная быль»), где все тот же старый деревенский быт. Но, повторяем, несмотря на то, что творчество Ив. Касаткина насыщено прошлым, он глубоко — революционный и, следовательно, современный писатель.

Он даровитый писатель. Он умеет, не задерживаясь на мелочах и деталях, сразу перейти к основному, первопричинному и, развертывая основу сюжета с минимально-экономной затратой словесного материала — создать образ цельный, живой и действенный. Короткость его художественных характеристик всегда выпукла, отчеканена и отгравирована. У него внимательный, остро подмечающий и схватывающий особенности глаз. Почти охотничье-изощренная зоркость видна в его человеческих образах и описаниях. «Охотницкая у него на все сноровка: там нагнется, травку сорвет, понюхает, там на ходу затесинку на дереве сделает, а то вдруг встанет, оштопорится, ладонь к уху — и слушает, слушает...» («Вражья сила»).

Касаткин — мастер подмечать почти невидимые оттенки и краски: «Арефа разглядывал свою бороду. В луче солнца был виден каждый волосок отдельно, будто вычищенный для праздника: этот золотой, а этот с краснинкой...» («Половодье») и т. д.

Писатель и в пейзаже остается самим собой, далеким от банальности и трафарета, и здесь он находит свои, если и скромные, то все же новые слова. Такие же новые слова находит он и тогда, когда изображает — и прекрасно изображает — лесной, звериный и птичий мир. «Празднично выряженный дятел на посиҷелой гиблой сухостоине вдруг звонко з а ц е ф к а л, будто его ущемили. Вот он проворно в з в и н т и л с я еще повыше, глянул по сторонам, у п е р с я н а х в о с т и к и часто-часто застукал носом в полое место»...

Ив. Касаткин, как нетрудно убедиться даже из этого, взятого наугад, отрывка, писатель - словолюб, писатель, любящий слово, берегущий его, знающий его огромную цену. Рассказы Ив. Касаткина написаны удивительно-чистым, красивым, своеобразно-построенным, но безупречно-правильным русским языком. Быть может, в этом одно из крупнейших достоинств его творчества, ибо в области языка современная литература далеко не благополучна.

Ник. Смирнов.

Борис Лавренев. В е т е р. Сборник рассказов. Рабочее издательство «Прибой». Ленинград 1925 г.

Бесспорно одно: Лавренев на редкость несамостоятелен, несмотря на довольно смелую манеру письма. С этим вынуждены будут согласиться даже ленинградские патриоты-рецензенты, мужественно указавшие на него, как на восходящее светило новейшей литературы.

Лучшее произведение в книге — повесть «Ветер». Такие же рассказы, как «Марина» и «Гала-Петер», собственно говоря, даже и нельзя принимать всерьез. В самом деле. Разве теперь, когда типографская краска засохла очень крепко на полосах книги, сам автор не захотел бы скрыть многих, стыдно выступающих в ней страниц? Разве кому-нибудь не ясно, что они отзвуки той литературщины, что прорывается из прошлого через огненную завесу революционных годов и к нам?

От многочисленной плеяды литературных мещан — Лазаревских, Ленских, Каменских, Вербицких. Ведь это же они, восставшие из гроба, написали рассказ «Марина».

«Любила Марина, как ветер.

«Любила, как море.

«Была в ней жаркая порывистость, вихрящийся огонь, грозная правда, постоянная напряженная тревога, и были наши дни и наши степные ночи, как искрящийся праздник. Не знал я с Мариной будней...» и т. д. (стр. 161).

«Слетали слова, как розовые золотокрылые птицы, кружились по комнате, колдовали и пьянили...»

«Тревожная красота ее получила надлежащую оправу».

Вообще, этим рассказом Лавренев мог бы по праву заслужить славу новейшего Соломона мещанских девиц и погибающей горьковской Насти, если бы не было в нем на-ряду с этой геранно-любовной лирикой на 67% кокетливого интеллигентского кривлянья. Немного бы ему побольше святой наивности. Но наивности у Лавренева ни грана.

Другие его рассказы написаны лучше, терпимей. Но и здесь в стиле, в сюжетах автор абсолютно не оригинален. «Звездный цвет», лучший из четырех рассказов, сюжетом напомнит читателю лермонтовскую «Белу», оклеенную обоями современного рисунка, «Происшествие» — похоже на лучший рассказ Зозули «Мелочь», «Гала-Петер» — отрывок из прекрасной повести В. Итина «Урамбо». Здесь дело совсем не в плагиате, а в привычке автора мыслить исключительно литературно: по линиям установившихся часто совсем неплохих образцов. Повесть «Ветер» во всех отношениях более интересное и значительное произведение. Первая страница:

«Поздней осенью и зимой над морем, над Россией, над Европой мечется неистовствующий, беснующийся, пахнущий кровью тревожный ветер войны».

Таким же точно стилем написаны еще многие страницы повести (см. 22—23, 24, 58).

Не нужно быть литературной ищейкой, чтобы сказать:—да это же Пильняк снова и снова переверстывает страницы своих произведений. Не будем называть других имен, пусть читатель посмотрит сам страницу 63: он узнает ее «платоновский» прообраз.

Несмотря на все это, повесть все-таки заинтересовывает. За Гулявиным следишь, судьба его волнует и держит вплотную у своей линии читательское внимание. Гулявинский революционный напор страницами передан выразительно. Это не бескостное описание: во всех приключениях героя есть нерв и порой неожиданность разрешения. Хотя повесть написана и не от первого лица, но все события и даже словарный лексикон повести автор выдерживает в стиле своего героя. Это хорошая и благодарная манера: внимание не рассеивается, а постоянно фиксируется как бы одним движущимся рефлектором.

К сожалению, Лавренев эту манеру часто самым безбожным образом нарушает: то целыми страницами à la пильняковской лирики, то собственно-интеллигентскими излияниями.

«Обидно Василию.

«Идет по Невскому вечером с митинга, а кругом разодетые, в шляпах и котелках, а из-под котелков в три складки жирно свисают затылки.

«Дать бы по затылку, чтоб голова на живот завернулась.

«Не люди — эксперименты».

Это, действительно, гулявинский стиль.

И тут же дальше:

«Плюнет с горя Гулявин и идет через мост к академии, где в ледяную черную невскую воду смотрят древние сфинксы истомой длинно-прорезанных глаз, навеки напоенных африканским томительным зноем» (22 стр.).

Это уже, как видите, совершенно иной стиль, далекий от элементарности гулявинских восприятий. Лавренев и здесь не удержался от того, чтобы своего революционера-матроса наделить, хотя, к счастью, не очень щедро, розоватыми принадлежностями с туалетного столика той же Марины: Гулявин, как и Марина, любит ветер: «Выйдешь в парк отдохнуть,—и тут нет покоя от проклятого соловьиного треска, вздохов, шопота и сиреневого пряного раздражающего духа» (стр. 62).

Но, несмотря на все это, Гулявин живет на страницах повести. Он не тонет

в словах, а фигурой во плоти возвышается над ними. Это доказывает, что Лавренев не бесталанен и писать может.

Теперь главный вопрос: является ли Гулявин, действительно, положительным и реальным типом для Октябрьской революции? Насколько он глубок, есть ли в нем живые корни своей страны, своего класса и т. д.? Думаю, что здесь именно обнаружилось, что Лавренев писатель неглубокий и несложный. У его героя мы не найдем типичных и художественных, т.-е. пахнущих подлинной человечностью, черт: его герой сделан в тонах хорошего лубка, современного Бовы-Королевича. Вспомните, как любит Гулявин Аннушку, как он сходится с другими женщинами: станет ясно, что здесь лишь ствол, схема верны, а корней и разветвлений у них нет: не показано цели, смысла его любовных похождений. Как Гулявин относится к неизбежному для него в резолюции убийству?

«Утром допрос, а с допроса к садовой стенке.

«Дело простое. Сегодня мы вас — завтра вы нас, а церемонии разводить нечего, и для пленных — конвоев и обозов не полагается».

Думается, что в подлинных переживаниях людей революции, таких ясно-безмятежных в стиле разбойника Чуркина доводов не было, это — лишь чиновнически-писательская отписка, как отписка и следующее описание сражения:

«И встретить не успели, как засвистали офицерские шашки, захрустели под ударами кости и черепа».

Все это, конечно, говорит за то, что рано еще автору давать звание писателя. Назовем его книгу — литературным опытом, не лишенным удачных страниц и даже целых глав. Автору еще многое надо заново переплавить из своего внутреннего писательского инструментария, чтобы достичь желанного совершенства.

Воля к писательству у Лавренева есть,— это бесспорно.

Валериан Правдухин.

«Охотничий рог». Книгоиздательство «Современные проблемы». Н. А. Стомляр. Москва.

Есть такие люди, на которых нельзя смотреть без улыбки... Другое дело, когда такой человек заговорит с тобой, или как-нибудь придется с ним стакнуться, тогда... может, и заплачешь. Такие же бывают и книжки и к такому порядку «Охотничий рог» и относится...

Вот уж, воистину, не вспомнишь чеховского совета о ружье, повешенном на стенку на первой странице; тут, можно сказать, идет с первой до последней страницы... такая пальба!

Сейфуллина, Пришвин, Пильняк, Иванов... Лидин и... два критика, Смирнов и Правдухин. Пусть читатель не смущается, что раскрывается книжка с осечки... Так и полагается в охотничьем деле: без осечки ружья не бывает так же, как писателя... без самолюбия!

Пусть не смущаются, потому что в целом книжка очень удачная и прочесть ее надо не только всякому, умеющему пуделять, в ней и не охотник-читатель найдет много приятного.

Первый рассказ про уток Новикова-Прибоя...

Хороша утиная охота: всегда непременно заря, всегда непременно камыш и так далее — одним словом все, чего нету в рассказе: написан он хмурым языком, словно автор, когда писал его, сильно на жену сердился...

Новикову-Прибою пора же понять, что такие вот описания, как, например: «топь, упуская добычу, жадно чавкала, как прожорливая свинья», — способны только расположить и горемыку-стрелка пустить дуплета в любую страницу и без... осечки.

За неудачными утками читатель хорошо отдохнет на рассказах Пришвина. Вот, слышали мы, это уж охотник что надо! Конечно, важнее, что Пришвин—недурной писатель!

Если уж птицы у него в рассказе—так с перьями, собаки—так с чутьем (автор так и говорит в рассказе «Натаска»: «у меня первая в мире собака!..». Кончено, заливает, скажем, немного, но... все же...). Важнее, конечно, что писатель Пришвин со своим стилем, со своим словом, с красками и образом и какая там у него собака, и кто эту собаку убил («Анчар»),— бог с ним, настоящий мастер — новеллист.

Из шести его рассказов можно особенно выделить «Анчар» и «Гон».

В последнем городскому читателю должна быть особенно ясна тонкая резьба при описании лесной осенней природы, если только он не дачник, это ведь дачники выдумали плохую погоду, а в рассказе, как на грех, именно погода ни к чорту, но очень хорошо об этом написано...

Дальше следуют не безынтересные очерки Николая Смирнова, рассказы безусловно достойные, вполне литературные; только осмелимся заметить молодому критику: в первом рассказе есть красочность и приподнятая лиричность повествования; но не она ли заставила автора спутать глухаря с... тетеревом. Разве у глухаря хвост — лира? Уж не та ли лира, на которой играл царь Давид?.. Нам же всегда казалось, что глухариный хвост больше похож на черный веер Клеопатры после того, как ее бросил Антоний. Но это, конечно, больше по охотничьей части и к неточности образа отношения не имеет, рассказы от того ничего не теряют и читаются с удовольствием.

Менее красочен, хотя более правдив в смысле подробностей, рассказ Правдухина. В сущности, незачем было только сюда приплетать... стрепетов, птиц, конструктивно в этом рассказе требующих другого рассказа... Из рассказа Правдухина мы узнаем и интересную историко-литературную подробность, как и подобает ждать от критика. Тургенев за всю свою бывалую в охоте жизнь ни одной дрофы (дудака!) не убил. Если посчитать в рассказе, сколько сразу убил их Правдухин, станет за Тургенева положительно стыдно!.. Очевидно, старые писатели пуделяли так же здорово, как и... писали.

Скажем, к случаю, по поводу историко-литературной справки: не случилось ли это пуделяние с Тургеневым после того, как он написал тоже охотничий рассказ «Перепелку»?

Правдухину, как критику и охотнику,— тема.

Что удивительней всего, так это Сейфуллина, Лидия Николаевна (так в рассказе сказано) в роли амазонки... с мужем... на телеге, разделяющая в рассказе «Поневоле» пагубную страсть своего супруга. Судя по тому, как она с мужем обходится на охоте и вообще обращается с огнестрельным оружием, женщина она крайне осторожная, бережливая и очень хозяйственная, потому кажется очень странным, что в рассказе ее в языке торопливости гораздо больше, чем у ее супруга страсти к охоте... Но, принимая во внимание удачную цитату из Чехова перед рассказом,—оно понятно и извинительно.

Дальше просто... охотники, Шубинский и Зорюн, охотятся они здорово, но пишут плохо.

Зато хороша крутая и соленая гуща настоящей охотничьей жизни и настоящей живой природы в рассказах Чапыгина, которого несоразмерно мало в этом сборнике напечатали... У него есть и еще более яркие рассказы про «охотных людей». Рассказ «Первая встреча» дочитываешь с мурашами.

Но вот что прочтется и перечтется в этой книжке, так это «Нежинские огурцы» Вс. Иванова. Рассказ, действительно, свеж, как огурец с гряды. Немного Синебрюховым тянет... но кстати!

Хорошо написаны «Волки» Пильняка, только... скучновато будет охотникам. В общем книжка безусловно по нашему времени удачная, хотя по прочтении и согласишься с Лидией Николаевной (рассказ «Поневоле»):

Хорошо старики писали!

С. К.

М. Борисоглебский. Святая пыль. Ленгиз. Ленинград 1925 г. Стр. 195.

Представьте себе сдобную кустодиевскую бабу, к багету которой прикреплена этикетка:

«Грешно заглядываться на эти пышные буржуазные телеса».

Ясно, что внимание зрителя привлечет не постное предостережение, а скоромная, радостно и ярко написанная картина. Нечто в этом роде случилось со «Святой пылью».

В предисловии к повести автор уверяет, что он подошел к монастырскому быту, легшему в основание его литературного произведения как следователь суда нашей сегодняшней России. Повесть же сама по себе свидетельствует как раз о другом. На всем протяжении

«Святой пыли» мы не только нигде не видим суровой складки меж бровей тов. Борисоглебского, наоборот, он томно и благодушно распоясался в монастырском раю, до краев полном всякими аппетитными яствами. Интонационно автор не во вне творящихся в монастыре безобразий, а где-то очень близко от прикрытого Христом разгула. Иначе нарисованная Борисоглебским картина не получилась бы такой «привлекательной».

Указывая на это обстоятельство, мы далеки от желания навязать художникам слова евнухово бесстрастие.

Половые элементы жизни незачем скрывать в искусстве.

Они не только допустимы, но и желательны. Потому что дают художественному произведению спиртовую, пьянящую крепость. Есть эротика в произведениях и Пушкина, и Лермонтова, и Толстого, и Горького. Но эротика эротике — рознь. Прекрасно самчество Левина в «Анне Карениной» и отвратительна половая подоплека рассказа Андреева «Бездна». В первом случае — здоровое мужество, во втором — аппетитно преподнесенная похоть «рыжих», хулиганов.

Монастырский разгул «Святой пыли» имеет много общего с примером последнего порядка.

Игуменья Макриния угощает своего братца девственницей Фаиной, о. Андрей безобразничает с монахинями, Лукерья и Манефа вспоминают пороки острова Лесбоса, Микола насилует монашенку Дору; шарлатаны, возглавляющие монастыри и церковь, уродуя доверчивые души, купаясь в сытой лени и пороке, с ловко наигранной святостью, призывают невежественные массы к платным богомольным радениям — казалось бы, что все эти факты должны были бы дать повод автору для размышлений, далеких от добродушия. А между тем все «ужасы», перечисленные Борисоглебским, принимаются с фарсовой легкостью, с безобидной улыбкой выслушанного пикантного анекдота.

К фокс-тротному мотиву автор приплел трагическое либретто. И получается вдвойне смешно и неубедительно. Как прием это было бы, быть может, и не плохо, но как серьезное намерение — такое сплетение свидетельствует о... наивности автора.

Хорошо, конечно, что в конце повести автор постарался разорить руками обозленного народа монастырское гнездо, что над этой фабрикой фальшивой буржуазной морали взвилось красное, революционное знамя, что с.-р. Ветров получился опереточно смешным и жалким. А книга все же плохая, ненужная, неинтересная. Персонажи ее, хотя и не лишены жизненности, напоминают старых знакомых из давно прочитанных и полузабытых книг второго сорта. Лучшие из них взяты из реквизита Малого театра. Купец-самодур, с бычьей шеей, Сидор Кузьмич, развратная тихоня жена его, Маланья Евстигнеевна, сын их Ермила, то-и-дело шепчущий с вкрадчивой нежностью: «Тятенька» и «маменька» — добросовестно списаны с замоскворецких типов Островского.

А что окончательно убивает книгу — это стиль ее, напоминающий картавое безвкусье захолустного сердцееда:

«Ну, и томят же эти летние ночи! Выстилают душу бархатом. А звезды! Разве можно забыть голубое, розовое и зеленое мерцание живых огоньков?..»

«...А сад! У пояса он седой от старости — это пряная черемуха. Зрелый и статный в аллеях — это каштаны убрались свечами и шепчут свои темно-зеленые стихи. Молодой и задорный — пахучая сирень. Девственный — яблоня, и совсем, совсем, как сказка, — за малинником в цветах. Дышит он широко мягкой грудью, и ночь целует его».

«Утро пришло и смазало в саван белые крылья на окнах...».

«...И когда руки Фаины — черные змеи с белой головой — скользят в желтое круглое поле (от лампы. *Ф. Ж.*), то кажутся странно холодными, словно их поцеловала смерть».

И т. д., и т. д...

Федор Жиц.

Дмитрий Фурманов. Мятеж. Госиздат. М.—Л. 1925 г. Стр. 272.

Мемуарная литература, которой посвятил себя тов. Фурманов, является одним

из законнейших и логичнейших видов искусства нашей эпохи.

Пусть за последние годы создано несколько объемно больших и художественно ценных произведений, пусть писатели наши из кожи вон лезут, чтобы сочинить роман или повесть листов эдак на двадцать и больше, мы все же уверены, что для монументального творчества время пока не наступило. Революционный вулкан еще дымит, лава не остыла. Люди не вышли из периода линьки и роста и, таким образом, лишены прояснившихся, типических черт. Жизнь на-ощупь еще слишком горяча, чтобы спокойно лепить из нее продукты искусства.

Наше время—время торопливых и быстрых зарисовок, мемуарного запоминания действительности.

Но надо твердо знать, что в основе этого глубоко интимного творчества должно лежать самое настоящее писательское мастерство. Перечисление имен и фактов, вне литературной обработки, — свидетельское показание, а не мемуары.

Об этом тов. Фурманов, к сожалению, часто забывает.

И чем дальше он отходит от «Чапаева», тем усиливается его стилистическая и композиционная небрежность.

«Мятеж» переполнен ценной архивной рудой, сырой материал этой книги не спрессован, не сбит до художественной убедительности, которую мы в праве требовать от мемуаров так же, как от стихов и беллетристики. Множество лиц и событий, переплетенных, в период военного коммунизма, в пестрые, конфликтные и крайне драматические узлы, мелькает перед глазами читателя, как газетные передовицы.

А ведь «Мятеж» мог бы быть одним из интереснейших памятников революции: Фурманов сам участник борьбы Советской России за свое могущество, сам в центре острых схваток наших армий с неприятелем.

Тем не менее, книга не лишена значительных достоинств. Автор рассказывает о наших героических усилиях овладеть Семиречьем, истерзанным белогвардейцами, освещает много любопытных черт из жизни крестьян, казаков и киргизов, населяющих эту плодородную область Сибири. Поучительны осторожность и чуткость, при помощи которых овладели расположением и доверием населения пионеры Советской власти.

Среди материалов по изучению истории революционной борьбы в России, «Мятеж» тов. Фурманова займет не последнее место.

Федор Жиц.

Воспоминания А. Г. Достоевской. Под редакц. Л. П. Гроссмана. Гиз. 1925 г. Тир. 3.000. Стр. 309.

После отдельных публикаций различных мелких разрозненных отрывков из мемуаров А. Г. Достоевской мы в настоящих «Воспоминаниях» имеем большое связное повествование жены знаменитого художника об их совместных днях и трудах.

При редактировании «Воспоминаний», для помещения их в печати, они, разбитые самим автором лишь на мелкие подразделения, получили еще деление на три крупные части, и имеют в печатном тексте следующие отделы. Первая часть обнимает события от 1866 по 1871 г.г. и содержит в себе обозрение: первого знакомства А. Г. с Ф. М., их бракосочетание (кн. 1); первого времени супружеской жизни (кн. 2), далее следует — пребывание за границей (кн. 3). Вторая часть содержит в себе: возвращение на родину (кн. 4); события 72—73 г.г. (кн. 5); 1874—75 г.г. (кн. 6); 1876—1879 (кн. 7), последний год (80—81) (кн. 8). Наконец, третья часть посвящена 1881—1886 годам. «Воспоминания» начинаются описанием известного прихода А. Г. к Ф. М. в качестве стенографистки и кончаются полемикой А. Г. против Страхова. Перед нами проходят все события совместной жизни А. Г. и Ф. М. Достоевских. Кое-что не относящееся к ней было— по сообщению редактора — не помещено в реферируемом печатном тексте «Воспоминаний».

«Воспоминания» А. Г. Достоевской касаются, главным образом, внешней биографии Ф. М. Достоевского; в них доминируют события внешнего, бытового характера, например, уделяется огромнейшее внимание такого рода фактам, как рождение детей, отношения к всевозможным

родственникам и проч. и проч. Красной нитью через все воспоминания проходит описание борьбы с кредиторами и добывание денег, вечный денежный вопрос стоит в центре забот жены гениального мещанина.

Для характеристики Достоевского — человека с так сказать внешней стороны, отметим его сильнейшую страсть к рулетке, а также несколько необычную для Достоевского черту — любовь к изящным вещам внешнего обихода: фарфору, стремление видеть А. Г. хорошо одетой.

Сквозь описание внешних событий прорываются — и не особенно редко — указания на литературные вкусы Д., замечания о творческой работе художника, отзывы о современниках Д. Отметим здесь замечания о прототипах «Вечного мужа»: семейства Ивановых (сестры Д.) по отношению к Захлебининым, П. Исаева — к Лобову, самого Ф. М. до некоторой степени к Вельчанинову. Подчеркнем любовь Достоевского к Рафаэлю. Отметим дружеские отношения к Некрасову, молодому Вл. Соловьеву, вдове А. Толстого, неприязнь к «французишке» — Григоровичу. Заслуживает внимания указание А. Г. на то, что снимок Достоевского, произведенный Пановым, — наилучшее изображение Ф. М.

Для «Воспоминаний» А. Г. Достоевской чрезвычайно характерно создание, так сказать, светлого облика Д., она рисует нам его в более спокойных, ясных и ровных очертаниях, чем мы привыкли его видеть. А. Г. возмущается известным письмом Страхова к Л. Толстому, называет Страхова лжецом, она подчеркивает нелюбовь Д. к фривольной оперетте, она вспоминает его советы А. Г. не читать слишком откровенных беллетристических произведений, она подчеркивает умение Д-го быть веселым, стремясь разрушить мнение об угрюмости Д-го и проч. Мы совершенно не хотим упрекать А. Г. за неискренность и проч. Нет, она совершенно искренне представляла своего мужа таким. Сам Ф. М. Достоевский, повидимому, вполне определенно, не хотел смущать внутренний покой своей верной, любящей, умной, но психически простой и прямой, трезво-мыслящей, реалистической подруги. Хотя все же А. Г. признается в существовании у Ф. М. некоторых «тяжелых» черточек, проявлявшихся, например, в ревности. Но, конечно, в А. Г. Ф. М. искал и находил нечто совершенно другое, чем, например, в Сусловой. «Инфернальное» в отношениях Ф. М. и А. Г. отсутствовало.

А. Г. Достоевская ценна нам, как справедливо подчеркнул редактор, как устроительница внешней жизни Д., ее умиротворения, без чего мы, несомненно, не имели бы многого в литературном наследии знаменитого писателя.

Внешность книги свидетельствует о большом успехе нашей советской книгоиздательской работы. Книга внешне издана очень хорошо, что надо поставить Госиздату в большую заслугу.

Арк. Глаголев.

В. Переверзев. Ф. М. Достоевский. Гиз. М.—Л. 1925. Тираж 5.000. Стр. 133.

Среди все растущей литературы о Достоевском известное исследование В. Ф. Переверзева о творчестве Достоевского ныне твердо поставлено на одно из почетных мест. Реферируемая книга представляет собой переработанное издание этого исследования, снабженное рядом дополнений и предназначенное служить целям широкого потребления.

Книга начинается краткой биографией художника. Эта биография выгодно отличается от традиционных подчеркиванием в ней социальной стороны жизни Достоевского. События и переживания в жизни Достоевского рассматриваются в свете разлада личного достоинства гениального художника с его мизерным социальным положением, что особенно типично для мещанина и чего не было у корифеев нашей дворянско-помещичьей литературы. Кстати, вскрывая социальное различие Достоевского и наших классиков, В. Ф. Переверзев совершенно справедливо подчеркивает, что в основе разногласий и вражды Достоевского и Тургенева, о которых теперь так много говорят, лежит именно классовое различие.

Далее В. Ф. Переверзев анализирует сущность «художественной манеры» Достоевского, с чем мы уже знакомы по его вышеупоминавшейся нами работе о «творчестве Достоевского». Здесь также

констатируется значительнейшее художественное своеобразие Достоевского по сравнению с дворянской беллетристикой. Отмечается специфический урбанизм Достоевского — живописателя городских мещанских углов. Рассматриваются особенности формальной стороны творчества Д., его динамизм (манера начинать рассказ с действия и проч., и проч.), что ставится автором в причинную связь с динамикой той городской жизни, в атмосфере коей рождается творчество Достоевского. Эта же жизненная сфера порождает и специфическое содержание специфических героев — двойников с их производными — своевольными и кроткими упадочниками. Под свой стилистический и психологический анализ проф. Переверзев последовательно и неуклонно подводит социальную базу.

В третьей части рецензируемой книги В. Ф. Переверзев констатирует, что «стиль Достоевского не укладывается в рамках его творчества», ибо этот стиль создан «не прихотью его гения», «а общими условиями социального развития, выдвинувшими в качестве объекта и субъекта художественного творчества новую общественную группу» (стр. 124). В связи с этим своим глубоко справедливым утверждением проф. Переверзев указывает предшественников, эпигонов и продолжателей-развивателей мещански-буржуазного стиля Достоевского. К первой категории автор относит Павлова, Даля, Вельтмана — первых провозвестников стиля Достоевского. Между их творчеством и творчеством последнего В. Ф. Переверзевым удачно протягиваются некоторые соединительные нити. К сожалению, об эпигонах Достоевского в конце XIX ст. проф. Переверзев почти ничего не говорит. Здесь можно было бы указать на чрезвычайное сродство с Достоевским ряда произведений, например, можно назвать: «День итога» — Альбова, «Эпизод из жизни ни павы, ни вороны» — Новодворского и др. К числу развивателей стиля Досоетвского В. Ф. Переверзев относит модернистическую литературу XX в., между прочим, полагая, что под знак Достоевского должны быть отнесены до некоторой степени и Короленко, и Горький, и Чехов. В. Ф. Переверзев в защиту этой последней своей мысли приводит ряд тонких и интересных соображений.

Книга В. Ф. Переверзева заслуживает самого широкого распространения: никто из приступающих к научному изучению Достоевского не сможет обойтись без нее.

Арк. Глаголев.

Литературная энциклопедия. Словарь литературных терминов. Под редакцией Бродского, Лаврецкого, Лунина, Львова-Рогачевского, Розанова, Чешихина-Ветринского. Томы I—II. К-во Френкеля. М.—Л. 1925. Стр. 1.198.

Не так давно одной солидной германской фирмой было задумано издание нового многотомного энциклопедического словаря. Однако издание состояться не могло по той причине, что приглашенные к сотрудничеству специалисты заявили, что при том неопределенном и неустойчивом положении, которое создалось в последнее время в науке, никаких подытоживающих и обобщающих выводов строить положительно невозможно: то, что вчера считалось последним словом науки, сегодня отвергается, как совершенно устарелое. Московские литературоведы оказались менее скромными, нежели их германские коллеги; плод этой нескромности — первые два тома френкелевской «Литературной энциклопедии», образующие «Словарь литературных терминов». Конечно, потребность в такого рода справочнике в наши дни очень и очень ощущается; почтенное книгоиздательство сумело учесть требования момента, и, с этой точки зрения, поставленную им задачу следует всячески приветствовать. Другой вопрос: — как данная задача была выполнена, вопрос наводящий на весьма безрадостные размышления. Прежде всего составителям и редакторам «Словаря» следовало бы поточнее условиться насчет самого понятия «литературный термин». В каком, например, смысле является таковым «неодушевленные предметы — вещи или предметы, не обладающие способностью произвольного движения»... и т. д. (см. стр. 509); насколько законно введение в «Словарь» множества лингви-

стических понятий, вдобавок трактуемых в плане чистой лингвистики, но отнюдь не в плане теоретической поэтики; или понятия общей эстетики и искусствознания, занимающие добрую половину «Словаря»— все это нуждается в объяснении и оправдании. Зато с великолепной небрежностью пропущены термины композиции, введенные немцами и достаточно прочно акклиматизировавшиеся в нашем научном обиходе; нет ни экспозиции, ни диспозиции, ни интродукции, ни Spannung, ни Geschichte, ни pointu, ни рамы. Пропущены эвфонические термины В. Я. Брюсова (см. его «Звукопись Пушкина». «Печ. и Рев.» 1923, № 2). Пропущено многое другое. Дальше, от краткого справочника мы в праве требовать если не максимальной объективности в трактовке отдельных вопросов, то во всяком случае некоторой согласованности с их общепринятыми толкованиями. Считаться с этим принципом составители «Словаря» не сочли нужным; в результате тема, напр., определяется как «основной замысел, основное звучанье (!) произведения» (стр. 927). Кроме «Словаря», такого определения не встречается нигде, а ведь их — множество. Из рук вон плохо поставлен отдел библиографии, кроме, пожалуй, статей Ю. М. Соколова по народной словесности. В большинстве случаев библиографические указания отсутствуют вовсе, а если и даются, то совершенно случайно, без всякого плана. Шедевром в этом отношении является статья «Поэтика», написанная, кстати сказать, Ю. И. Айхенвальдом, благополучно почивающим за пределами СССР и неисповедимыми путями попавшего в число сотрудников «Словаря». Здесь в качестве пособия рекомендуются опоязовская «Поэтика» (1919)... и больше ничего. А еще толкуют о всеобщем повышении интереса к формальным проблемам литературы. Наивные люди! Вообще в краткой рецензии невозможно исчерпать всего научного убожества, проявленного составителями «Словаря», за некоторыми, правда, исключениями: отдел тропов, напр., разработан М. А. Петровским с большим знаньем дела. Но и сказанного достаточно, чтобы вывести определенное мнение о нем. «Словарь» — покушение с негодными средствами. Остается верить, надеяться и ожидать лучшего будущего, а пока... а пока, в случае нужды, обращаться к «Словарю древней и новой поэзии» Николая Остолопова.

И. Сергиевский.

Л

М. Я. Гинзбург. С т и л ь и э п о х а. Госиздат. М. 1924 г. Стр. 238.

Попытки тов. Гинзбурга обусловить стиль архитектуры исторической датой его возникновения успехом не увенчались потому, что автор захотел перещеголять марксизмом самих марксистов.

Вот что говорит Карл Маркс:

«Относительно искусства известно, что определенные периоды его расцвета не стоят ни в каком отношении с общим развитием общества, а, следовательно, также и развитием материальной основы последнего».

Того же мнения придерживается и Плеханов:

«Попробуйте дать непосредственное экономическое объяснение факту появления школы Давида во французской живописи XVIII века — у вас ничего не выйдет, кроме смешного и скучного вздора».

Вспомним, наконец, что расцвет греческого искусства совпадает с далеко не блестящим материальным положением Греции.

И станет очевидным, что календари искусства и жизни не всегда совпадают.

Тов. же Гинзбург думает совсем по-другому, значительно «левее» и значительно «революционнее»:

«Если мы вспомним, в какой с о з в у ч н о й среде создавался Парфенон... то мы ясно поймем, что все дело (успехи искусства. *Ф. Ж.*) заключается в том, что и зодчий и баба зеленщица дышали одним воздухом, были современниками».

Какая, подумаешь, идиллия!

В одной кошолке и пучок редиски, и вдохновенный Парфенон!

Как идеал, такое сочетание, конечно, хорошо и желательно. Но было ли оно на самом деле — мы глубоко сомневаемся. Колеблется в своем утверждении, очевидно, и автор, потому что несколькими строчками ниже он считает нужным сделать оговорку, что не всегда художники бывают поняты и оценены современниками.

Но ловкий адвокатский маневр и снова: «Если в современной форме зазвучит подлинно современный ритм, однозвучный с ритмами труда и радости сегодняшнего дня, то, конечно, его должны будут, в конце концов, услышать и те, жизнь и труд которых создают этот ритм».

Если понять формулу тов. Гинзбурга «в конце концов» по существу, то получится, что художник творит не для сегодня, а для завтра, что в то время, как Иванов будет усвоен массами, какой-нибудь Петров отбежит вперед от своих современников искать синюю птицу для грядущих поколений.

Такой разнобой в хронологии мы не хотим возвести в правило, пусть художник-мыслитель живет в дружбе со своим веком, но мы категорически отказываемся от трамвайной суеты в искусстве — хоть на остановке, но непременно попасть на букву «А» в часы густого скопления людей на платформе. От такой поспешной посадки получаются не произведения искусства, а халтурные ублюдки, абсолютно никому не нужные.

Автор же особенно усердно настаивает на этом лозунге из «Вампуки» — «Спешим! Спешим! Спешим!» и попадает пальцем в небо.

Не плохо характеризуя и формулируя архитектурные стили, Гинзбург совершенно бессилен показать их связь с «современностью».

Меж классицизмом, готикой и эпохой Возрождения нет вещественно показанной координации.

Направлению барокко посвящено во всей книге всего лишь несколько торопливых, невесомых строк.

Перерождение одних характеристик за счет скомканных других вытекает из бесхребетности, бесплановости книги. Во всех своих размышлениях (так называет в предисловии автор свою книгу. *Ф. Ж.*), имея в виду, главным образом, Россию, тов. Гинзбург ничего не сказал о национальном русском стиле, смешав в одну кучу индустриально расцветшую Западную Европу и технически только пробуждающуюся родину нашу.

Меж стилем жилья и фабричного корпуса автор не провел резкой черты. А ведь эту черту Россия в целом мыслить пока не перестала. Если фабричный корпус деловито суров, мы привыкли еще и к тому, чтобы домик для жилья улыбался зеленью палисада, затейливой резьбой крыльца, ставен и карнизов. Это не зов от чугунки к колымаге, а душа России, которую мы не хотим перечеркнуть бездушным американизмом. Каких бы успехов мы ни достигли на нашем хозяйственном фронте, до небоскребов — России далеко. И мозговой, обессердеченный «конструктивизм» всяких Татлиных и прочих, в который влюблен тов. Гинзбург, ей пока не к лицу.

Не отрицая за тов. Гинзбургом прикладного и декоративного знания архитектуры, мы полагаем, что методом оценки явлений искусства автор обесценил свою книгу «Стиль и эпоха».

Федор Жиц.

Симонович-

Н. Я. ~~Смидович~~-Ефимова. Записки Петрушечника. Москва 1925 г. Гиз.

Хорошая и с внутренней и с внешней стороны книга на книжном рынке, — как редкость. Такой редкостью является книга «Записки Петрушечника». Написана она превосходным образным языком, наполнена глубокими мыслями и переживаниями, невольно увлекающими читателя. Главнейший интерес «Записок Петрушечника»—в содержании. Кто видел огромные толпы на ярмарках, на народных гуляньях, стоящие у балаганов с «петрушкой» или у каруселей, кто слыхал заражающий смех масс, кто наблюдал мимику на их лицах, тому должно быть совершенно ясно большое агитационное значение театра «петрушки».

В то время, как современный театр в стремлении освободиться от буржуазного мелодраматического театра становится театром превыспренних трюков и выкрутас, театр «петрушки» — настоящий клад, таящий в себе зародыши коллективного, площадного заводского театра, столь нужного пролетариату СССР. В частном случае театр «петрушки» художников Ефимовых, в котором участвуют два живых актера — сами художники — и группы

кукол, стал уже известен самым широким рабоче-крестьянским массам. Начиная с 1918 года, художники Ефимовы дали сотни представлений в крупных заводских и фабричных центрах, где они играли по рабочим клубам, в детских домах, в мастерских, в профессиональных союзах и советских учреждениях. В те же годы художники Ефимовы показывали «петрушку» по селам и деревням. Книга дает длиннейшие списки «подвигов петрушки», начиная с Сормова, Путилова до деревушек на Волге. Эти списки читаешь с таким же внутренним удовлетворением, как лирические описания автора, получаемых впечатлений самими актерами и воспринимающей массой от игры «петрушки», потому что не можешь не чувствовать, с какой любовью авторы проделывали и проделывают ценнейшую культурную работу.

Родовые напластования, конечно, всегда имеют немаловажное значение для оценки достоинства той или иной художественной деятельности. Автор настоящей книги происходит из рода знаменитого художника В. Серова. Эта «родовая» даровитость с совершенной ясностью и убедительностью отобразилась в талантливом труде «петрушечника». С любовью и одаренностью описаны в книге — зарождение театра «петрушечников», инсценировки многих постановок, условные детали, составляющие «петрушку» — головы, грим, ноги, одежды и т. д., рассказы о старых народных кукольных театрах с художественными силуэтами, скульптурно-выступающими перед читателем старых деятелей— Седова, Зайцевых, Булынкина и др.

Занимательная книга, которую читаешь, как высокого строя художественную повесть, должна встретить усиленное и вполне заслуженное внимание всех и каждого. Такова судьба талантливых книг.

Интереснейшее содержание иллюстрировано штриховыми рисунками автора и художника И. С. Ефимова, вполне дополняющими словесный богатый материал мастерством графической иллюминации. Заслуживает особого упоминания обложка книги (деревянная гравюра) одного из талантливейших графиков СССР—Фаворского.

Словом, на замечательной книге, сделанной тремя художниками, буквально лежит какой-то отпечаток уникальности. В потоке халтуры, прущей из всех углов, среди тысяч жонглерствующих авторов, вчера еще занимавшихся каким-либо своим общественно-полезным делом, а ныне вообразивших себя литераторами и писателями, «Записки Петрушечника» — не меньше чем «курская аномалия».

Кажется, без традиционного пожелания книге успеха она найдет самое широкое распространение. Читатель не пожелает даже заметить в ней, подкупленной общей талантливостью исполнения, некоторого лирического сентиментализма и неизбежных интеллигентских ужимок эстетизма, органически отложившихся на художнице Н. Я. Симонович-Ефимовой.

Ив. Евдокимов.

На чужой стороне. Историко-литературные сборники. Под ред. Мельгунова. Берлин. Книги I—VII.

Перед нами кипа №№ журнала, который с большим правом можно было бы назвать «У разбитого корыта», чем «На чужой стороне». Когда-то «народолюбивая» либерально-народническая интеллигенция, мечтавшая облагодетельствовать «народ», оказалась у разбитого контр-революционного корыта.

До войны эта либерально-народническая интеллигенция («эсеровские меньшевики», по выражению Ленина), группировавшаяся вокруг «Русского Богатства» и др., рядилась в тогу социализма, критиковала Бебеля и др. «слева», в дозволенных цензурой рамках критиковала мо [illegible], мечтала о демократической республике

Война — первый исторический экзамен — превратила почти всех энесов в социал-патриотов. В эпоху керенщины именно они были самыми ярыми защитниками «государственности» и ненавистниками большевизма. Октябрь окончательно отбросил энесов в лагерь контрреволюции. Не было партии — за исключением, быть может, группы «Единства»,— на долю которой выпала бы столь гнусная роль, как партии народных (!) социалистов (!!). Политическая сводница контрреволюции — таково было ее амплуа. Не было ни одного белого правительства,

которому не служили бы энесы, не было почти ни одного антисоветского заговора, в котором не участвовали бы эти горе-народники.

За годы контр-революции энесы растеряли не только свое народолюбие, свой либерализм, они потеряли и политический разум. Ненависть к советской власти, какая-то животная, неописуемая ненависть овладела этими горе-социалистами. Всякому, кто хочет лягнуть Сов. Россию, дать лживую оценку жизни в последней, рассказать небылицы о страшном чека, повторить навязшие в зубах арабские сказки о немецких деньгах, нарисовать идиллическую картину контр-революционного движения — гостеприимно предоставляются страницы «На чужой стороне». Журнал собственно и не нуждается в чужой помощи. Ему хватит, наверно, еще на добрых десяток номеров воспоминаний энесовских цекистов о совершенных ими контр-революционных подвигах. Мякотин, напр., уже в нескольких номерах описывает, как он и энесовский ЦК в меру своих сил и способностей служили контр-революции. Весной 1918 г. энесы впервые сделали крупное сводническое дело — при их посредничестве был создан пресловутый Союз Возрождения — блок контр-революции от кадетов до меньшевиков. В 1918—1919 г.г. Мякотин гастролирует у южных контр-революционеров. Сам редактор — Мельгунов, вперемежку с писанием арабских сказок про большевистский террор, заполняет страницы своего журнала поэтической прозой, посвященной идеализации интеллигентской контр-революции 1918—1920 г.г. Сей «народный социалист» зачисляет в послужной список своих героических поступков работу с монархистами в пресловутом «Тактическом Центре». И это не удивительно, если мы прочитаем следующую характеристику, данную т. Аграновым (следователь ВЧК) Мельгунову [1]). «Бешеная ненависть его к Советской власти и ком. партии, его чрезвычайная непримиримость поражает даже его друзей по заговору, таких убежденных монархистов (курс. наш), как О. П. Герасимов, кн. С. Е. Трубецкой и др.».

Эта характеристика верна и до сих пор. Основной тон сборников — это идеализация белогвардейщины, идеализация антисоветских заговоров. И вместе с тем бешеная травля всех тех, кто чему-либо научился за последние годы. «Сменовеховцы», напр., выступают в роли продавшихся людей. При всяком случае энесовские слуги Колчака, Врангеля и др. обливают грязью «сменовеховцев». Другой «гвоздь» сборников — это расписывание ужасов красного террора. Начинают даже с Адама, т.-е. с самой сути большевизма. Ленин — ведь нечаевец, иезуит. У него всегда все средства были хороши: яд, нож, петля и т. д. Энесы со смаком повторяют грязную клевету Войтинского (см. его книгу «Годы побед и поражений») об уголовных методах борьбы большевизма.

Красный террор расписывают на все лады. Мельгунов настолько наспециализировался на расписывании «ужасов ЧК», что стал своего рода спецом у всей эмигрантской белогвардейщины. В своей безудержной страсти к этой теме Мельгунов доходит до полемики с таким ученым, как Олар, которого меньше всего можно заподозрить в приязни к революции: полемизирует потому, что Олар своими объяснениями о терроре якобинцев, о терроре при «старом порядке» во Франции убивает весь смысл, подрывает убедительность жалоб на большевистский террор.

Третий «гвоздь» сборников — это клевета, ложь про большевиков и Сов. власть. Здесь средства самые разнообразные. В своем предисловии к 1-му сборнику редакторы писали, что «в наших сборниках мы будем вспоминать и выявлять черты русского быта, русской мысли, русского искусства. Мы будем характеризовать современные сумерки русской культуры [1]) и ее разрушение. Мы постараемся уловить новые, весенние побеги, пробивающиеся в родной земле из-под погребальных покровов».

---

[1]) Она приведена в воспоминаниях Мельгунова.

[1]) Эти «сумерки» так занимают белых ученых, что в литературные критики записался и г. Кизеветтер.

И вот в VI книге мы находим такие с позволения сказать «побеги» «русской мысли», «русского искусства»: поэма, рисующая торжественное заседание Совнаркома в день трехлетия его существования; за столом, уставленным вином и закусками, пьяный Совнарком под звуки оркестра поет «Последний нынешний денечек», а несколько позже следует:

И, чтоб полнее был наш сбор,
Простим чекисту, что он вор.
По манифесту из-под ареста
Тринадцатый [1]) коридор.

Народ же голодный при этом поет:

Наш Совнарком издал манифест —
Свободу для мертвых, живых под арест.

Или

[redacted]то, ни за Ленина —
За донс[illegible] казака, за Каледина.

Так выявляет побеги русской мысли, «родной земли» партия «народных социалистов» [2]).

Сам редактор Мельгунов старается по своей линии — истории. С усердием, достойным лучшей участи, он убеждает читателя, что большевики начали свою карьеру в 1917 г. с пломбированного вагона и немецких марок. «Цвет русского народа» такого низкого мнения о прочих людях, что считает возможным по-прежнему пичкать их такой чепухой.

На несчастие этих горе-историков находятся другие, весьма почтенные историки, которые проникаются скептицизмом по отношению к некоторым документам о большевистском подкупе; и среди таких историков... краса кадетов Милюков. Комично читать, как Мельгунов попрекает последнего за то, что тот не решается признать правильными американские документы о связи большевиков с немцами [1]). На сцену снова выплывает Бернштейн с его глупыми заявлениями о 50 милл. марок, якобы полученных большевиками.

Читая мельгуновские статьи, невольно вспоминается афоризм: «Кого бог решил покарать, у того он отнимает разум». С разумом у редакторов «На чужой стороне», действительно, обстоит неблагополучно. А между тем энесовские литераторы весьма чванливы. В своей рецензии на книги Милюкова о 1917 г., они, напр., оспаривают право кадетов на государственную точку зрения. По мнению энесов, лишь они достойны звания спасителей страны. Вся беда лишь в том, что их... не послушали. И если с Милюковым спорят все же спокойно о 1917 г., то с такими, как, напр., Суханов, они говорят не иначе, как тоном высокомерия и презрения. Шутка сказать: по свидетельству Мельгунова, Суханов, оказывается, заснул на докладе... Корнилова о немцах. Какие еще надо доказательства тому, что все эти большевики и $^{3}/_{4}$-большевики—предатели родины?! А Суханов к тому же еще осмеливается хвалить Ленина, этого иезуита, немецкого агента.

Такова литература «народолюбивой» интеллигенции. Дошли, так сказать, до отказа. Дальше итти некуда. Люди не понимают, в какую помойную яму они залезли. Не понимают, что от их возни в этой яме распространяется лишь одна вонь. Вряд ли есть надежды, что эти

---

1) Ред. «На чужой стороне» поясняет это слово след. обр.: «13 коридор в Бутырской тюрьме заполнен «коммунистами».

2) Ничего кроме чека наши горе-народники в России не находят. Всякое культурное дело они выставляют в черном свете. Один из энесовских «народолюбцев». (см. ст. Розенберга) додумался до того, что обязательное обучение в России квалифицировал... крепостничество. Подумать только: большевики 55-летних «баб» собираются обучать. Ясно поэтому, что большевики «профанируют, волочат по грязи величайшую благородную идею современной цивилизации — обязательное обучение. Интересно знать: не затем ли ездили к Деникину и Врангелю энесы, чтобы осуществить эту «величайшую благородную идею»?

---

1) Энесовский историк так ослеплен своей ненавистью к большевикам, что оспаривает утверждение Милюкова: в октябре за большевиками шли массы.

И в то же время такие, с позволения сказать, ученые объвиняют М. Н. Покровского (см. рецензию на его книжку о революционном движении) в партийном извращении истории. Чья бы корова мычала, а энесовская лучше бы молчала.

«народолюбцы» вылезут из этой ямы без посторонней помощи — сиречь европейской революции.

Н. Ленцнер.

Морис Доманже. Бабеф и заговор равных. Перев. с французского. Раб. изд-во «Прибой». Ленинград 1925. Тираж 8.000. Стр. 101.

А. Г. Пригожин. Гракх Бабеф— провозвестник диктатуры трудящихся. Изд. Ком. Ун-та имени Я. Свердлова. Москва 1925. Тираж 5.000. Стр. 224.

Осветить роль Бабефа и бабувизма в истории развития коммунистической мысли, дать точную оценку созданного Бабефом движения, которое, по словам Маркса, «вызвало к жизни коммунистическую идею» — задача чрезвычайно важная и благодарная. Марксистская литература вообще, а русская в частности, в этом отношении не блещут обилием и полнотой. Поэтому всякую положительную работу, посвященную Бабефу, бабувизму и истории «Заговора равных», можно только приветствовать.

Морис Доманже уже известен нашему читателю по недавно переведенной на русский язык работе его о Бланки, которая, кстати сказать, во многом уступает его книжке о Бабефе.

Рецензируемая работа состоит из трех больших глав. Первая, названная «Люди», является биографией Бабефа и характеристикой его сподвижников по «Заговору равных»: Буонаротти, Дартэ, Сильвена Марешаля, Жермэна и др. Отдельными штрихами, являющимися сочетанием художественности с документальностью, Доманже дает действительно героические образы этих крупных революционных деятелей, в частности, Бабефа, Буонаротти и Дартэ. Правда, местами героический эпос Доманже носит чрезвычайно идеалистический характер, но это — беда многих историков — соотечественников нашего автора, в частности, большой недостаток самого Доманже.

Вторая глава — «Факты» представляет собой историю бабувистского заговора от начала до конца. Здесь Доманже оказался сугубо верным всем историческим материалам, касающимся заговора. Все у него гладко, хорошо, а местами даже очень сильно. Последнее следует отметить в отношении нарисованной автором картины процесса и момента чтения приговора осужденным бабувистам (55—56). Но одного не хватает Доманже для того, чтобы его книжка имела характер марксистской работы, — углубленного анализа эпохи, в которой зародился бабувизм. Все пантеонистическое движение протекает у него совершенно изолированно, т.-е. вне всякой связи с эпохой, с социально-экономическим укладом Франции того времени. Лишь в одном месте автор глухо упоминает об остроте «политического и экономического (подчеркнуто мной. *И. Б.*) кризиса» (47), но в чем заключался этот кризис, он не объясняет.

Переходя к последней главе — «Идеи», нужно и здесь констатировать влияние вышеприведенного недостатка работы. Бабувисты, по мнению Доманже, «не думали о необходимости тесного слияния в одно неразрывное целое пролетарской борьбы и коммунистической идеи» (69). Это совершенно не соответствует социальной природе бабувизма. Последний, несмотря на свою ориентацию на рабочих и городскую бедноту, вряд ли выражал идеологию рабочего класса, в то время еще слабого и совершенно не осознавшего себя в классовом смысле. Наоборот, коммунистическая сущность бабувизма как раз и заключается в том, что она воплотила в себе идею аграрного коммунизма.

Несмотря, однако, на некоторые существенные недочеты этой главы (напр., отсутствие строгого разграничения идеологического направления Бабефа и до и после октября 1795 г.—даты организации «Клуба Пантеона», не совсем удачные обобщения и т. п.), она не лишена многих интересных и ярких страниц, на которых фигура идеолога «Заговора равных» оживает во всем своем полемическом блеске, во всей своей революционной страстности и прозорливости. В целом, книжка Доманже является безусловно ценной, хотя бы по одному тому, что из нее можно извлечь много данных, не вошедших до сего времени в русскую литературу о бабувизме.

Переведена книжка хорошо. Издана прилично и доступно.

Работа А. Пригожина по научной основательности и серьезности значительно превосходит книжку Доманже. Являясь в основе докладом, прочитанным автором в Институте Красной Профессуры и напечатанным в одной из книжек «Вестника Коммунистической Академии», рецензируемая книга представляет собой значительно расширенную работу, заслуживающую самого большого внимания со стороны серьезных читателей по истории социализма.

Несмотря на то, что название книги как будто указывает на биографический характер ее, она меньше всего является биографией Бабефа. Ее центральный стержень — выявление «идеологического лица бабувизма» (3). И нужно сказать, что автор с большим успехом достиг своей цели.

Предпосылая историческому очерку бабувизма главу, рисующую положение промышленности и рабочего класса к концу великой французской революции, т.-е. в эпоху термидорианской реакции, а затем Директории, А. Пригожин совершенно правильно делит идеологическое развитие и непосредственную историю движения на две части, соответственно эволюции идеологии самого Бабефа. Первая часть — это период, когда Бабеф находился всецело под влиянием левого якобинизма и его основного лозунга — направление революции на путь аграрного закона. Вторая же часть, непосредственно связанная с подготовлением выступления Равных, охватывает новую полосу в идеологии Бабефа, развертывающуюся во всей своей силе под знаменем коммунизма и практического осуществления идеи равенства.

В исследовательско - аналитическом смысле наибольший интерес представляют главы: 3-я (Под знаменем «аграрного закона») и 6-я (Бабувизм). Обе как раз и соответствуют вышеприведенным двум критическим моментам в жизни и учении Бабефа. Остановимся несколько на 6-й главе, самой большой и в данном случае самой характерной.

Крах революции, падение Робеспьера, приход к власти партий «порядка», т.-е. реакции, наконец, внутренние экономические неурядицы в стране не могли не вызвать у Бабефа опасений потерять все то, что было добыто народом в годы революции. Вначале Бабеф выдвигает оборонительную тактику и призывает добиваться «всеобщего благосостояния», т.-е. «зажиточность для всех, образование для всех, равенство, свобода и счастье для всех». В дальнейшем его призывы становятся более решительными, он выбрасывает лозунги коммунистической революции, восстания против угнетателей и узурпаторов прав трудящихся и т. д.

Сторонник решительности, он вместе с тем и ярый враг оппортунизма и реформистских тенденций. «Стыдно поддерживать на костылях, пытаться сохранить это ветхое здание частной собственности», писал он своему товарищу по заговору Антонеллю (Народный Трибун, № 37). «Не тронь, Антонелль... не являйся к ним со своими подпорками и костылями, не ходи к ним для починки и исправления неисправимого». Эта сильная черта Бабефа почему-то ушла из поля зрения т. Пригожина. Точно так же слишком небольшое внимание он уделил крестьянству и его возможной, безусловно реакционной, роли в тех обстоятельствах, которые заранее обрекали на неудачу все попытки Равных осуществить «фактическое равенство». Но это — недочеты второстепенные, едва ли могущие уменьшить ценность всей работы.

К книге приложен ряд выдержек из статей, речей и писем Бабефа, инструкций, проектов декретов и т. д. Некоторые приводятся на русском языке впервые.

В заключение считаем необходимым рекомендовать книгу т. Пригожина не только тому кругу читателей, для которого история социализма является областью изучения, но и всякому, интересующемуся историей революционного движения прошлых веков.

И. Браславский.

Д. Митяев. Союз Советских Социалистических Республик. Изд. 2-е. Гос. Военного Издательства. М. 1924. Стр. 142. Напечатано 25.000.

Популярное изложение, дешевизна и большой тираж книжки говорят о том,

что она рассчитана на широкое распространение. Выход 2-го издания свидетельствует, что расчет этот не лишен оснований. Брошюра, очевидно, получила сбыт среди массового красноармейского и отчасти крестьянского читателя. Это обстоятельство заставляет отнестись к ней с бóльшим вниманием, чем то, которое обычно уделяется у нас в изобилии выходящей на рынок популярной политической литературе.

Прежде всего о подборе материалов. В главе «II Всесоюзный съезд Советов» собраны некоторые газетные вырезки, относящиеся до смерти В. И. Ленина, приведены речи М. И. Калинина, Н. К. Крупской и др., а также постановления съезда об увековечении памяти Ленина (переименование Петрограда в Ленинград и проч.). Все это нужно в своем месте, но к теме данной книги отношения не имеет и может быть с успехом выпущено. Между тем, нигде в авторском тексте нет связного описания структуры ЦИК'а. О Совете Национальностей автор толкует на стр. 50, затем возвращаются к нему на стр. 57; Союзному Совету уделяется гораздо меньше внимания. О нем автор говорит мельком на стр. 83, совершенно не выясняя значения этого органа и способа его составления. Нельзя узнать и о составе Президиума ЦИК, важнейшего, по причине своей п о с т о я н н о й деятельности, органа нашего законодательства и управления. Любопытствующих автор отсылает к тексту конституции (58). Комиссиям законодательных предположений и административно-финансовой он уделяет место в тексте своего изложения. Госплану эта милость не оказывается, хотя широкие читательские круги деятельностью Госплана гораздо больше интересуются, чем деятельностью малоизвестных и имеющих весьма специальное значение комиссий.

Строение и работа всех этих органов описаны в точности словами законодательных текстов. Стремление к такой точности, разумеется, похвально, но тогда уж лучше было бы просто перепечатать соответствующие законы. Такие сочетания понятий, как «вопросы сверхсметных ассигнований», «разрушение разногласий по отдельным вопросам текущей работы между ведомствами» (61) для читателя популярной брошюры трудноваты. Впрочем, и попытки автора быть популярным далеко не всегда дают хорошие результаты. Вот образец: «Денежная бедность также заставляет вложить финансовые силы и средства в одну общую кассу. Иначе невозможно в о с с т а н о в л е н и е к р а й н е и с т о щ е н н о г о д е н е ж н о г о х о з я й с т в а» (33).

К изложенному остается добавить несколько наудачу взятых мест книжки Д. Митяева, весьма убедительно выказывающих знакомство автора с предметом, о котором он взялся писать. Перечень этот далеко не полон.

«При царе разрешалось принимать евреев в среднюю школу не больше 10%, а в высшую школу не больше 2%» (13). Откуда сие взято—не известно. Для высшей школы соответствующий % определялся в 10 в черте оседлости, 5 во внутренних губерниях, 3 в столицах.

На стр. 26 отделение Польши после ухода немецких оккупантов изображается, как результат национальной политики Советской власти. Усердие чрезмерное, ибо ни с Регентским Советом, ни с Учредительным Сеймом 1919 г. Советская власть ничего общего не имела.

На стр. 27 автор упоминает Чеченскую, Ойратскую и Адыгейскую р е с п у б л и к и, Карельскую, Бурято-Монгольскую и Немецкую о б л а с т и. Неряшливость тем более непростительная, что на стр. 92—97 его же книги приведены правильные сведения об устройстве этих автономных единиц.

На стр. 33 говорится о ЗСФСР с ее пятью республиками: Грузией, Арменией, Азербайджаном, Абхазией и Аджарией. Читатель, который поопасается впасть в ошибку, на стр. 107 увидит, что две последних республики являются частями не Закавказья, а Грузии. Зато он тут же отыщет новую несуществующую автономную республику «Южно-Осетию» (в действительности, автономная Юго-осетинская область) и т. д.

Все сказанное приводит к убеждению, что ГВИЗ поступил очень опрометчиво, издав книжку Д. Митяева, да еще таким большим тиражем. Сделанного, разумеется, не воротишь. Но на будущее время

нельзя не порекомендовать ГВИЗ'у больше внимательности при выборе лиц, на познания и добросовестное отношение к делу которых изд-во может рассчитывать в столь ответственном деле, как популяризация советского государствоведения.

И. Ильинский.

И. И. Мечников. Сорок лет искания рационального мировоззрения. Госиздат. Москва 1925 г. Стр. 280.

Первое издание этой книги вышло в свет в 1912 году. И тогда она уже не заключала в себе какого-либо научного откровения, что называется «последним словом науки», так как представляла собою в сущности перепечатку нескольких старых статей автора, появлявшихся в разных органах, начиная с 1871 года. Но достаточно уже одного того, что сам И. И. Мечников пожелал составить самостоятельный сборник именно из этих статей, говорит за большую их значимость именно в процессе эволюции рационального мировоззрения. И не у одного только автора сборника, ибо и сам он — продукт своей среды и своей эпохи, и время его (последняя четверть прошлого века) отличалось именно повышенным стремлением лучших умов к позитивному мышлению. Самый подбор тем, в разное время являвшихся выражением этого стремления, донельзя лучше характеризует углубленность этого мышления и сосредоточивание его на все более и более материалистических вопросах — путем постепенного перехода от общего к частному, от крайне сложных социологических явлений к дифференцированным микроскопическим процессам клеточной биологии.

Это опять-таки характерно не только для личности автора, но и для самого того времени. Пробуждение общественного самосознания в 60-х—70-х годах XIX века привлекло внимание И. И., тогда молодого профессора зоологии, к вопросам воспитания молодежи.

В результате две статьи: «Воспитание с антропологической точки зрения» и «Возраст вступления в брак». Но и тут и там, при трактовке чисто-общественной темы, Мечников остается только биологом. Правда, биологический подход к оценке социологических явлений им лично и создавался, и тогда лишь с трудом намечался; но известный мечниковский лейтмотив о дисгармониях человеческой природы красной нитью проходит через эти две статьи с начала до конца. Трудности, ошибки и уродливости в деле воспитания подрастающего поколения, при чем имеется в виду все время воспитание семейное, обусловливаются вовсе не расхождением культурных условий жизни с естественными требованиями природы (как это утверждал Руссо и его последователи), но почти исключительно несовершенствами этой самой природы. Неодновременное развитие органов чувств и связанных с этим восприятий и ощущений, быстрая эволюция периферической нервной системы и сравнительная запоздалость в развитии центральной, необъяснимое пока для нас развитие полового чувства в период младенчества, когда сознание абсолютно не в состоянии принимать в этом участие и т. д. и т. д. — вот ненормальности самой нормы, вот патология в самой физиологии. И эти дисгармонии человеческой природы не могут не влиять самым чувствительным образом на жизнь общества во всех ее изгибах. Не мог иначе подходить к намечению этих проблем (еще даже не к разрешению, а именно к намечению) специалист - биолог, убежденный дарвинист и контист, но чуждый социологическим учениям, в ту пору уже определенно выкристаллизовавшимся в трудах крупнейших европейских ученых. Поэтому нам кажутся мало обоснованными и те замечания редактора последнего издания книги Мечникова, которые носят иногда характер придирок, и та критика, которую встретила книга еще в первых своих изданиях. Не из какого-либо излишнего и ложного в существе своем пиэтета перед личностью великого ученого, но просто исходя из принципа — «сознание определяется бытием», должны мы принимать выводы и афоризмы Мечникова, что называется per se — такими, какими они вышли из-под пера ученого мыслителя. Тем более, что Мечников — один из наиболее ярких примеров ученых — «однолюбов», если позволительно так выразиться. Идея о дис-

гармониях человеческой природы зародилась у него еще в 1870 году и красной нитью проходит через все решительно почти-полустолетие его ученой деятельности. Однако она же заставляет Мечникова сделаться ярым оптимистом по своему философскому мировоззрению. Его credo он сам неоднократно формулирует в разных местах своей книги так: «человек с помощью науки в состоянии исправлять несовершенства своей природы». Отсюда вытекает логическая необходимость изыскать пути к этому исправлению. В общем и целом, по мнению Мечникова, это — искусственный подбор. Редактор, тов. С. Кривцов, считает более правильным замену этого термина словом «социальный» (см. стр. 223, примеч.), и против этого спорить не приходится: это только показывает нам, что, может быть, не вполне осознано мысль Мечникова не удовлетворялась строго-биологическим методом, и вряд ли за это можно его упрекать как раз в наше время.

Зато в трех последних статьях сборника Мечников — чистейший материалист, находящийся под гипнозом второй своей «навязчивой идеи» — о внутри-клеточном пищеварении, как крупнейшем факторе явлений невосприимчивости, атрофических процессов, старческого увядания, самой смерти индивидуума в конечном итоге. Здесь не место останавливаться на деталях этой стороны рациональной натурфилософии знаменитого ученого, скажем лишь, что бактериологическое направление последних 35 лет жизни и трудов Мечникова придало им вполне материалистический характер... Можно лишь отдаленно представлять себе, какое пышное развитие получила бы его идея фагоцитоза, подкрепленная новейшими физико-химическими истинами, известными нам теперь из учения о коллоидах — намеки, своего рода предчувствия этой истинно-материалистической революции в науке рассеяны во многих местах и разбираемой книги, и в особенности его «Этюдов оптимизма».

Как бы то ни было, со всеми своими «срывами» в сферы отвлеченного морализирования и экскурсиями в области метафизики (правда, и то и другое — для страстной полемики с Л. Толстым и А. Бергсоном) Мечников остается для нас чистейшим материалистом — со всеми наслоениями своей предреволюционной эпохи, со всеми естественными, т.-е. поддающимися объяснению, уклонениями, подчас режущими глаз современного читателя.

Нельзя поэтому не присоединиться к заключительным словам предисловия тов. С. Кривцова: «Систематическую проработку взглядов Мечникова мы считаем крайне полезным делом для той молодежи, которая теперь так жадно усваивает доставшееся нам научное наследство».

Проф. О. И. Бронштейн.

Редакционная коллегия: А. Воронский. В. Сорин. Ем. Ярославский.
Издатель: Государственное Издательство.

Адрес редакции: Москва, Кривоколенный пер., 14. Тел. 5-63-12.

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДАКЦИИ

Ввиду летнего перерыва в работе типографии следующий № 7 „КРАСНОЙ НОВИ“ выйдет 10—15 сентября.

Подписчикам „КРАСНОЙ НОВИ“ рассылается бесплатно литературно-художественный альманах „КРАСНОЙ НОВИ“ № 1.